



ISSN 2073-6606
e-ISSN 2410-4531

TERRA ECONOMICUS

18
ТОМ

2020

4
номер

TERRA ECONOMICUS

До 2009 г. — Экономический вестник
Ростовского государственного университета

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 16 января 2009 г. Свидетельство о регистрации средств массовой информации ПИ № ФС77-34982

Журнал издается с 2003 г.,
выходит 4 раза в год.
Подписной индекс 81958

Учредитель: Южный федеральный университет

Редакционная коллегия

Главный редактор

Вольчик В.В., доктор экономических наук, *Южный федеральный университет, Россия*
volchik@sfedu.ru

Заместитель главного редактора

Кирдина-Чэндлер С.Г., кандидат экономических наук, доктор социологических наук,
Институт экономики РАН, Россия
kirdina777@gmail.com

Боровская М.А., доктор экономических наук, *Южный федеральный университет, Россия*

Бузгалин А.В., доктор экономических наук, *Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Россия*

Валентинов В., PhD, *Лейбниц институт аграрного развития в странах с переходной экономикой (IAMO), Германия*

Клейнер Г.Б., доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, *Центральный экономико-математический институт РАН, Россия*

Курбатова М.В., доктор экономических наук, *Кемеровский государственный университет, Россия*

Латов Ю.В., кандидат экономических наук, доктор социологических наук, *Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН, Россия*

Малкина М.Ю., доктор экономических наук, *Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Россия*

Михалкина Е.В., доктор экономических наук, *Южный федеральный университет, Россия*

Нуреев Р.М., доктор экономических наук, *Финансовый университет при Правительстве РФ, Россия*

Оганесян А.А., выпускающий редактор, кандидат экономических наук, *Южный федеральный университет, Россия*

О'Хара Ф., доктор наук, *Исследовательская группа по глобальной политической экономике (GPERU), Австралия*

Расков Д.Е., кандидат экономических наук, *Санкт-Петербургский государственный университет, Россия*

Стриелковски В., технический редактор, PhD, *Пражская бизнес-школа, Чехия*

Ханин Г.И., доктор экономических наук, *Сибирский институт управления – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Россия*

Шевченко И.К., доктор экономических наук, *Южный федеральный университет, Россия*

Эллман М.Дж., PhD, *Амстердамский университет, Нидерланды*

Рукописи статей в обязательном порядке оформляются в соответствии с требованиями для авторов, установленными редакцией. Статьи, оформленные не по правилам, редакцией не рассматриваются. Редакция не вступает в переписку с авторами статей, получившими мотивированный отказ в опубликовании.

Адрес учредителя:

344006, г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 105/42.
Тел.: (863) 265-31-58, 264-84-66
факс: 264-52-55, 265-31-58, 264-84-66
e-mail: info@sfedu.ru

Адрес редакции:

344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. М. Горького, 88, к. 211.
Тел.: 8 (863) 250-59-54
e-mail: terraeconomicus@mail.ru
http://te.sfedu.ru/
e-mail: te@sfedu.ru

TERRA ECONOMICUS

**Before 2009 – Economic Herald
of Rostov State University**

Registered by the Federal Service for Supervision
in the Sphere of Telecom, Information Technologies
and Mass Communications (ROSKOMNADZOR).
Date of registration: 16th January, 2009.
Registration certificate PI № FS77-34982

Founded: 2003
Quarterly Journal
Subscription index in «Rospechat»
catalogue: 81958

Editorial Board

Editor-in-Chief

Vyacheslav Volchik, *Southern Federal University, Russia*
volchik@sfedu.ru

Deputy Editor

Svetlana Kirdina-Chandler, *Institute of Economics RAS, Russia*
kirdina777@gmail.com

Marina Borovskaya, *Southern Federal University, Russia*

Alexander Buzgalin, *Lomonosov Moscow State University, Russia*

Michael Ellman, *Amsterdam University, Netherlands*

Grigoriy Khanin, *Siberian Institute of Management RANEP, Russia*

Georgy Kleiner, *Central Economics and Mathematics Institute RAS, Russia*

Margarita Kurbatova, *Kemerovo State University, Russia*

Yury Latov, *Federal Center of Theoretical and Applied Sociology RAS, Russia*

Marina Malkina, *Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Russia*

Elena Mikhalkina, *Southern Federal University, Russia*

Rustem Nureev, *Financial University, Russia*

Phil O'Hara, *Global Political Economy Research Unit, Australia*

Anna Oganessian, *Southern Federal University, Russia* (Managing Editor)

Danila Raskov, *Saint Petersburg State University, Russia*

Inna Shevchenko, *Southern Federal University, Russia*

Wadim Strielkowski, *Prague Business School, Czech Republic* (Technical Editor)

Vladislav Valentinov, *Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies IAMO, Germany*

The submission materials should be prepared in accordance with the Author Guidelines available at
<https://te.sfedu.ru/en/for-authors.html>, manuscripts should be submitted online. Submissions which do not meet
the requirements as stated in the instructions for authors are rejected by the Editorial Board.
The editors will not enter into correspondence about papers rejected.

Established by the Southern Federal University

Bolshaya Sadovaya St., 105,
Rostov-on-Don, Russia, 344006.
Phone: (863) 265-31-58, 264-84-66
Fax: 264-52-55, 265-31-58, 264-84-66
e-mail: info@sfedu.ru

Editorial office:

of. 211, Gorkogo St., 88,
Rostov-on-Don, Russia, 344002.
Phone: + 7 (863) 250-59-54
e-mail: terraeconomicus@mail.ru
<http://te.sfedu.ru/en/>
e-mail: te@sfedu.ru

СОДЕРЖАНИЕ

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Налоги и технологии: прошлое, настоящее и будущее налоговой системы России 6

Валентин Вишневский, Любовь Гончаренко, Инга Никулкина, Александр Гурнак

Моделирование брачной рождаемости в России с учетом региональной поливариативности семейной политики 32

Евгений Капогузов, Роман Чупин, Мария Харламова

Резервы роста производительности труда в условиях цифровой трансформации 47

Марина Боровская, Марина Масыч, Татьяна Федосова

The twilight of neoliberal globalization 67

Grigory Sergeev

Economic impacts of Covid-19 on the labor market and human capital 78

Marek Dvořák, Patrik Rovný, Veronika Grebennikova, Marina Faminskaya

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Камерализм и философия естественного права 97

Ирина Чаплыгина

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

Поселково-волостные предприятия КНР: успех реформаторов или эволюция традиционного института? 111

Мария Круглова

ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ

Влияние социальных сетей на качество жизни молодежи. Экспериментальная проверка 126

Александр Шмаков

ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

Economic aspects of consumer behavior in tourism for a selected population group in the Czech Republic 149

Miroslava Navrátilová, Markéta Beranová, Luboš Smutka, Lucie Severová

CONTENTS

CONTEMPORARY ECONOMICS

Taxes and technologies: Past, present and future of the Russian tax system 6

Valentin Vishnevsky, Lyubov Goncharenko, Inga Nikulkina, Alexander Gurnak

Modeling marital fertility in Russia in terms of regional multi-variations in family policy 32

Evgeny Kapoguzov, Roman Chupin, Maria Kharlamova

The potential for labor productivity growth in the context of digital transformation 47

Marina Borovskaya, Marina Masych, Tatyana Fedosova

The twilight of neoliberal globalization 67

Grigory Sergeev

Economic impacts of Covid-19 on the labor market and human capital 78

Marek Dvořák, Patrik Rovný, Veronika Grebennikova, Marina Faminskaya

HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT

Cameralism and the tradition of natural law 97

Irina Chaplygina

ECONOMIC HISTORY

Township and village enterprises in China: Reform success or evolution of a traditional institution? 111

Maria Kruglova

ECONOMICS AND SOCIOLOGY

The impact of social networks on the quality of life for youth. Experimental verification 126

Alexandr Shmakov

INDUSTRIAL ORGANIZATION

Economic aspects of consumer behavior in tourism for a selected population group in the Czech Republic 149

Miroslava Navrátilová, Markéta Beranová, Luboš Smutka, Lucie Severová

Налоги и технологии: прошлое, настоящее и будущее налоговой системы России

Валентин Павлович Вишневецкий

Институт экономики промышленности НАН, г. Киев, Украина, e-mail: vvishn@gmail.com

Любовь Ивановна Гончаренко

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия, e-mail: LGoncharenko@fa.ru

Инга Владимировна Никулкина

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия, e-mail: IVNikulkina@fa.ru

Александр Владимирович Гурнак

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия, e-mail: AVGurnak@fa.ru

Цитирование: Вишневецкий, В. П., Гончаренко, Л. И., Никулкина, И. В., Гурнак, А. В. (2020).

Налоги и технологии: прошлое, настоящее и будущее налоговой системы России // *Terra Economicus*, 18(4), 6–31. DOI: 10.18522/2073-6606-2020-18-4-6-31

Статья посвящена долгосрочным тенденциям развития налоговой системы Российской Федерации. Для их выявления предложено использовать не обычную финансовую методологию, а анализ коэволюции производственных технологий, экономических институтов и налогов. Результаты анализа показали, что трансформации налоговой системы РФ в целом соответствовали развитию технологий и институтов, что позволяет обозначить контуры налогового будущего, связанного с четвертой промышленной революцией. Для этого были рассмотрены три специально выделенных этапа в новейшей экономической истории России: староиндустриальный (1991–1998 годы), постиндустриальный (1999–2008 годы) и неоиндустриальный (с 2009 года по настоящее время). Исследование показало, что в течение староиндустриального этапа, который характеризовался болезненной перестройкой производственно-технологической структуры экономики на рыночных принципах, в России была сформирована новая налоговая система, основанная на обычных для индустриальных стран налогах. Полученный при этом опыт, как позитивный, так и негативный, был использован для реформирования налоговой системы на следующем этапе, который последовал после дефолта 1998 года и характеризовался быстрым восстановлением экономики прежде всего за счет роста добывающей промышленности и благодаря трансформации налогов: был восстановлен государственный контроль над базой налогообложения углеводородов и резко повышена доля ресурсной ренты, присваиваемой государством. Это позволило восстановить экономический суверенитет страны, сформировать валютные резервы и в разы увеличить доходы консолидированного бюджета. Однако в связи с мировым финансовым кризисом, возродившим интерес к развитию реального сектора экономики, потребовалась очередная трансформация российской налоговой системы для соответствия задачам новой индустриализации на основе киберфизических технологий. Последние уже успешно используются в системе налогового администрирования. Теперь следует ожидать перестройки всей системы налогов на принципах цифровой алгоритмизации налогов, информирования о хозяйственных трансакциях в режиме реального времени, автоматического исчисления и уплаты налогов по смарт-контрактам в соответствии с императивами государственной экономической политики.

Ключевые слова: налоговая система; промышленная революция; производственные технологии; цифровизация; экономические институты; экономическая политика

Благодарность: Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных по государственному заданию НИОКТР АААА-А19-119092590051-2 «Исследование альтернативных концепций налогового регулирования как фактора обеспечения новой индустриальной революции в России».

Taxes and technologies: Past, present and future of the Russian tax system

Valentin P. Vishnevsky

Institute of Industrial Economics, National Academy of Sciences, Kiev, Ukraine, e-mail: vvishn@gmail.com

Lyubov I. Goncharenko

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, e-mail: LGoncharenko@fa.ru

Inga V. Nikulkina

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, e-mail: IVNikulkina@fa.ru

Alexander V. Gurnak

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, e-mail: AVGurnak@fa.ru

Citation: Vishnevsky, V. P., Goncharenko, L. I., Nikulkina, I. V., Gurnak, A. V. (2020). Taxes and technologies: Past, present and future of the Russian tax system. *Terra Economicus*, 18(4), 6–31. DOI: 10.18522/2073-6606-2020-18-4-6-31 (In Russian)

The article deals with the long-term trends in the development of the tax system of the Russian Federation. To identify them, the authors analyze co-evolution of production technologies, economic institutions and taxes instead of applying the standard financial methodological tools. The results show that the transformations of the Russian tax system generally were in line with the development of technologies and institutions. This allows us to outline the future contours of the tax system associated with the Fourth Industrial Revolution. For this purpose, three stages in the latest economic history of the Russian Federation were specially selected: an old-industrial (1991–1998), post-industrial (1999–2008), and neo-industrial (from 2009 to the present) ones. The analysis demonstrated that the new tax system of the Russian Federation was designed during the old industrial stage, featured by a painful economic restructuring. The experience gained was used to reform the tax system at the next stage, which followed the 1998 default and was characterized by a rapid recovery of the economy, primarily due to the growth of the extractive industry, but also due to the transformation of taxes: state control over the tax base for hydrocarbons was restored and the share of resource rents assigned by the state was sharply increased. This allowed restoring the country's economic sovereignty, creating foreign exchange reserves and increasing the consolidated budget revenues. Due to the global financial crisis, another transformation of the Russian tax system was required to meet the challenges of new industrialization based on cyber-physical technologies. The latter are already successfully used in the tax administration system. Now we should expect a restructuring of the entire tax system based on the principles of digital tax algorithmization, real-time data associated with the particular business transaction, and automatic tax calculation and tax payments under smart contracts within the state economic policy framework.

Keywords: tax system; industrial revolution; production technologies; digitalization; economic institutions; economic policy

Acknowledgement: The article is supported by the state assignment for research, development and technological work, project no. AAAA19–119092590051–2 “Research of alternative concepts of tax regulation as a factor of ensuring the new industrial revolution in Russia”.

JEL codes: N44, N64, H20, H30

Введение

2020 год подвел черту под предшествующим периодом развития мировой экономики, которая вступила в эпоху четвертой промышленной революции и глобальной финансовой нестабильности (Schwab, 2016). В связи с пандемией COVID-19 деловая активность и объемы производства во многих странах мира обвалились, причем, в отличие от прошлых лет, наибольшие проблемы возникли не у развивающихся стран и эмерджентных экономик, а у развитых стран: США и еврозоны. По прогнозам МВФ, в 2020 году ВВП развитых государств сократится на 8,0%, в том числе в США – на 8,0%, в еврозоне – на 10,2%. В то же время ВВП эмерджентных рынков и развивающихся экономик уменьшится только на 3,0% (IMF, 2020: 7). Относительно неплохо на фоне многих других стран выглядит и Российская Федерация. В первом полугодии 2020 года российский ВВП сократился на 3,6%¹, а по итогам 2020 года, по прогнозам МВФ, он уменьшится на 6,6%. Достаточно надежной выглядит также российская система общественных финансов: если, например, в США общий дефицит бюджета по итогам 2020 года ожидается на уровне 24%, в еврозоне и Китае – около 12%, то в РФ – только 5,5% (IMF, 2020: 20).

Фактически вышло так, что российская экономика в целом и ее налоговая система в частности оказались лучше подготовленными к глобальным экзогенным шокам, чем многие другие. Более того, сейчас налоговая система РФ может служить образцом для других стран мира, в том числе развитых, благодаря успешному внедрению новых цифровых технологий администрирования². В частности, в РФ удалось сократить налоговый разрыв по НДС до менее 1%, в то время как во многих европейских странах он все еще измеряется двузначными цифрами.

Очевидно, однако, что дело не в налогах самих по себе, а в том, насколько они хорошо соответствуют возможностям и потребностям реальной экономики, способствуют (а не препятствуют) ее устойчивости и стабильному росту. В этой связи важно исходить из того, что развитие налогов в конечном счете определяется состоянием и перспективами производства и технологий. Какие используются объекты налогообложения, какие и как взимаются налоги, зависит от того, что и как производится и потребляется. Производство и технологии организуют люди, которые вступают между собой в экономические отношения, канализируемые экономическими институтами – формальными и неформальными нормами поведения с механизмами принуждения к их выполнению. Таким образом, институты также оказывают влияние на производство и налоги. Как, впрочем, верно и обратное утверждение, что в экономической системе государства налоги влияют на институты и производство.

Проследить эти зависимости легче на достаточно больших временных интервалах, когда заметны фундаментальные сдвиги как в доминирующих производственных технологиях, так и в доминирующих экономических институтах и налогах. Их совместный анализ важен не только для того, чтобы объективно оценить прошлое и вынести из него полезные уроки, но также для того, чтобы очертить контуры желательного будущего налоговой системы. Поиск ответов на эти вопросы и составляет цель настоящего исследования.

Методология

Обычно проблемы развития налоговой системы РФ анализируют в контексте финансовой теории и финансовых институтов. В частности, можно отметить глубокие исследования российских специалистов, посвященные актуальным проблемам российских налогов в условиях кризиса (Лыкова, 2016), с учетом политического фактора (Mauburov, Kireenko, 2018), в международном контексте (Pogorletskiy, 2017).

Очевидно, что это правильный подход, если только акцент делается на решении проблем сегодняшнего дня. Если же нужно выявить длинные тенденции и обозначить контуры налогового будущего, то для этого нужен иной подход, выходящий за рамки чисто финансовой методологии.

¹ Интерфакс (2020). ВВП России в I полугодии снизился на 3,6% (<https://www.interfax.ru/business/722600> – Дата обращения: 20.08.2020).

² Giles, C. (2019). Russia's role in producing the taxman of the future // *Financial Times*, 24 August (<https://www.ft.com/content/38967766-acc8-11e9-8030-530adfa879c2> – accessed: April 20 2020).

Поэтому далее для выявления влияния эволюции налоговой системы в России будет использоваться трехзвенная (трехфакторная) логическая модель, описывающая взаимосвязанное изменение производства, экономических институтов и налогов. В рамках этой модели развитие современной России можно представить в виде трех этапов, которые по промышленному критерию условно названы староиндустриальным (СИ), постиндустриальным (ПИ) и неоиндустриальным (НИ) (рис. 1).

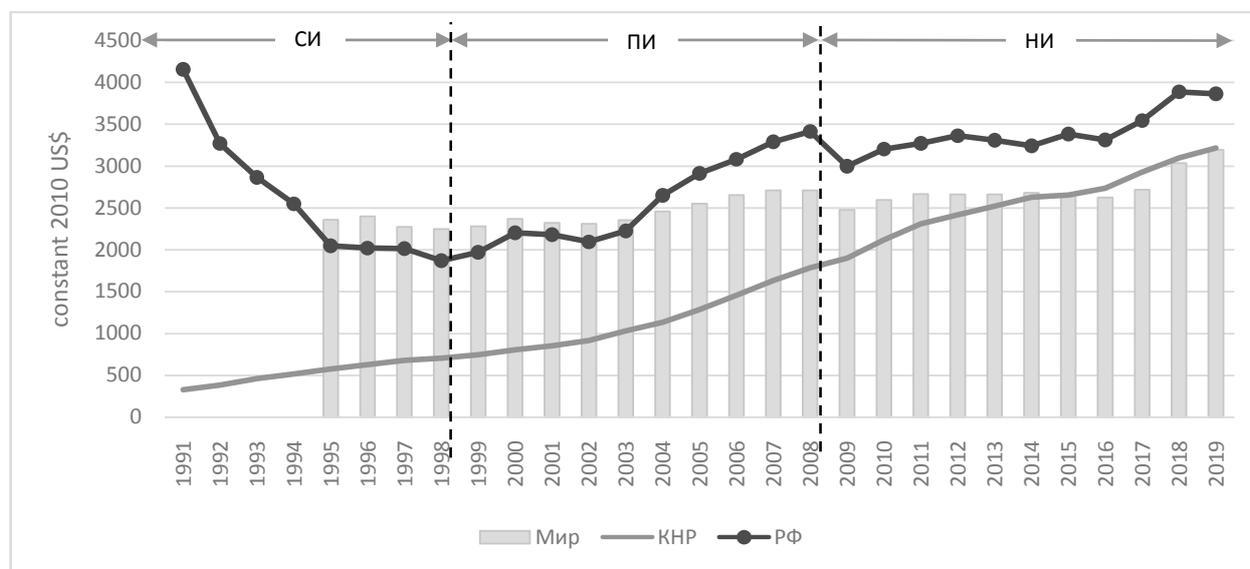


Рис. 1. Добавленная стоимость в промышленности в расчете на душу населения: мир в целом, Российская Федерация и КНР

Источник: составлено авторами по данным: World Development Indicators. DataBank (databank.worldbank.org)

Староиндустриальный этап (СИ) характеризуется обвалом российской промышленности ниже среднемировых показателей, потерей многих технологий и предприятий в связи с разрывом хозяйственных связей единого народнохозяйственного комплекса СССР, шоковым переходом от плановой к рыночной экономике и формированием соответствующей ей налоговой системы.

Постиндустриальный этап (ПИ) – это период восстановительного роста промышленности в новой рыночной и налоговой среде при опережающем росте сферы услуг.

Неоиндустриальный этап (НИ) характеризуется постепенным отказом от политики рыночного либерализма и переходом к политике импортозамещения и новой индустриализации (НИ) с формированием новых, соответствующих периоду киберфизической реальности институтов и налогов³.

Особенности указанных этапов наглядно характеризует рис. 2, где показана динамика развития российской индустрии в сравнении с динамикой мировых цен на нефть.

Российская экономика традиционно является одним из мировых энергетических лидеров, и для нее, особенно для российского бюджета, объективно большое значение имеют мировые цены на углеводороды. Однако, как показано на рисунке, их влияние не всегда является определяющим. Обвальное падение бывшей советской промышленности происходило в условиях стабильных (хотя и низких) мировых цен на нефть (этап СИ). И только когда новая институциональная (в том числе налоговая) структура устоялась, после оздоровительной девальвации рубля в связи с дефолтом 1998 года, стране в 2000-е годы удалось перейти к уверенному экономическому росту, движимому в значительной мере растущими мировыми ценами на углеводороды.

³ Налоги тоже можно рассматривать как институт. Но в данном случае, в связи с особенностями задачи исследования, они выделены отдельно.

роды (этап ПИ). Однако неустойчивость такой конструкции экономического роста, основанной на принципе «Производим и продаем нефть и газ за валюту, а всё необходимое покупаем на мировых рынках», рельефно проявил мировой финансовый кризис 2007–2008 годов, который привел к ожидаемому обвалу цен на нефть и связанные с ней товары. В результате экономика России испытала сильный шок, который удалось преодолеть за счет перехода на обновленную модель экономического развития, менее зависимую от цен на углеводороды.

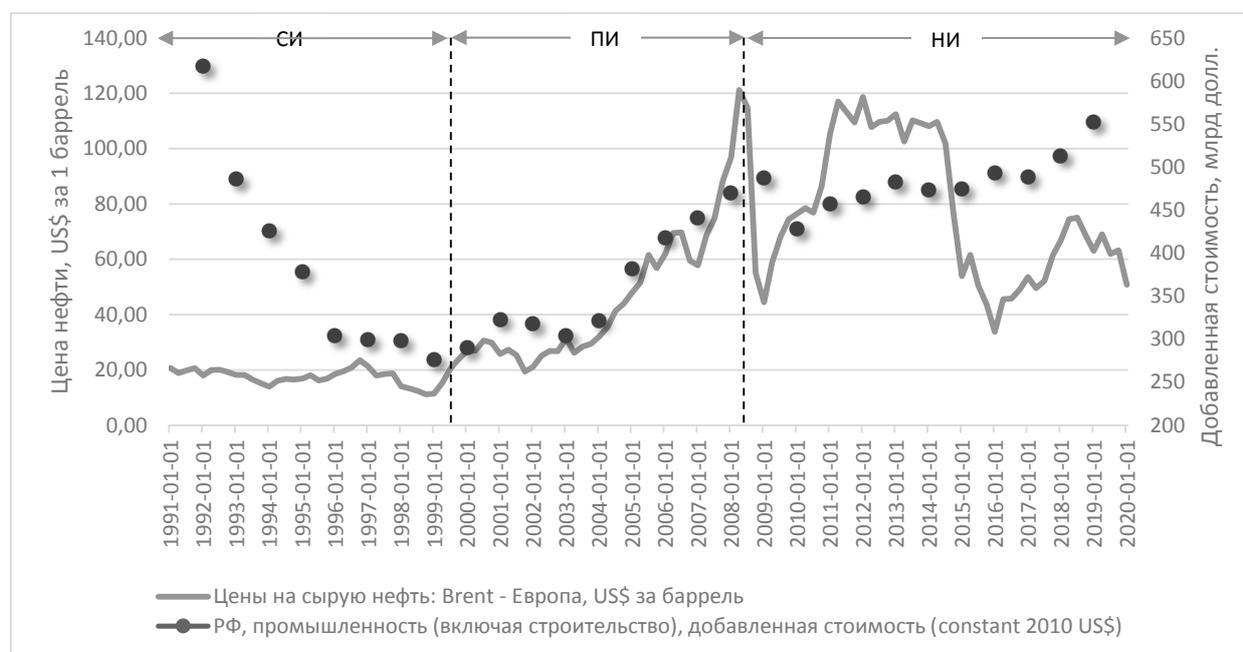


Рис. 2. Объемы промышленного производства в Российской Федерации и мировые цены на нефть марки Brent

Источник: составлено авторами по данным: World Development Indicators. DataBank (databank.worldbank.org); Federal Reserve Bank of St. Louis (fred.stlouisfed.org)

Таким образом, в очередной раз было продемонстрировано, что стабильность в развитии требует опоры на собственные силы и диверсифицированную промышленность. Особенно очевидным это стало в свете очередных экономических санкций со стороны коллективного Запада (2014 год и далее), которые заблокировали доступ России ко многим зарубежным технологиям и внешнему финансированию. В ответ правительством РФ был предпринят ряд важных шагов, в том числе в налоговой системе (этап НИ), основные этапы становления и реформирования которой рассмотрены ниже.

Становление налоговой системы РФ в период рыночных реформ и промышленного кризиса (1991–1998 годы)

Основы современной налоговой системы РФ были заложены сразу после распада СССР. Этот процесс происходил очень быстро и без должной предварительной подготовки, поскольку требовалось срочно создать собственную систему общественных доходов и расходов вновь провозглашенного суверена. Процесс становления его экономической системы происходил очень болезненно: разрывались экономические связи единого народнохозяйственного комплекса, плановое хозяйство в авральном порядке было демонтировано и перестроено на рыночных принципах. Для этого в конце 1991 года были приняты фундаментальные решения о либерализации цен, приватизации государственной собственности и ликвидации государственной монополии на внешнюю торговлю. Это, с одной стороны, создало предпосылки для построения новой многоукладной экономики, а с другой стороны, привело к гиперинфляции (дефлятор ВВП в 1992 году по отношению к предыдущему году составил 15 900%, а в 1993 году –

9900%), обесцениванию и разворовыванию активов, находившихся в общенародной собственности, кризису платежной системы, массовому обнищанию населения и др.

В связи с тем что Россия стала государством, самостоятельно формирующим собственную систему государственных доходов и расходов, все юридические и физические лица, действующие на ее территории, стали плательщиками налогов в соответствии с хозяйственным законодательством нового суверена. Как самостоятельные ведомства были учреждены Государственная налоговая служба (1990 год) и Государственный таможенный комитет (1991 год). Одновременно потеряло силу разделение предприятий по подчиненности на общесоюзные и республиканские, были перекрыты финансовые потоки в теперь уже несуществующий союзный центр.

Во времена бывшего СССР основную часть доходов бюджета РФ составляли платежи из прибыли государственных предприятий и организаций, а также налог с оборота. В практике социалистического хозяйствования предприятия получали сверху (Госплан – министерство – объединение – предприятие) планы по доходам и расходам, а их платежи из прибыли в бюджет носили индивидуальный характер. В 12-й пятилетке (1986–1990) распределение прибыли было переведено на нормативную основу. Однако нормативы устанавливались, как правило, с учетом индивидуальных особенностей хозяйствующих субъектов, что, по существу, означало сохранение адресного распределения финансовых ресурсов. И только летом 1990 года в связи с постепенным отходом от практики административного управления был принят Закон Союза ССР «О налогах с предприятий, объединений и организаций», вводящий в действие, начиная с 1991 года, единый для всех плательщиков налог на прибыль по ставке 45%. А в конце 1991 года был принят концептуально важный Закон РФ «Об основах налоговой системы» № 2118-1, в котором были сформулированы принципы налогообложения, определены основные понятия (налог, налогоплательщик и др.), указаны перечни федеральных, региональных и местных налогов, установлены основные права и обязанности налогоплательщиков.

Главными новациями в части состава и структуры налоговых доходов РФ стала замена налога с оборота, который был частью механизма планового ценообразования, налогом на добавленную стоимость (НДС) и акцизным сбором, а также введение основанных на рыночных принципах подоходных налогов с физических и юридических лиц. Благодаря этому начиная с 1992 года налоговая система РФ в основном приобрела современные очертания (рис. 3).

Естественно, что все эти процессы проходили очень непросто и болезненно. Разрушение прежней общественной идеологии, которая отдавала приоритет общественным интересам над частными и групповыми и отрицала эксплуатацию человека человеком, привело к быстрому распространению среди экономических субъектов оппортунистического поведения и преобладанию личных эгоистических интересов. В комплексе с незрелостью хозяйственного и налогового законодательства, которое было противоречивым, содержало множество различных льгот и налоговых лазеек, это привело к массовому уклонению от уплаты налогов с использованием как легальных, так и нелегальных методов. В том числе уходу от уплаты налогов способствовал лавинообразный рост взаимных неплатежей предприятий, обусловленный в том числе либерализацией цен и инфляцией. Недоимка в консолидированный бюджет росла на протяжении всех 1990-х годов; в 1998 году она приблизилась к 9% ВВП (Назаров, 2011: 10). Результатом стало снижение реальных доходов бюджета и рост его дефицита, который в реальном выражении достиг наибольшего значения в 1994 году (рис. 4).

В связи с общей политической и экономической турбулентностью ни одному российскому правительству в 90-е годы не удавалось обеспечить принятие и исполнение реалистичных бюджетов. Для покрытия их дефицитов использовалось эмиссионное финансирование (до 1995 года), а также наращивались заимствования на внутреннем и внешнем финансовых рынках (Назаров, 2011: 15). По данным Банка России, к концу 1997 года обязательства перед нерезидентами (по государственным краткосрочным облигациям и облигациям федерального займа, ГКО-ОФЗ) существенно (примерно на 10 млрд долл. США) превзошли его валютные резервы, и разрыв продолжал нарастать. Кроме того, курс рубля был завышен, в силу чего отечественные товаропроизводители были лишены возможности конкурировать с зарубежными, наращивать объемы производства и налоговую базу. При этом следует отметить, что МВФ явно не хотел, чтобы Россия девальвировала рубль, и выделял валюту на поддержку его обменного курса⁴.

⁴ Stiglitz, J. (2003). The ruin of Russia // *The Guardian*, April 9 (<https://www.theguardian.com/world/2003/apr/09/russia.artsandhumanities> – accessed: April 9 2020).

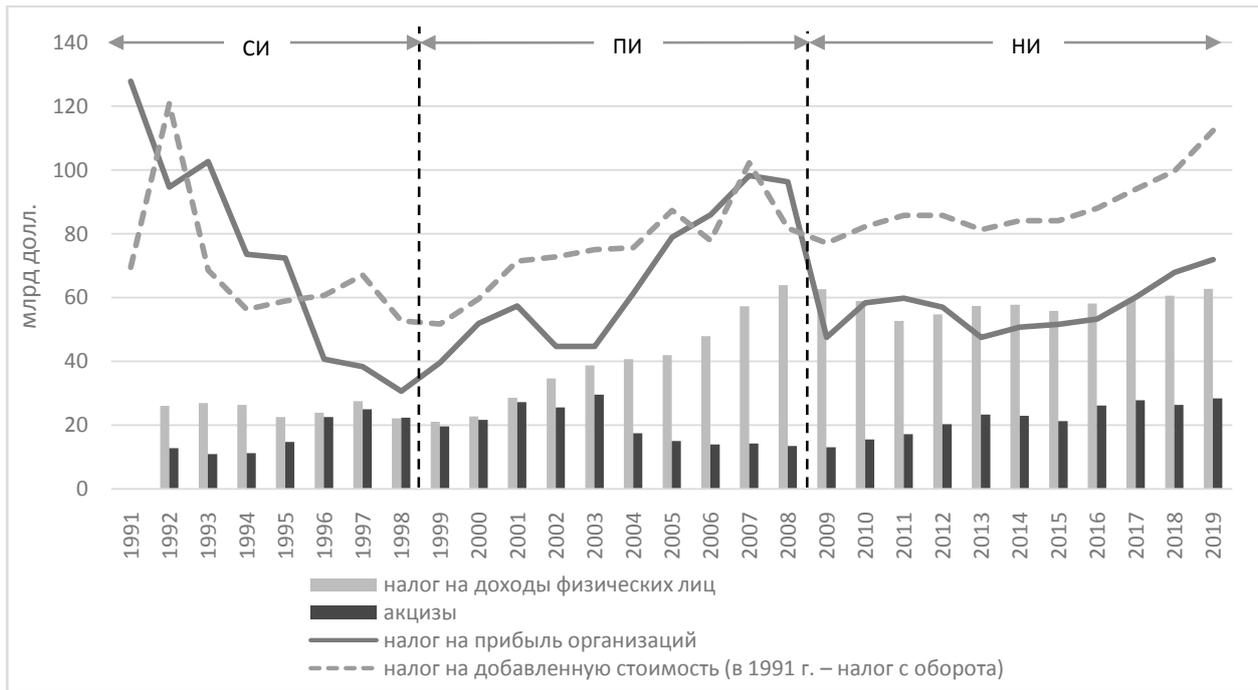


Рис. 3. Основные налоги в Российской Федерации (ненефтегазовые доходы) в постоянных ценах (constant 2010 USA\$) в 1991–2019 годах

Источник: составлено авторами по данным: Российский статистический ежегодник (gks.ru); Минфин России: Консолидированный бюджет Российской Федерации (minfin.ru); World Development Indicators. DataBank (databank.worldbank.org)

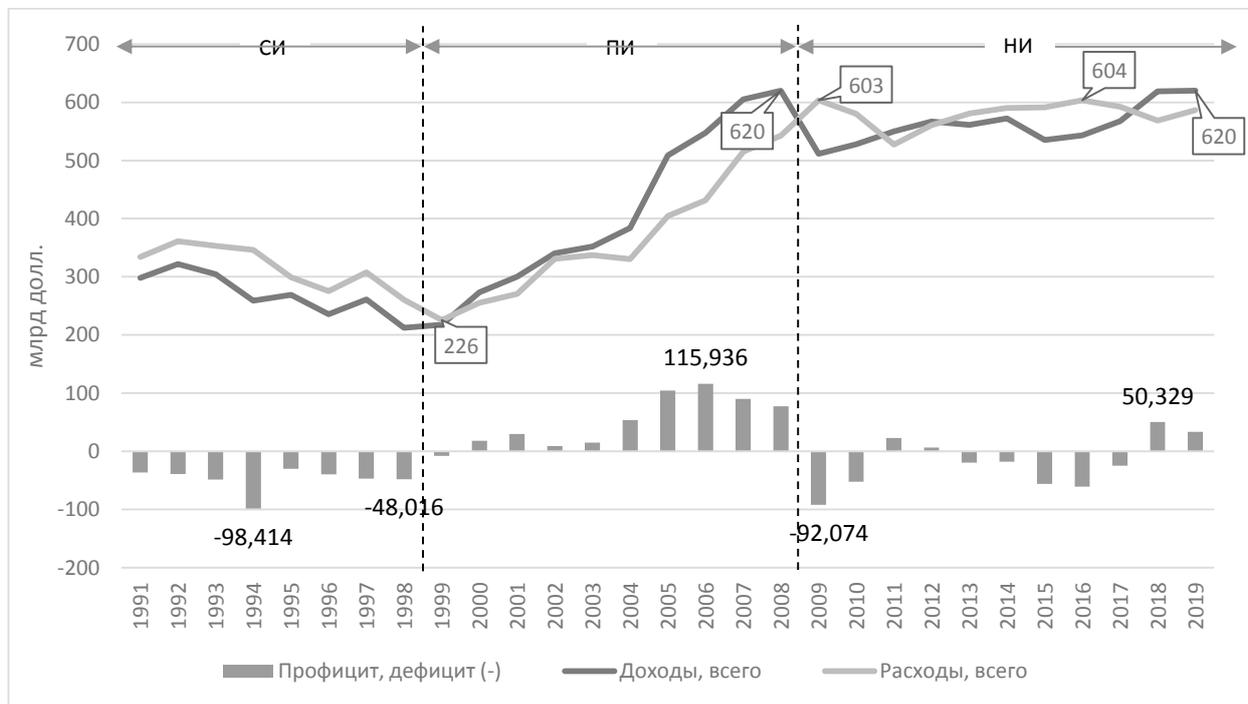


Рис. 4. Показатели консолидированного бюджета Российской Федерации в постоянных ценах
Источник: составлено авторами по данным: Российский статистический ежегодник (gks.ru); Минфин России: Консолидированный бюджет Российской Федерации (minfin.ru); World Development Indicators. DataBank (databank.worldbank.org)

Ситуация усложнялась Азиатским финансовым кризисом (1997–1998), растущим недоверием инвесторов к странам с развивающимися рынками и, соответственно, к рублевым инструментам, резким сокращением притока иностранного капитала, снижением мировых цен на основные статьи российского экспорта (прежде всего нефть) (Центральный Банк Российской Федерации, 1999: 79). В конечном счете всё это привело к дефолту – в августе были приостановлены выплаты по ГКО-ОФЗ и торги по ним. Рубль перестали поддерживать (Банк России прекратил валютные интервенции), и до конца 1998 года он подешевел с 6 USD/RUB примерно до 20 USD/RUB, внешний долг страны превысил 180 млрд долл., российский ВВП в расчете по текущему обменному курсу сократился почти в 2 раза (с 495 млрд долл. до 271 млрд долл.). Вместе с тем ослабление рубля дало толчок развитию отечественного производства и замещению импорта в последующие годы.

Эти события подводят черту под первым – наиболее проблемным – этапом эволюции налоговой системы РФ, которая проходила в крайне неблагоприятном внешнем окружении. Тем не менее, несмотря на все проблемы, многое удалось сделать.

За годы, прошедшие с момента распада СССР и начала рыночных реформ, в РФ была проведена большая работа по созданию и последовательному развитию налоговой системы. Это касается формирования новой нормативно-правовой базы налогообложения, создания специальных институтов, ответственных за начисление, взимание и распределение налогов, подготовки специалистов предприятий и населения к работе в новых условиях. В течение этого периода было принято множество законов, изданы тысячи нормативных актов, проведена большая разъяснительная работа. Главный итог этой деятельности состоял в том, что к концу рассматриваемого периода в РФ была создана налоговая система, способная выполнять фискальную и регулирующую функции уже в условиях рыночной (а не плановой) экономики.

В целом теперь она уже не отличалась принципиально от тех, которые используют многие страны мира со смешанной экономикой и развитой промышленностью. Это касается как состава и структуры налогов (весомые налоги на потребление в виде широко распространенного в мире НДС и акцизов на отдельные товары; основанные на декларациях подоходные налоги с юридических и физических лиц; относительно большие отчисления на обязательное социальное страхование; таможенные пошлины, занимающие незначительный удельный вес в доходах бюджета), так и уровня налогов (более 30%, но менее 50% ВВП). Сформированная в РФ налоговая система по своим параметрам была ближе к тем, которые характерны для индустриальных стран и европейских хозяйственных и социокультурных традиций, чем для бедных стран с низким уровнем энергопотребления на душу населения и неразвитой обрабатывающей промышленностью. Это естественно, поскольку фундамент экономики РФ, помимо добычи углеводородов, по-прежнему составляли крупные промышленные предприятия (энергетические, металлургические, химические, машиностроительные), которые, несмотря на проблемы переходного периода, вырабатывали в несколько раз больше продукции, чем, например, сельское хозяйство, а трудовые ресурсы, унаследованные от бывшего СССР, отличались высоким уровнем квалификации (подавляющая часть населения, занятого в экономике, имела высшее и среднее образование).

Но при этом сама экономика, которая генерирует доходы, формирующие базу налогообложения, претерпела радикальные изменения. Это особенно наглядно можно увидеть, посмотрев на динамику промышленного производства по отраслям (рис. 5).

Фактически страна пережила период «бессмысленного разрушения» части индустрии (в отличие от «созидательного разрушения» по Й. Шумпетеру). Объемы промышленного производства в целом по РФ составили менее 50% от уровня 1990 года. Лучше приспособиться к новым условиям хозяйствования смогли в основном предприятия, производящие энергию (без нее ничего не работает), а также добывающие и металлургические предприятия, продукция которых пользуется спросом на внешних рынках, в том числе потому, что их деятельность часто связана с негативными экологическими последствиями для мест размещения (поэтому многие развитые страны предпочитают пользоваться импортным сырьем и полуфабрикатами).



Рис. 5. Промышленное производство по отраслям в Российской Федерации в 1991–1998 годах

Источник: рассчитано авторами по данным: Госкомстат России (2001).

Российский статистический ежегодник, с. 337.

Что касается других отраслей, и прежде всего с высокой добавленной стоимостью, то здесь произошел настоящий обвал. Практически остановилась легкая промышленность (осталась $\approx 1/10$ от объемов 1990 года), и население массово перешло на импортный ширпотреб, более чем в 2 раза сократилась продукция пищевой промышленности (но зато резко выросло потребление «ножечек Буша»), обвалилась промышленность строительных материалов (в стране почти перестали строиться новые предприятия). Но, пожалуй, наиболее неприятные стратегические последствия были связаны с провалом машиностроения – наукоемкой и капиталоемкой отрасли, определяющей темпы научно-технического прогресса в стране. Массовая плохо подготовленная приватизация, развал «заводской» науки, высокая инфляция, разрыв хозяйственных связей и потери рынков сбыта в 1990-х годах привели к тому, что большинство предприятий машиностроительной отрасли приостановили свою деятельность и стали нерентабельными, за исключением предприятий оборонной промышленности (Сайфиева, Ермилина, 2012: 32), а многие производственные комплексы были окончательно утеряны и распроданы на металлолом.

Очевидно, что это не было прямо связано с налоговыми проблемами. Причины здесь более глубокие. В период институциональной турбулентности обрабатывающая промышленность в принципе не может показывать хорошие результаты. Для развития сложного производства, инвестиций в НИОКР и «железо» нужны стабильность и длинные правила игры плюс экономические субъекты, нацеленные на зарабатывание прибыли посредством вложений в рискованные научно-технические инновации, а не на извлечение ренты – чего в то время явно не наблюдалось.

Но и налоги также сыграли определенную роль. Вообще-то налоговую систему обычно стремятся сделать, по возможности, беспристрастной (нейтральность декларируется как один из фундаментальных принципов налогообложения): если есть исчисляемый объект – зарплата, прибыль, добавленная стоимость и др., – значит, нужно платить налог. У кого больше налоговая база – тот и должен вносить в бюджет больший налог.

Но вопрос, во-первых, в том, как и с какими усилиями эта база зарабатывается и воспроизводится. Сложные производственные системы, определяющие конкурентные позиции национальных экономик в современном мире, могут давать большие результаты (добавленную стоимость), но зато они очень науко- и капиталоемкие, а поэтому в тяжелые времена их труднее поддерживать на плаву, а тем более развивать. В эти периоды, особенно с учетом высоких темпов ин-

фляции, затрудняющих длительное планирование, прибыль легче получить путем быстрых и несложных коммерческих операций. Поэтому формально один и тот же налог на один и тот же финансовый результат на практике может означать – в воспроизводственном и стратегическом контексте – разное налоговое бремя для предприятий с разным уровнем технологической сложности основной деятельности.

И, во-вторых, как эту базу подставлять под налоги. Небольшим коммерческим фирмам было легче обучаться новым быстро меняющимся хозяйственным правилам переходного периода, они быстрее находили способы уклонения от уплаты налогов, в том числе незаконные, им было легче обеспечивать секретность в случае ведения «двойной» бухгалтерии (т.е. у них ниже издержки оппортунистического поведения) и т.д. Крупным предприятиям (не входящим в цепи ТНК) с их сложной и разветвленной системой управленческого и финансового учета сделать всё это было намного сложнее, так что на практике вроде бы такие же как у всех налоги создавали для них фактически большее налоговое бремя. В результате объективно менее рентабельные и менее важные в стратегическом отношении виды деятельности выигрывали в конкуренции, благодаря в том числе экономии на налоговых издержках.

Это свидетельствует о том, что оценивать качество налоговой системы важно не только по формальным признакам, как это делают, например, PwC Paying Taxes team и World Bank Group Paying Taxes team (PwC..., 2019), а в конкретном историческом, технологическом и социокультурном контексте (Вишневыский, Гончаренко, Гурнак, 2016), с учетом тех задач, которые стоят перед правительством на данном этапе развития экономики и общества.

Эволюция налоговой системы в период восстановительного роста экономики и промышленности (1999–2008 годы)

Период 1999–2008 годов характеризуется восстановительным ростом российской экономики и промышленности в условиях роста цен на углеводороды и улучшения конъюнктуры на мировых рынках сырьевых товаров, составляющих значительную часть российского экспорта. К этому времени в стране уже в основном сложилась и стала привычной новая институциональная среда смешанной экономики, сформировались традиции предпринимательства. Кризис 1998 года, несмотря на его разрушительные последствия, имел также оздоровительный эффект: многие элементы хозяйственной системы, которые до этого по инерции еще оставались на плаву, прекратили свое существование, а для выживших экономических субъектов, уже хорошо приспособленных к работе в новых условиях хозяйствования, открылись новые возможности развития. Знаменательным событием стала также смена политического руководства страны.

Несомненно, одним из главных факторов улучшения ситуации в экономике России стала девальвация рубля. В этот период Банку России удалось обеспечить проведение взвешенной монетарной политики, благодаря чему была предотвращена раскрутка инфляционной спирали. В связи с отставанием роста внутренних цен от масштабов девальвации возросла конкурентоспособность российской продукции как на внешнем, так и на внутреннем рынке, был придан мощный импульс оживлению деловой активности во всех сферах экономики и подъему российской промышленности. В последнем наращивание объемов производства происходило в основном за счет увеличения загрузки мощностей, не задействованных ранее, и не имело инфляционного характера (Центральный Банк Российской Федерации, 2000). Таким образом, кризис 1998 года предоставил шанс российской промышленности набрать силу, защитил ее от импорта и повысил экспортные возможности. В результате темпы роста индустрии (включая строительство) в 1999 году достигли 9,5%, а в 2000 году вообще превысили 12%. Это абсолютный рекорд за всю новейшую историю РФ (рис. 6).

Такие позитивные сдвиги в экономике РФ не прошли мимо внимания известных зарубежных специалистов. В частности, как отмечал нобелевский лауреат Дж. Стиглиц, «...возросшие мировые цены на нефть обеспечили дальнейший бум в экономике, позволив создать фонды для инвестиций и расширения производства. Был введен контроль за движением капиталов, а внутренние инвесторы стали искать возможности для вложения денег у себя на родине вместо того,

чтобы делать это в Нью-Йорке или на Кипре... К сожалению, за предыдущие годы осуществления программ МВФ рыночная экономика – с высокими процентными ставками, незаконной приватизацией, плохим корпоративным управлением и либерализацией рынка капитала – создавала лишь побудительные мотивы для вывода активов за границу. Экономического роста удалось достичь только благодаря переменам в экономике, переменам, которые Россия осуществила сама»⁵.

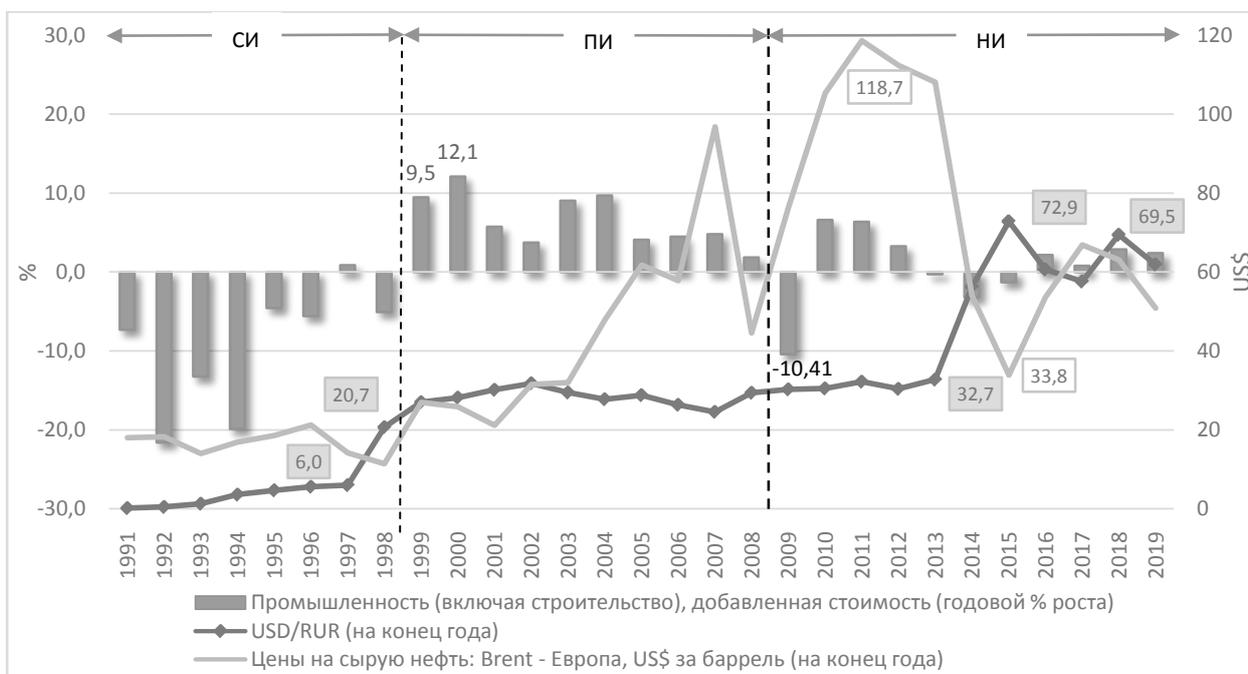


Рис. 6. Индексы промышленного производства в Российской Федерации, курс доллара США и цены на нефть

Источник: составлено авторами по данным: World Development Indicators. DataBank (databank.worldbank.org); Federal Reserve Bank of St. Louis (fred.stlouisfed.org)

Важные сдвиги, поддержавшие наметившиеся позитивные тенденции в экономике страны, произошли также в бюджетно-налоговой сфере в связи с разработкой и принятием Бюджетного и Налогового кодекса (НК) РФ. Первая часть НК, подписанная Президентом РФ еще в июле 1998 года, вступила в силу с 1 января 1999 года. Она устанавливала наиболее важные общие положения в сфере налогообложения в РФ, в том числе: виды налогов и сборов, взимаемых в государстве; основания возникновения и порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов; порядок установления, введения в действие и прекращения действия ранее введенных налогов субъектов РФ и местных налогов; права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и налоговых агентов; формы и методы налогового контроля; ответственность за совершение налоговых правонарушений; порядок обжалования актов налоговых органов и действий их должностных лиц.

Вторая часть НК, устанавливающая принципы исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов, вводилась в действие поэтапно: с 1 января 2001 года вступили в силу четыре главы: по налогу на добавленную стоимость, акцизам, налогу на доходы физических лиц и единому социальному налогу. Потом (в 2002 году) были введены налог на прибыль организаций, на добычу полезных ископаемых, единый сельскохозяйственный налог, еще позднее – транспортный налог, упрощенная система налогообложения и др.

В целом налоговая реформа 2000-х годов может считаться успешной: благодаря ей упростился и стал более понятным и прозрачным механизм обложения, значительно сократилось

⁵ Stiglitz, J. (2003). The ruin of Russia // *The Guardian*, April 9 (<https://www.theguardian.com/world/2003/apr/09/russia.artsandhumanities> – accessed: April 9 2020).

общее количество обязательных платежей (с более 50 в 1990-х до менее 15 после 2004 года), были понижены ставки налогов (НДС – с 20% до 18%, налога на прибыль – с 35% до 24%, вместо прогрессивной шкалы НДФЛ с максимальной ставкой 35% впервые была введена плоская ставка 13%), и, соответственно, возросла посленалоговая рентабельность и активность хозяйственной деятельности экономических субъектов. По оценкам специалистов, в период с 2001 по 2006 год налоговая нагрузка на экономику ежегодно сокращалась примерно на 1% ВВП (Назаров, 2011: 26).

Всё это, однако, не привело к обострению проблем в системе общественных финансов, поскольку в качестве компенсатора выпадающих поступлений выступил прирост доходов от добычи и продажи углеводородов. Правительство реформировало налоговую политику в отношении нефтегазового сектора и разработало понятные правила игры для отрасли: был введен налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), установлена прогрессивная шкала ставки экспортной пошлины, повышены акцизы на нефтепродукты и др. В результате этого как в нефтяном, так и газовом секторе уровень налогообложения повысился и стал более гибким, лучше привязанным к величине доходов (Гурвич, Вакуленко, Кривенко, 2009: 56).

Но дело не только в этом. Принципиальное значение имел тот факт, что государство сумело вернуть себе контроль над нефтегазовой отраслью и перенаправить потоки рентных доходов на общественные нужды. Если в начале 2000-х годов доля государства в нефтегазовом секторе составляла всего 10%, то к 2008 году она уже достигла 40%. Переломным моментом стало дело компании ЮКОС, которой был предъявлен счет за неуплату налогов в десятки миллиардов долларов, а ее активы были проданы на аукционе (главная их часть досталась контролируемой государством «Роснефти») (Moser, 2016).

Результатом этих и других действий стало резкое повышение доли ресурсной ренты, присваиваемой государством. Приток сырьевых доходов стал важным фактором, который позволил нарастить доходы консолидированного бюджета с 212 млрд долл. (constant 2010 US\$) в 1999 году до 620 млрд долл. в 2008 году (т.е. почти в 3 раза), а также радикально улучшить положение в сфере внешнего долга: если в 1998 году его размер в 10 раз был больше суммы золотовалютных резервов страны, то во второй половине 2008 году уже, наоборот, золотовалютные резервы превысили размеры внешнего долга⁶.

Важным этапом реформирования системы государственного управления системой рентных доходов от углеводородов стало также создание в 2004 году Стабилизационного фонда, призванного обеспечивать сбалансированность федерального бюджета на случай падения цены на нефть ниже базовой. Вообще-то это обычная практика для стран, которые добывают углеводороды и стремятся обезопасить бюджет от колебаний мировых цен на нефть. Крупными фондами такого предназначения обладают ОАЭ, Норвегия, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и др.

Стабилизационный фонд (СФ) формировался по «правилу Кудрина», которое было закреплено в Бюджетном кодексе РФ. Смысл его состоял в том, чтобы при достижении определенной цены на нефть часть получаемых предприятиями поступлений сберегалась в СФ. По сути, это был 100% целевой налог на рентные доходы от реализации нефти при ее цене свыше определенной величины – так называемой «цены отсечения». Размер этой цены отсечения с 2004 по 2006 год составлял 20 долл. за баррель нефти, а с 2006 года – 27 долл. По оценкам специалистов, это правило позволило изымать в СФ примерно $\frac{3}{4}$ дополнительных нефтяных доходов от благоприятной внешней конъюнктуры (Гурвич, Вакуленко, Кривенко, 2009: 61). За рассматриваемый период (2004–2008) размеры фонда возросли более чем в 7 раз (рис. 7) – с 0,52 трлн руб. в 2004 году до 3,8 трлн руб. в 2008 году в эквиваленте (фактически средства СФ хранились в иностранных валютах: долларах США – 66,8 млрд, евро – 50,9 млрд и британских фунтах – 7,7 млрд).

В январе 2008 года средства Стабилизационного фонда были зачислены на счета Федерального казначейства в Банке России по учету средств Резервного фонда (создан для финансового обеспечения нефтегазового трансферта) и Фонда национального благосостояния (создан для обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан России, а также обеспечения сбалансированности федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда России).

⁶ Банк России (2020). Макроэкономическая финансовая статистика (http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/ – Дата обращения: 11.04.2020).

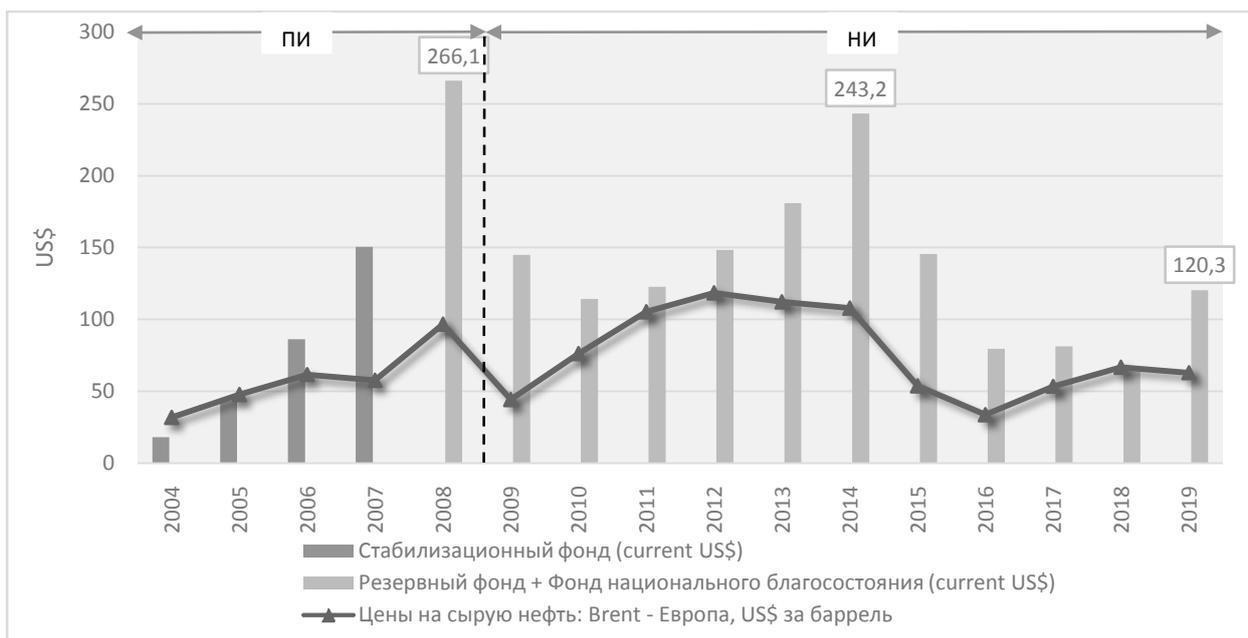


Рис. 7. Специальные государственные фонды Российской Федерации и динамика цен на нефть

Источник: составлено авторами по данным: Минфин России, 2020 (minfin.ru);

Фонд национального благосостояния; Federal Reserve Bank of St. Louis (fred.stlouisfed.org)

Общая сумма средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в 2008 году достигла 266 млрд долл. США (current US\$) – это наибольшая величина за весь рассматриваемый период. Эти накопленные ресурсы помогли сбалансировать бюджет в 2008–2009 годах во время очередного мирового финансового кризиса, который с некоторой задержкой перебрался с США и ЕС на Россию.

Мировой кризис обнажил конструктивные недостатки экономического (в том числе налогового) механизма РФ – механизма, ведомого растущим спросом в условиях наличия свободных производственных мощностей и долгосрочным повышением цен на российские экспортные товары, прежде всего нефть и газ (Мау, 2016: 350). Хотя этот механизм относительно успешно действовал в течение всего периода 1999–2008 годов, условно названного здесь «постиндустриальным».

Формально – это правильное название, если посмотреть на сравнительную динамику добавленной стоимости в индустрии и сфере услуг (рис. 8).

Действительно, как и во многих других странах, в РФ наблюдалась тенденция к опережающему развитию сферы услуг, в результате чего удельный вес индустрии в ВВП, несмотря даже на процессы ее восстановления, сократился. Это можно было бы считать нормальным, учитывая особое значение сферы услуг, особенно высокотехнологичных и цифровых, в современном мире, если бы не два принципиальных обстоятельства.

Первое. Проблема заключается в том, что по своим масштабам (при расчете на душу населения) и среднему уровню развития промышленность РФ не могла считаться сильной и продолжала существенно (в разы) отставать от США и ведущих европейских стран, обладающих во многих сегментах передовыми производствами, а перспективы преодоления существующих технологических разрывов были не очень хорошими. То есть фактически в 2000-е годы стране не удалось полностью избежать явления, известного как преждевременная деиндустриализация (premature deindustrialization), которая чревата долгосрочным замедлением экономического роста и связанными с ним проблемами (Rodrik, 2015). Это стало очевидным, когда внешние обстоятельства изменились в худшую сторону, и государству пришлось рассчитывать прежде всего на собственные силы. Когда в 2014 году правительство вынуждено было поставить вопрос о масштабном импортозамещении, оказалось, что многие вещи купить за рубежом нельзя ни за какие деньги, а

стартовые позиции, занятые страной по итогам развития в период «тучных лет», далеко не блестящие. Как отмечал тогдашний премьер-министр Д. Медведев, доля импорта в станкостроении оценивалась приблизительно в 90%, в тяжелом машиностроении – порядка 70%, в нефтегазовом оборудовании – 60%, в энергетическом оборудовании – около 50%, в сельхозмашиностроении в зависимости от категории продукции – от 50 до 90% и т.д.⁷ То есть выяснилось, что российская промышленность не является самодостаточной во многих стратегически важных сегментах и всё еще сильно зависит от экспорта – со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями в условиях обострения геополитического противостояния с коллективным Западом. Причем критическая зависимость, оцениваемая невозможностью отказаться от зарубежных закупок при любом росте цен, составляла около 40% (Цухло, 2016: 148).

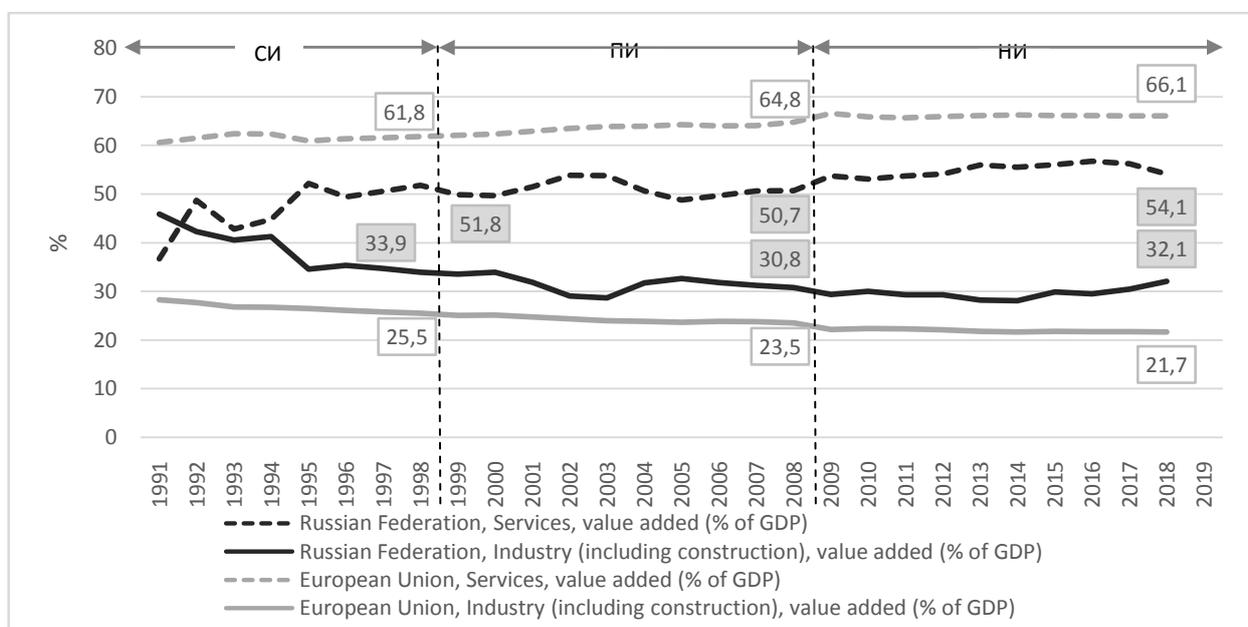


Рис. 8. Добавленная стоимость в РФ и ЕС: индустрия (включая строительство) и услуги**, % ВВП
 * Индустрия соответствует подразделам 10-45 ISIC (Международной стандартной отраслевой классификации) и включает добавленную стоимость в добывающей промышленности, обрабатывающей промышленности, строительстве, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды.

** Услуги соответствуют подразделам 50-99 ISIC и включают добавленную стоимость в оптовой и розничной торговле (включая гостиницы и рестораны), транспорте, государственных, финансовых, профессиональных и личных услугах, таких как образование, здравоохранение и услуги в сфере недвижимости.

Источник: составлено авторами по данным: World Development Indicators. DataBank (databank.worldbank.org)

Второе. Мировой финансово-экономический кризис ознаменовал кризис процессов всеобъемлющей глобализации (гиперглобализации). Уже в 2011 году международные цепочки добавленной стоимости перестали расширяться⁸. К тому же оказалось, что сфера услуг и финансы – это хорошо и нужно, но принципиально важно обладать собственными передовыми технологиями (например, 5G) и контролировать производство критических товаров у себя или вблизи себя. Особенно наглядно это проявилось во время пандемии, вызванной распространением коронавируса, когда повсеместно возник дефицит защитных масок и аппаратов искусственной вентиляции легких. Тем более что благодаря новейшим киберфизическим технологиям и робототехнике, экономия на трудовых издержках уже не имеет решающего значения, а важнее становится близость про-

⁷ Правительство России (2020). Совещание об обеспечении реализации отраслевых программ импортозамещения (<http://government.ru/news/17521/> – Дата обращения: 12.04.2020).

⁸ Марин, Д. (2020). Мировой кризис: как COVID-19 меняет промышленность // *Эксперт*, 10 апреля (<https://expert.ru/2020/04/10/kak-covid-19-menyayet-promyishlennost/> – Дата обращения: 12.04.2020).

изводства к научным центрам и местам потребления. Поэтому теперь развитые страны активно занимаются рещорингом. Наиболее активно возвращают на свои и близлежащие территории химическую промышленность, металлообработку, производство электротоваров и электроники⁹. В свою очередь, это создает новые угрозы для тех стран, которые ориентированы на экспорт продукции невысокой степени переработки и отстают в развитии критически важных производственных технологий, в том числе для России.

Разумеется, это не проблемы налоговой системы РФ, или не только ее. Налоги – это неотъемлемая часть экономической экосистемы страны и реализуемой в ней политики. В 2000-е годы проводилась в основном экономическая политика универсального типа, предполагающая развитие рыночных институтов, повышение открытости экономики, привлечение иностранных инвестиций и технологий, которая, как оказалось, не способна в полной мере ответить на новые вызовы четвертой промышленной революции и обострение геополитической конкуренции. Налоги также были выдержаны в русле этой универсальной политики. В «тучные годы» они в целом хорошо обслуживали процессы восстановительного роста в РФ, ведомого спросом и благоприятной рыночной конъюнктурой. Но при этом они мало использовались для поддержки наукоемких, дорогостоящих и длительных по времени процессов создания новой техники и технологии, преодоления технологических разрывов и построения полной системы инновационной индустрии, определяющей национальную безопасность страны и её возможности занимать достойные позиции в быстро меняющемся мире. Такая задача тогда не ставилась, что со временем привело к обострению ряда хронических болезней экономики России. Это стало очевидным, и проблема перенастройки налоговой системы в соответствии с реалиями «новой нормальности» приобрела особую актуальность несколько позже.

Развитие налоговой системы в период геоэкономической и геополитической турбулентности (2009 год – настоящее время). Переход к обновлению налоговой системы в контексте задач новой индустриализации

Эволюция налоговой системы, как и любого экономического явления или процесса, часто инициируется внешними (экзогенными) факторами, которые в исследуемом периоде носили в основном негативный характер.

Первым внешним шоком, оказавшим значительное влияние на российскую экономику, стал мировой финансовый кризис 2007–2008 годов, начавшийся как ипотечный кризис на финансовом рынке США. Его влияние на российскую экономику проявилось чуть позднее по сравнению с развитыми странами, о чем свидетельствует, например, тот факт, что в 2008 году Россия заняла четвертое место в мире по объему привлеченных прямых иностранных инвестиций.

Тем не менее российский рынок, относящийся к развивающимся (emerging market), не справился с изменившимися условиями внешней торговли (падение спроса на ресурсы на мировых рынках и, как следствие, – снижение цен на углеводороды), со значительными объемами оттока капитала и ужесточившимися условиями внешних заимствований. Следствием этого стало классическое развитие экономического кризиса, которое выразилось в снижении проциклических показателей (индексы фондового рынка, валютный курс рубля, объемы промышленного производства, доходы населения) и росте контрциклических (безработица, дефицит бюджета и др.).

Российское правительство инициировало пакет антикризисных мер, которые смягчили последствия кризиса. Изменения в налоговой системе, произошедшие в 2008 году, также стали своеобразной реакцией на кризис. Наиболее существенные из них были связаны со снижением ставки налога на прибыль с 24% до 20% для стимулирования развития национальной экономики, изменением порядка уплаты налога на добавленную стоимость в целях преодоления кризиса ликвидности, индексацией ставок акцизов, введением налога на недвижимость вместо земельного налога и налога на имущество физических лиц, а также изменениями в налогообложении добычи полезных ископаемых.

⁹ Марин, Д. (2020). Мировой кризис: как COVID-19 меняет промышленность // *Эксперт*, 10 апреля (<https://expert.ru/2020/04/10/kak-covid-19-menyayet-promyishlennost/> – Дата обращения: 12.04.2020).

В 2009–2010 годах тенденции трансформации налоговой системы существенно не изменились, что обусловлено среднесрочными трендами государственной бюджетно-налоговой политики.

Благодаря некоторому восстановлению мировой экономики и росту мировых цен на углеводороды российская экономика достаточно быстро оправилась и продолжила наращивание суверенных фондов. По итогам 2010 года рост ВВП РФ составил 4,5%, а инфляция в годовом исчислении снизилась до 6,6%.

В 2012 году в качестве внешних факторов, влияющих на национальную экономику, выступили начало функционирования Единого экономического пространства – общего рынка России, Белоруссии и Казахстана, а также вступление РФ во Всемирную торговую организацию (ВТО). Эти обстоятельства также оказали влияние на эволюцию налоговой системы с позиции унификации и соответствия требованиям ВТО.

К концу 2012 года экономический рост, обусловленный сложившейся в условиях высоких мировых цен на энергоносители моделью экономического развития, замедлился, и в 2013 году темпы роста ВВП составили всего 1,3%. По мнению экспертов Всемирного банка (Всемирный банк, 2014), основной причиной стало недостаточное внимание к проведению полномасштабных комплексных структурных реформ и, как следствие, ослабление доверия инвесторов. Модель развития была основана на крупных инвестиционных проектах, неуклонном повышении зарплат в государственном секторе и объемов денежных трансфертов. В этих условиях важным направлением совершенствования налоговой системы стали меры налогового стимулирования инвестиций и поддержки модернизации производства.

Вторым внешним шоком для российской экономики стало введение экономических санкций со стороны США, Европейского союза и ряда поддержавших санкции стран в марте 2014 года (введение секторальных ограничений на инвестиции, прекращение финансирования новых проектов международными финансово-кредитными институтами; запрет на долговое финансирование проектов в отраслях, затронутых санкциями и др.).

Следствием введения экономических санкций, помимо прямых и косвенных потерь, стал вынужденный переход к политике импортозамещения, эффективность которой неоднозначна. Достаточно успешно оно шло в сельском хозяйстве и легкой промышленности, хуже – в IT-секторе и электронике (Бетелин, 2016; Данилов-Данильян, 2016).

В сложившихся условиях усилилась необходимость достижения макроэкономической стабильности, которая с учетом сырьевой направленности экспорта должна включать механизм, изолирующий внутреннюю экономику от волатильности конъюнктурных доходов. Действенным механизмом минимизации восприимчивости внутренних экономических условий к колебаниям внешней конъюнктуры для сырьевых стран являются специальные бюджетные правила, применяемые для достижения макроэкономического равновесия в условиях низких темпов экономического роста.

В налоговой политике основным правилом стала реализация принципа стабильности фискальной среды – недопущения повышения налоговой нагрузки для добросовестных налогоплательщиков.

Специальные исследования взаимосвязи монетарной (денежно-кредитной) и фискальной (бюджетно-налоговой) политик (Пекарский, Атаманчук, Мерзляков, 2008; Караев, 2017) применительно к России позволяют сделать вывод о типе фискальной политики, реализуемой правительством. В случае ограничительной фискальной политики (в комплексе с аналогичной монетарной политикой) уровень инфляции поддерживается относительно низким, а объем стабилизационного фонда увеличивается. При стимулирующей фискальной политике, напротив, уровень инфляции поддерживается более высоким, а объем стабилизационного фонда возрастает в меньшей степени. При этом с позиций общественного благосостояния, если проводится стимулирующая фискальная политика, потери от повышенного уровня инфляции могут быть компенсированы выигрышем от более высокого объема выпуска.

На практике, учитывая сложившуюся динамику ВВП, снижение уровня инфляции и динамику Фонда национального благосостояния (рис. 7), невозможно сделать однозначный вывод о

преобладающем типе фискальной политики, реализуемой правительством РФ в 2009–2019 годы, что вообще-то ожидаемо для условий нестабильной институциональной среды с «короткими» правилами поведения, обусловленными в том числе неконтролируемыми внешними факторами.

Фискальная политика, определяемая как стимулирующая, принципиально должна характеризоваться планомерным снижением совокупной налоговой нагрузки, определяемой по отношению к ВВП, что, судя по цифрам, не наблюдалось, поскольку в течение рассматриваемого периода налоговая нагрузка сначала снижалась (до 2015 года), а потом росла. В 2019 году отношение доходов консолидированного бюджета к ВВП составило наибольшую величину за весь анализируемый период (35,9%). При этом самые значительные изменения произошли по налогу на прибыль: его доля в 2009 году сократилась в 1,7 раза после снижения ставки на 4 п.п., а также по ввозным таможенным пошлинам, доля которых в доходах консолидированного бюджета в последние годы не превышает 2%.

О характере проводимой фискальной политики могут также свидетельствовать нормативно-правовые изменения в налоговой системе.

За прошедшее десятилетие (2008–2018) было внесено более 300 изменений и дополнений в налоговую систему, причем в сфере налогового администрирования их было всего около 90. Подавляющее большинство из них (258) касалось существенных характеристик налогов. При этом, по нашей оценке, количество изменений, носящих стимулирующий характер, имело тенденцию к снижению (рис. 9).

Наибольшее количество изменений в налоговом законодательстве касалось налога на прибыль организаций. В основном они имели стимулирующий характер. В части налогообложения юридических лиц существенные изменения претерпели также НДС и НДПИ. По этим налогам прослеживалась общая тенденция стимулирования нефтегазового сектора экономики: были введены льготы, освобождающие от налогообложения определенные месторождения и полезные ископаемые (с 2012 года по нулевой ставке облагается добыча нефти и газа в Ямало-Ненецком АО, Охотском и Черном морях).



Рис. 9. Динамика числа и типов изменений в налоговой системе РФ

Источник: рассчитано авторами по данным Федеральной налоговой службы России

Кроме того, с начала 2010-х годов наблюдались активные изменения ставок НДПИ, вызванные налоговым маневром, который подразумевал снижение ставок экспортных пошлин с одновременным ростом налогообложения добычи. В целом же, несмотря на некоторые колебания, нефтегазовые доходы продолжали оставаться одним из наиболее крупных источников консолидированного бюджета РФ (рис. 10).

Если же говорить о последствиях для реального сектора экономики, то большое число изменений, которые были внесены в налоговое законодательство в рассматриваемом периоде, не привели к радикальным трансформациям структуры занятости и ВВП. Это ожидаемый резуль-

тат, поскольку налоги – это далеко не единственный, хотя и важный инструмент воздействия, а главную роль играют иные факторы, влияющие на инвестиции.

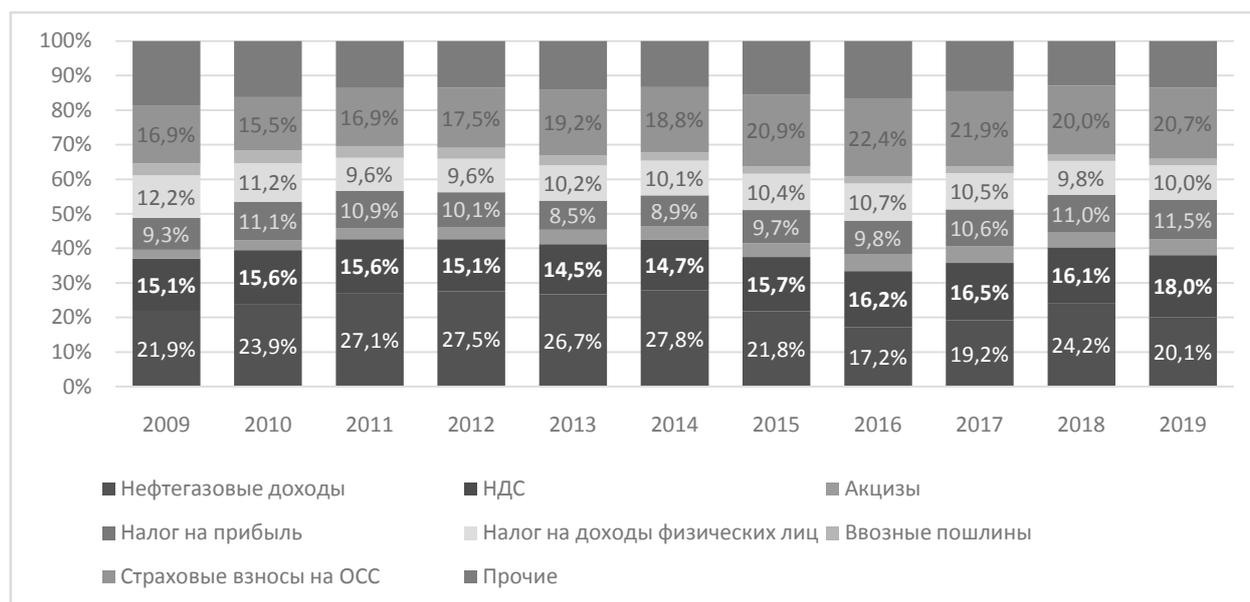


Рис. 10. Динамика показателей структуры налогов в консолидированном бюджете РФ
Источник: составлено авторами по данным Минфина России. Консолидированный бюджет Российской Федерации (minfin.gov.ru)

Тем не менее если анализировать ситуацию за весь рассматриваемый период в целом, то структура валового продукта, в том числе благодаря налоговой политике, несколько улучшилась: начиная с 2018 года обрабатывающая промышленность РФ обогнала торговлю и впервые за многие годы стала крупнейшим сектором российской экономики по доле в ВДС (рис. 11).

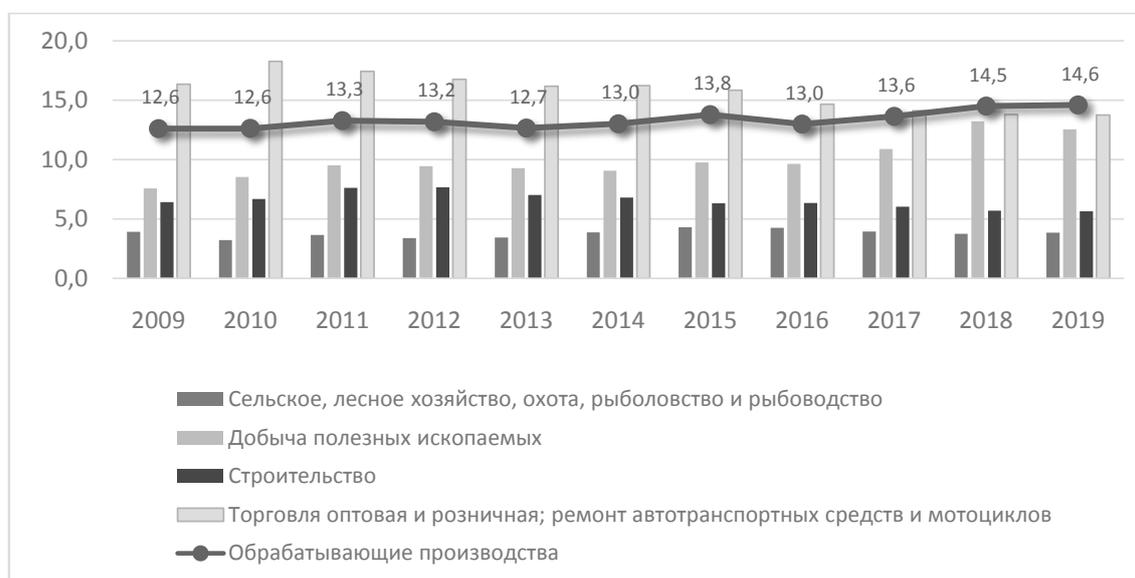


Рис. 11. Изменения в структуре ВДС РФ в 2009–2019 годах*

* Данные за 2009–2010 годы пересчитаны для приведения в сопоставимый вид с данными за 2011–2019 годы

Источник: рассчитано авторами по данным Федеральной службы государственной статистики (rosstat.gov.ru/accounts)

При этом важные трансформации происходят на микроэкономическом уровне. Идет восстановление ряда предприятий и отраслей промышленности, которые формируют потенциал развития на будущие десятилетия: микроэлектроники (новый глава правительства РФ одним из первых своих распоряжений утвердил Стратегию развития электронной промышленности до 2030 года), станкостроения, тяжёлого и транспортного машиностроения. Существенного прогресса удалось добиться в сфере ОПК, где Россия обладает уникальными технологиями и компетенциями, в области создания двигателей для самолетов и вертолетов, авиастроении, судостроении, производстве труб большого диаметра, газовых турбин, химической и пищевой промышленности и др.

Это уже стало заметно и на макроэкономическом уровне: в последние годы сектор обработки показывал относительно неплохую динамику, опережая по темпам роста промышленность и экономику РФ в целом. Данная тенденция сохранилась и в ситуации шока от пандемии COVID-19: по итогам первого полугодия 2020 года обрабатывающая промышленность РФ сократилась на 2,3%, а добывающая промышленность – на 5,2%, промышленность в целом – на 3,5%, ВВП – на 4,2%.

Такая ситуация обусловлена в том числе тем, что правительство РФ начало проводить целенаправленную промышленную политику, которая нашла концентрированное выражение в Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2035 года, охватывающей все основные, курируемые Министерством промышленности и торговли РФ, направления: авиационное, судостроение, сельское хозяйство и энергетическое машиностроение, металлургию, химию и нефтехимию, легкую промышленность и др.

В налоговой сфере решению поставленных задач способствовал существенный прогресс в части последовательного снижения транзакционных издержек: если в 2009 году в рейтинге лёгкости уплаты налогов от PWC (Ease of paying taxes rankings) Россия занимала 134-е место, то в 2018 году – 58-е место. Но не только это. Важное значение имеет создание таких специфических налоговых инструментов, как специальные инвестиционные контракты СПИК (действуют с 2015 года¹⁰) и соглашения о защите и поощрении капиталовложений (пакет из трех законов принят весной 2020 года).

СПИКи представляют собой специальный инструмент промышленной политики, предназначенный для стимулирования инвестиций в промышленное производство на территории РФ. Механизм СПИКа, в частности, предусматривает стабильные условия ведения бизнеса с даты заключения и в течение всего срока действия инвестиционного контракта, притом что применяются пониженные ставки по налогу на прибыль (федеральный бюджет – 0%; региональный бюджет – до 0% в соответствии с региональным законом), льготы по налогам на имущество, транспортному и земельному.

Примером СПИКа может служить контракт, который в начале 2019 года сроком на 10 лет заключили Министерство промышленности и торговли РФ и ведущий российский автопроизводитель АвтоВАЗ¹¹. Он, в частности, предусматривает привлечение инвестиций на общую сумму 70 млрд руб., которые предназначены для модернизации производственных мощностей, развития модельного ряда, локализации производства ключевых автомобильных агрегатов.

Более новый инструмент – пакет из трех законов о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в России. Предметом соглашений являются объемы инвестиций в обмен на фиксированные определенные существенные условия реализации проекта, в том числе налогов (кроме НДС и социальных сборов), значимого государственного регулирования и таможенных пошлин.

Но наиболее важная новация, которая произошла в налоговой сфере в последние годы в связи с курсом на ускоренное развитие реального сектора экономики на основе передовых, прежде всего цифровых технологий, – это цифровизация системы налогового администрирования.

Слияние цифровых и физических технологий – это главный тренд индустриальных трансформаций в современном мире, формирующих «умный» киберфизический социум, в котором реализована идея интеграции «железа» и «цифры», основанная на искусственном интеллекте.

¹⁰ 2 августа 2019 года Президент РФ подписал пакет из трех законов, направленных на обновление механизма специальных инвестиционных контрактов «СПИК 2.0».

¹¹ СПИК модернизирует автопром (2020) // Эксперт, (<https://expert.ru/expert/2019/05/spik-moderniziruet-avtoprom/>) – Дата обращения: 06.08.2020).

Новые киберфизические технологии возродили глобальный интерес к развитию индустрии: умной, роботизированной, точно настраиваемой на удовлетворение индивидуальных потребностей людей и предприятий и размещаемой вблизи мест потребления. По этой причине в мире активно идет решоринг – перераспределение производственных мощностей и генерируемой ими экономической власти, что обусловило рост геоэкономической и геополитической напряженности, а также рисков удаленного размещения и управления бизнесом (De Backer et al., 2016).

Очевидно, что такие изменения в производственно-технологической структуре обуславливают неизбежные трансформации в налоговых базах (в связи с изменением каналов бизнес-коммуникаций, способов производства и потребления товаров (OECD, 2018: 24–26) и налоговых системах стран мира, которые уже переходят к активному использованию искусственного интеллекта, анализа больших данных, блокчейна и других прорывных технологий. Это позволяет ставить и решать задачи цифровой алгоритмизации налогов, организации налогообложения в режиме реального времени, обеспечения высокой защищенности и прозрачности налоговых транзакций (на принципах псевдонимности), автоматической уплаты налогов с использованием смарт-контрактов, использования интернет-ресурсов для корректного учета личных обстоятельств налогоплательщиков и др. (Frankowski et al., 2017; Mokka et al., 2017; Vishnevsky, Chekina, 2018).

Также очевидно, что такие глубокие трансформации связаны с необходимостью решения целого комплекса сложных проблем, как технических (развитие широкополосного интернета, освоение технологии 5G, решение трилеммы блокчейна, обеспечение безопасности компьютерных сетей и др.), так и сугубо налоговых, связанных с охватом налогами новых киберфизических технологий и продуктов их применения, заменой цифровых транзакций и других «выпадающих» доходов бюджета традиционными объектами налогообложения, рисками формирования «умной» налоговой экосистемы и др. (Vishnevsky, Chekina, 2018).

В РФ, как и во многих других странах, действует специальная программа цифровизации, которая включает в том числе налоговое направление. Результаты уже есть. По оценкам Федеральной налоговой службы, Россия опережает многие зарубежные юрисдикции по уровню цифровизации налоговых сервисов¹². В сфере налогового администрирования в РФ сначала были созданы веб-сайты, веб-порталы и персональные электронные сервисы. В настоящее время продолжается работа над мобильными приложениями и индивидуальными проактивными сервисами. В перспективе налоговое администрирование должно превратиться в адаптивную цифровую платформу, работающую исключительно с цифровыми данными и электронными лицами. Со временем эту структуру планируют превратить в IT-сервис, взаимодействующий в режиме реального времени с цифровыми процессами внутри компаний-налогоплательщиков в том числе для целей проверки правильности начисления и уплаты налогов.

Можно выделить четыре основных элемента цифровой информационной системы ФНС: (1) автоматизированная система контроля за возмещением НДС (АСК НДС); (2) автоматизированная система контроля применения контрольно-кассовой техники (АСК ККТ); (3) информационная система маркировки и прослеживания товаров (ИС МПТ); (4) информационная система реестра населения и записей актов гражданского состояния (ИС ЗАГС).

В комплексе эти элементы позволили, с одной стороны, уменьшить степень административного давления на бизнес (в том числе снизить частоту выездных налоговых проверок), а с другой – обеспечить устойчивый рост налоговых поступлений: начиная с 2016 года (когда стали широко применяться цифровые технологии в администрировании налогов) они росли быстрее, чем ВВП страны, инвестиции и реальные доходы населения. Можно даже утверждать, что налоги «оторвались» от базы налогообложения – со всеми вытекающими отсюда макроэкономическими последствиями, сопоставимыми с введением новых обязательных платежей или изменением налоговых ставок основных из числа действующих налогов (рис. 12).

¹² Мишустин, М. (2019). С России берут пример, к нам приезжают учиться // *Коммерсант*, № 214 от 21.11.2019, стр. 1 (<https://www.kommersant.ru/doc/4165008> – Дата обращения: 06.08.2020).

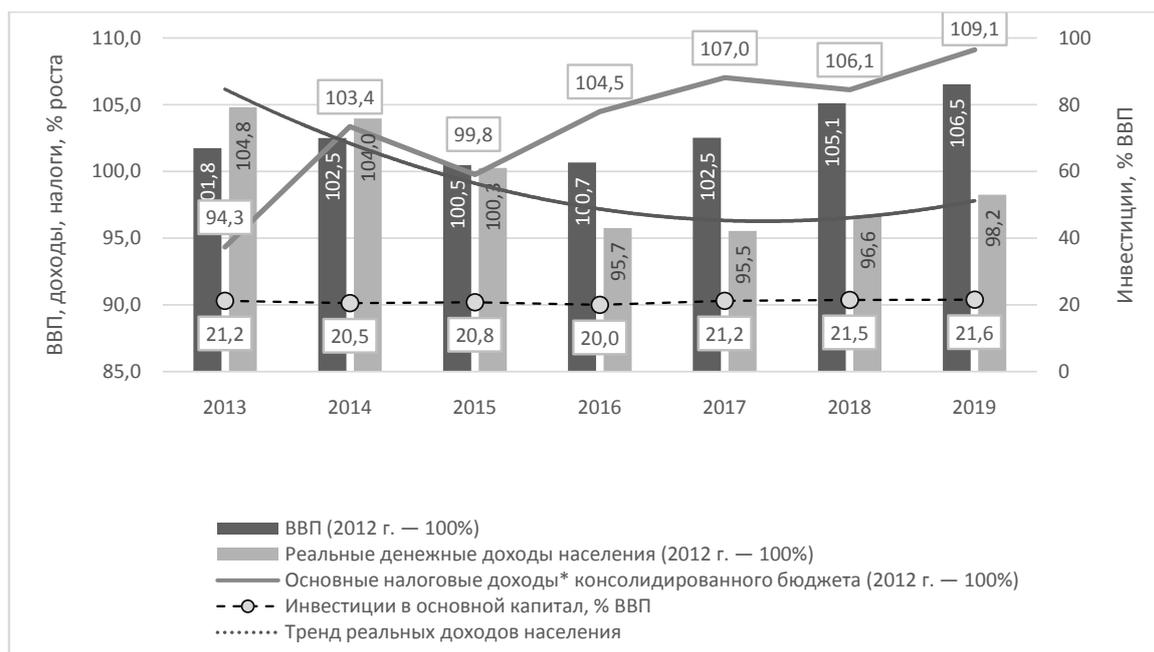


Рис. 12. Сравнение инвестиций, роста ВВП и доходов населения с ростом налоговых доходов консолидированного бюджета РФ

Источник: рассчитано авторами по данным Министерства финансов РФ и Федеральной службы государственной статистики РФ

Это свидетельствует о том, что, с одной стороны, цифровые технологии могут быть весьма результативными и эффективными (в данном случае в налогообложении). Однако, с другой стороны, последствия их применения уже выходят за рамки экономических отношений на микроуровне, что создает не только новые возможности, но и новые проблемы (Вишневский, 2019). Такое увеличение налогов (в том числе за счет уменьшения теневых трансакций) – это существенное повышение фактической налоговой нагрузки на экономику, перераспределение ограниченных ресурсов в пользу государственного сектора, притом что экономический рост в РФ в последние годы наблюдался небольшой, инвестиции «застряли» на уровне 20–22% ВВП, и реальные денежные доходы населения всё еще ниже уровня 2012 года. В принципе, исходя из стандартной теории общественных финансов, это скорее проциклическая, чем антициклическая фискальная политика.

С учетом выявившихся проблем с реализацией национальных проектов это свидетельствует о том, что фискальные правила РФ требуют пересмотра: помимо применения цены отсечения, которая действует как барьер на пути вливания углеводородной ренты в экономику, чреватого «голландской болезнью» (негативным влиянием роста цен на экспорт добывающих отраслей), необходим также механизм автоматического возврата налогов в экономику – если только уровень налогов, в том числе благодаря цифровым технологиям администрирования, превышает некоторый предел. Похожий механизм уже предусмотрен для Фонда национального благосостояния (согласно действующему законодательству вложение средств этого фонда в финансовые активы разрешается после того, как его ликвидная часть на конец года превысит 7% прогнозного ВВП). Однако использование средств Фонда благосостояния – это особый стратегический вопрос, а регулирование процесса налогово-бюджетного кругооборота текущей ликвидности – актуальная задача, связанная с прямым влиянием на ослабленный спрос, которую нужно решать уже сейчас.

Выводы

1. Производственные технологии на фундаментальном уровне определяют не только что и как производится, как создается добавленная стоимость, но также и то, как (в форме каких нало-

гов, с помощью каких финансовых технологий) часть этой добавленной стоимости изымается на общественные нужды. Такая зависимость более явно прослеживается на больших исторических периодах в развитии общества, технологий и экономики, именуемых промышленными революциями. Но ее можно также проследить на примере относительно небольшого периода времени, прошедшего с момента образования РФ в 1991 году, в том числе потому, что на его последнее десятилетие приходится начало новой – четвертой – промышленной революции. А сам этот период для оценки взаимосвязи технологий и налогов было предложено условно разбить на три этапа: староиндустриальный (1991–1998), постиндустриальный (1999–2008) и неоиндустриальный (с 2009 года по настоящее время).

2. Староиндустриальный этап (1991–1998) отмечен перестройкой и ухудшением производственно-технологической структуры экономики. Россия унаследовала от бывшего СССР развитую индустрию, характерную для периода третьей промышленной революции и основанную на массовом автоматизированном производстве корпораций, включенных в систему международного разделения труда. Поэтому закономерно, что основу ее налоговой системы, пришедшей на смену плановым финансам советского периода, составили новые для РФ, но обычные для стран с развитой промышленностью обязательные платежи: налог на прибыль предприятий, основанный на стандартизированном учете финансовых результатов; подходящий налог с физических лиц, составляющий часть издержек предприятий и взимаемый у источника выплаты доходов; НДС, органично вписанный в систему международной торговли. Эти налоги стали важным элементом рыночных трансформаций российской экономики и смены техноэкономической парадигмы. Она в основном завершилась к концу указанного периода и сопровождалась разрушением значительной части промышленного потенциала, прежде всего в машиностроении, и потерей многих наукоемких производственных технологий и компетенций, а ее закономерным итогом стал финансовый кризис 1998 года. Новые налоги не препятствовали, а способствовали ускорению таких неоднозначных трансформаций. Это еще раз подчеркивает их подчиненную роль: налоги могут и должны активно использоваться для успешного развития экономики, но при этом, во-первых, они сами зависят от того, что и как производится, и, во-вторых, могут способствовать прогрессивным технико-технологическим преобразованиям, если для этого создан комплекс соответствующих условий: государство хочет (проявляет политическую волю) и способно защищать национальные интересы на мировых рынках; в стране действуют прозрачные «длинные» правила, способствующие инновациям и препятствующие «короткому» рентоориентированному поведению; активно поддерживается и поощряется развитие национальной научно-технической сферы, исследований и разработок и др.

3. Постиндустриальный этап (1999–2008) характеризуется наличием вновь сформированной производственно-технологической структуры экономики, в которой ведущую роль стали играть технологии добывающей промышленности, прежде всего в сфере добычи углеводородов, а также преобладанием в структуре ВДС сферы торговли. В этот период Россия закрепила за собой роль глобального поставщика нефти и газа на мировые рынки. Идеология такого подхода состояла в том, что страна специализируется на экспорте углеводородов, а взамен импортирует необходимое оборудование и конечную продукцию. Однако налоговая система, которая была сформирована по итогам предыдущего этапа рыночных трансформаций, не соответствовала реалиям новой производственно-технологической структуры. Подоходные налоги (на прибыль, доходы) и НДС, составляющие основу налоговых систем многих стран мира, прежде всего развитых, хорошо работают в условиях свободной торговли, конкурентных рынков и цен и не предназначены для специального изъятия природной ренты, значительная часть которой поступала в распоряжение частных лиц. Данное несоответствие было в основном устранено в начале 2000-х годов посредством восстановления государственного контроля над значительной частью базы налогообложения углеводородов, введения «прозрачного» налога на добычу полезных ископаемых, прогрессивной шкалы ставок пошлины на экспорт углеводородов и др., а также формирования Стабилизационного фонда. Это была принципиальная перестройка налоговой системы, связанная с резким повышением доли ресурсной ренты, присваиваемой государством. В условиях благоприятной внешней конъюнктуры она позволила восстановить экономический

суверенитет страны, радикально сократить внешний долг, в разы увеличить доходы консолидированного бюджета и накопить существенные резервы (в том числе золотовалютные), что в комплексе способствовало существенному смягчению последствий мирового финансового кризиса 2007–2008 годов.

4. Третий – неиндустриальный – этап (с 2009 года по настоящее время) продемонстрировал ущербность сформированной ранее техноэкономической парадигмы и структуры налоговой системы, базирующихся на экспорте углеводородов. Во-первых, потому что цены на сырьевых рынках обладают высокой волатильностью по объективным причинам, в том числе в связи с цикличностью процессов экономического развития. Во-вторых, потому что торговля любимыми стратегическими товарами (в том числе энергетическими) подвержена сильному политическому давлению (пример – Северный поток – 2). В-третьих, потому что на это время пришлось начало новой промышленной революции, основанной на слиянии физических и цифровых технологий, которая ускоряет девальвацию сырьевых товаров. РФ, столкнувшись с обвалом цен на углеводороды и попав под экономические санкции, вынуждена была обратиться к реализации политики импортозамещения и новой индустриализации, закономерным итогом которых стала Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности (2020 год). В налоговой сфере усилия были направлены на снижение трансакционных налоговых издержек (требование неизменности базовых правил налогообложения, существенное улучшение позиций РФ в рейтинге Paying taxes), а также на разработку и применение специальных налоговых режимов для стимулирования инвестиций в новую технику и технологии (СПИКи, ЗПКВ, специальные льготы для IT-отрасли и др.). Но наиболее важной системной мерой по трансформации налоговой системы стало приведение налогового администрирования в соответствие с возможностями новых цифровых технологий. В частности, были разработаны и внедрены автоматизированная система контроля за возмещением НДС, автоматизированная система контроля применения контрольно-кассовой техники, информационная система маркировки и прослеживания товаров и др. В результате сейчас система администрирования НДС в РФ является одной из лучших в мире. Судя по динамике макроэкономических показателей, есть основания утверждать, что налоговая система быстрее адаптирует и лучше использует новые киберфизические технологии, чем экономика РФ в целом.

5. Тем не менее это только начало пути – и в сфере производственно-технологического развития, и в сфере трансформации налоговой системы, которая, с одной стороны, должна соответствовать требованиям и возможностям новой техники и технологий, а с другой – активно стимулировать их развитие. Общие принципы налоговых реформ, соответствующие новой киберфизической реальности и цифровым трансформациям налоговой базы – это цифровая алгоритмизация налогов, получение защищенной информации о хозяйственных транзакциях в режиме реального времени, автоматическое исчисление и уплата налогов по смарт-контрактам в соответствии с императивами государственной экономической политики. Исходя из этих принципов, нерешенные проблемы остаются и в части состава и структуры налогов, и в части формирования новых налоговых институтов. В целом налоговая система РФ пока еще слабо соответствует новым цифровым реалиям. В особенности это касается налога на прибыль предприятий, который построен на расплывчатых бухгалтерских принципах соизмерения затрат и результатов за отчетный период и в принципе плохо поддается цифровой алгоритмизации. Для успешного вхождения в высокотехнологичное будущее требуется также изменение структуры налоговой системы в направлении ее лучшего соответствия требованиям ускорения научно-технологического развития (сокращение удельного веса налогов, обременяющих инвестиции, в том числе – в сферу НИОКР). Необходим дальнейший прогресс в снижении трансакционных налоговых издержек, в частности в аспекте информационной безопасности, за счет применения новейших цифровых технологий. Но делать это нужно с учетом того, что только нейтральной и удобной налоговой системы уже недостаточно для успеха неоиндустриализации, поскольку новые киберфизические и иные подрывные технологии на начальных этапах своего жизненного цикла отличаются высокими рисками и низкой рентабельностью, а поэтому без специальной поддержки чисто экономически будут уступать уже имеющимся технологиям и продуктам (в

том числе импортным). В этой связи требуется дальнейшее совершенствование специальных налоговых режимов, механизмов публично-частного партнерства, политики в сфере международного налогообложения и др.

Работа в этом направлении продолжается. И если она окажется успешной, то в перспективе налоговая система России может быть преобразована в «умную» автоматическую цифровую платформу, работающую в режиме реального времени с электронными лицами, точно учитывающую индивидуальные обстоятельства налогоплательщиков и отвечающую общим требованиям социально-экономической политики государства.

Литература

- Бетелин, В. Б. (2016). О проблеме импортозамещения и альтернативной модели экономического развития России // *Стратегические приоритеты*, 1(9), 11–21.
- Вишневский, В. П. (2019). Цифровая экономика в условиях четвертой промышленной революции: возможности и ограничения // *Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика*, 35 (4), 606–627. DOI: 10.21638/spbu05.2019.406
- Вишневский, В. П., Гончаренко, Л. И., Гурнак, А. В. (2016). Эволюция налоговых институтов и проблемы перехода к экономическому росту // *Terra Economicus*, 14 (4), 14–30. DOI: 10.18522/2073-6606-2016-14-4-14-30
- Всемирный банк (2014). *Доклад об экономике России № 31: кризис доверия обостряет экономические проблемы России*, март, 52 с.
- Гурвич, Е., Вакуленко, Е., Кривенко, П. (2009). Циклические свойства бюджетной политики в нефтедобывающих странах // *Вопросы экономики*, (2), 51–70. DOI:10.32609/0042-8736-2009-2-51-70
- Данилов-Данильян, А. В. (2016). Процесс импортозамещения в экономике России: особенности и мифы // *Вестник Института экономики РАН*, (3), 20–37.
- Караев, А. К. (2017). Нелинейная динамическая модель взаимодействия фискальной и монетарной политик России // *Экономика. Налоги. Право*, (3), 43–51.
- Лыкова, Л. Н. (2016). Налоговая политика России в условиях кризиса // *Журнал Новой экономической ассоциации*, (1), 186–192.
- Назаров, В. С. (2011). Налоговая система России в 1991–2008 годах // *История новой России* (<http://www.ru-90.ru/node/1170> – Дата обращения: 6.04.2020).
- Пекарский, С. Э., Атаманчук, М. А., Мерзляков, С. А. (2008). Модель макроэкономической политики в экспортоориентированной экономике // *Экономический журнал Высшей школы экономики*, (3), 337–364.
- Польнов, М. Ф. (2005). Рыночные реформы в 1990-е годы и их последствия для промышленности России // *Вестник СПбГУ. Серия 2. История*, (1), 78–90.
- Сайфиева, С. Н., Ермилина, Д. А. (2012). Российское машиностроение: состояние и тенденции // *Экономист*, (2), 32–43.
- Центральный Банк Российской Федерации (1999). *Годовой отчет 1998*. Утвержден Советом директоров Банка России 14.05.1999. Агентство экономической информации «Прайм-ТАСС», 219 с.
- Центральный Банк Российской Федерации (2000). *Годовой отчет 1999*. Утвержден Советом директоров Банка России 13.05.2000. Агентство экономической информации «Прайм-ТАСС», 210 с.
- Цухло, С. В. (2016). Проблемы и успехи импортозамещения в российской промышленности // *Журнал Новой экономической ассоциации*, (4), 147–153. DOI: 10.31737/2221-2264-2016-32-4-7
- De Backer, K. Menon, C., Desnoyers-James, I., Moussiégt, L. (2016). Reshoring: Myth or Reality? // *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*, № 27. Paris: OECD Publishing, 34 p. DOI: 10.1787/5jm56frbm38s-en

- Frankowski, E., Barański, P., Bronowska, M. (2017). *Blockchain technology and its potential in taxes*. Poland: Deloitte, 19 p.
- IMF (2020). *A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery*. International Monetary Fund: World Economic Outlook Update, June.
- Mau, V. (2016). Between crises and sanctions: economic policy of the Russian Federation // *Post-Soviet Affairs*, 32 (4), 350–377. DOI: 10.1080/1060586X.2015.1053723
- Mayburov, I. A., Kireenko, A. P. (2018). Tax reforms and elections in modern Russia // *Journal of Tax Reform*, 4 (1), 73–94. DOI: 10.15826/jtr.2018.4.1.046
- Mokka, R., Neuvonen, A., Lindgren, J. (2017). *Digitalisation and the future of taxation*. Helsinki: The Finnish Innovation Fund Sitra, January 11, 8 pp.
- Moser, N. (2016). Ownership and enterprise performance in the Russian oil industry, 1992–2012 // *Post-Communist Economies*, 28 (1), 72–86. DOI: 10.1080/14631377.2015.112455
- OECD (2018). *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project*. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264293083-en
- Pogorletskiy, A. I. (2017). Tax policy in the contemporary world: peculiarities and prospects, implementation in Russia // *Journal of Tax Reform*, 3 (1), 29–42. DOI: 10.15826/jtr.2017.3.1.029
- PwC, the World Bank and International Finance Corporation (2019). *Paying Taxes 2020*. Washington, DC: the World Bank, 49 p.
- Rodrik, D. (2015). *Premature deindustrialization*. Working Paper 20935. National Bureau of Economic Research. 1050 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02138. 50 p.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum, Geneva, Switzerland.
- Vishnevsky, V. P., Chekina, V. D. (2018). Robot vs. tax inspector or how the fourth industrial revolution will change the tax system: a review of problems and solutions // *Journal of Tax Reform*, 4 (1), 6–26. DOI: 10.15826/jtr.2018.4.1.042

References

- Betelin, V. B. (2016). On the problem of import substitution and alternative models of economic development in Russia. *Strategic priorities*, 1(9), 11–21. (In Russian.)
- Danilov-Danilyan, A. V. (2016). The process of import substitution in the Russian Economy: Peculiarities and myths. *The Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences*, (3), 20–37. (In Russian.)
- De Backer, K., Menon, C., Desnoyers-James, I., Moussiégt, L. (2016). Reshoring: Myth or Reality? *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*, № 27. Paris: OECD Publishing, 34 p. DOI: 10.1787/5jm56frbm38s-en
- Frankowski, E., Barański, P., Bronowska, M. (2017). *Blockchain technology and its potential in taxes*. Poland: Deloitte, 19 p.
- Gurvich, E., Vakulenko, E., Krivenko, P. (2009). Cyclical properties of fiscal policy in oil-producing countries. *Voprosy Ekonomiki*, (2), 51–70. DOI: 10.32609/0042-8736-2009-2-51-70 (In Russian.)
- IMF (2020). *A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery*. International Monetary Fund: World Economic Outlook Update, June.
- Karaev, A. K. (2017). A Nonlinear Dynamic Model of the Russian Fiscal and Monetary Policy Interaction. *Economy. Taxes. Law*, (3), 43–51. (In Russian.)
- Lykova, L. N. (2016). Tax policy of Russia under the crisis conditions. *The Journal of the New Economic Association*, (1), 186–192. (In Russian.)
- Mau, V. (2016). Between crises and sanctions: economic policy of the Russian Federation. *Post-Soviet Affairs*, 32(4), 350–377. DOI: 10.1080/1060586X.2015.1053723

- Mayburov, I. A., Kireenko, A. P. (2018). Tax reforms and elections in modern Russia. *Journal of Tax Reform*, 4(1), 73–94. DOI: 10.15826/jtr.2018.4.1.046
- Mokka, R., Neuvonen, A., Lindgren, J. (2017). *Digitalisation and the future of taxation*. Helsinki: The Finnish Innovation Fund Sitra, January 11, 8 pp.
- Moser, N. (2016). Ownership and enterprise performance in the Russian oil industry, 1992–2012. *Post-Communist Economies*, 28(1), 72–86. DOI: 10.1080/14631377.2015.112455
- Nazarov, V. S. (2011). Tax system of Russia in 1991–2008. *The History of the New Russia* (<http://www.ru-90.ru/node/1170> – accessed: April 6 2020). (In Russian.)
- OECD (2018). *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project*. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264293083-en
- Pekarsky, S. E., Atamanchuk, M. A., Merzlyakov, S. A. (2008). Model of macroeconomic policy in an export-oriented economy. *HSE Economic Journal*, (3), 337–364. (In Russian.)
- Pogorletskiy, A. I. (2017). Tax policy in the contemporary world: peculiarities and prospects, implementation in Russia. *Journal of Tax Reform*, 3(1), 29–42. DOI: 10.15826/jtr.2017.3.1.029
- Polynov, M. F. (2005). Market reforms in the 1990s and their consequences for Russian industry. *Vestnik of Saint Petersburg University. History*, (1), 78–90. (In Russian.)
- PwC, the World Bank and International Finance Corporation (2019). *Paying Taxes 2020*. Washington, DC: the World Bank, 49 p.
- Rodrik, D. (2015). *Premature deindustrialization*. Working Paper 20935. National Bureau of Economic Research. 1050 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02138. 50 p.
- Saifieva, S. N., Ermilina, D. A. (2012). Russian mechanical engineering: status and trends. *Economist*, (2), 32–43. (In Russian.)
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum, Geneva, Switzerland.
- The Central Bank of the Russian Federation (1999). *Annual report 1998*. Approved by the Bank of Russia Board of Directors on May 14, 1999. Business News Agency Prime-TASS, 219 p. (In Russian.)
- The Central Bank of the Russian Federation (2000). *Annual report 1999*. Approved by the Bank of Russia Board of Directors on May 13, 2000. Published by Business News Agency Prime-TASS, 210 p. (In Russian.)
- Tsukhlo, S. V. (2016). Challenges and Successes of Import Substitution in the Russian Industry. *The Journal of the New Economic Association*, (4), 147–153. DOI: 10.31737/2221-2264-2016-32-4-7 (In Russian.)
- Vishnevsky, V. P. (2019). The digital economy in the context of the Fourth Industrial Revolution: Opportunities and limitations. *St. Petersburg University Journal of Economic Studies*, 35(4), 606–627. DOI: 10.21638/spbu05.2019.406 (In Russian.)
- Vishnevsky, V. P., Chekina, V. D. (2018). Robot vs. tax inspector or how the fourth industrial revolution will change the tax system: a review of problems and solutions. *Journal of Tax Reform*, 4(1), 6–26. DOI: 10.15826/jtr.2018.4.1.042
- Vishnevskiy, V. P., Goncharenko, L. I., Gurnak, A. V. (2016). Evolution of tax institutes and transition towards economic growth. *Terra Economicus*, 14(4), 14–30. DOI: 10.18522/2073-6606-2016-14-4-14-30 (In Russian.)
- World Bank (2014). *Russian Economic Report № 31: Confidence Crisis Exposes Economic Weakness*, March, 52 p. (In Russian.)

Моделирование брачной рождаемости в России с учетом региональной поливариативности семейной политики

Евгений Алексеевич Капогузов

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, Россия, e-mail: egenk@mail.ru

Роман Игоревич Чупин

ИЭОПП СО РАН, г. Новосибирск, Россия, e-mail: roman-chupin@ya.ru

Мария Сергеевна Харламова

ОНЦ СО РАН, г. Омск, Россия, e-mail: hms2020@mail.ru

Цитирование: Капогузов, Е. А., Чупин, Р. И., Харламова, М. С. (2020). Моделирование брачной рождаемости в России с учетом региональной поливариативности семейной политики // *Terra Economicus*, 18(4), 32–46. DOI: 10.18522/2073-6606-2020-18-4-32-46

Согласно обновленной версии единого плана по достижению национальных целей РФ до 2030 года, население до 2024 года ежегодно будет сокращаться и в общей сложности может уменьшиться на 1,2 миллиона человек. В свете этого одной из ключевых причин депопуляции, по мнению первых лиц государства, является низкий уровень брачной рождаемости. Для решения данной проблемы власти реализуют «энергичные меры» стимулирования рождаемости, охраны материнства и детства, делая акцент на традиционные семейные отношения. С учетом региональной поливариативности семейной политики в России, однако, эти меры далеко не всегда приводят к желаемым эффектам. Данная статья посвящена решению проблемы оценки брачной рождаемости в Российской Федерации посредством разработки классификатора, позволяющего определить вероятность вступления россиян в зарегистрированный брак. В исследовании предложена группировка регионов РФ по уровню брачной рождаемости, исходя из которой определены масштабы деинституционализации брака в стране. Сделан вывод о том, что тенденция деинституционализации брака в российских регионах может быть объяснена демографической структурой, которая усиливает воспроизводство института семьи и брака «в минус». При увеличении среднего возраста вступления в брак со стороны женщины происходит переход к контрактному браку, что, в свою очередь, приводит к накоплению институциональных исключений и постепенному институциональному распаду традиционных семейных отношений. На основе данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) была оценена биномиальная модель (логит) вероятности вступления в брак. Результаты моделирования позволяют сделать вывод о том, что эффективность мер семейной политики может быть повышена посредством институционального усиления реальных разделяемых стратегий россиян в региональном разрезе.

Ключевые слова: брачная рождаемость; семейная политика; деинституционализация брака; региональная поливариативность; институциональные утверждения; институциональные изоморфизмы семейных отношений

Благодарность: Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации по теме «Семейные домохозяйства как экономический субъект».

Modeling marital fertility in Russia in terms of regional multi-variations in family policy

Evgeny A. Kapoguzov

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia, e-mail: egenk@mail.ru

Roman I. Chupin

Institute of Economics and Industrial Engineering, Siberian Branch of RAS Novosibirsk, Russia
e-mail: roman-chupin@ya.ru

Maria S. Kharlamova

Omsk Scientific Centre, Siberian Branch of RAS, Omsk, Russia, e-mail: hms2020@mail.ru

Citation: Kapoguzov, E. A., Chupin, R. I., Kharlamova, M. S. (2020). Modeling marital fertility in Russia in terms of regional multi-variations in family policy. *Terra Economicus*, 18(4), 32–46. DOI: 10.18522/2073-6606-2020-18-4-32-46 (In Russian)

Russia's population is forecasted to decline annually by 2024, the updated version of the Unified Plan for Achieving the National Development Goals of the Russian Federation for the Period until 2030 says. The total decrease may be equal to 1,2 million people. According to key Russian officials, low level of marital fertility is seen as one of the main reasons for depopulation. Russian authorities are "implementing active measures" to increase the birth rate and to protect mothers and children, with an emphasis on traditional family support. In terms of regional multi-variations in family policy, however, these measures do not always result in positive impacts. This paper contributes to the problem of assessing marital fertility in the Russian Federation by developing a classifier for estimating the likelihood of marriage. The study proposes a grouping of regions by the level of marital fertility to assess the scope of deinstitutionalization of marriage in Russia. The authors suggest that the tendency of the marriage deinstitutionalization in Russian can be explained by the regional population structures, which negatively impact the reproduction of the institution of marriage and family. With an increase in the average age of marriage for women, there is a shift to contract marriages, which results in a gradual accumulation of institutional exceptions and breakdown of the traditional family. This study relies on the data of the Russia Longitudinal Monitoring Survey – Higher School of Economics (RLMS-HSE). The authors evaluate the binomial logit model of the probability of marriage. The results suggest that the effectiveness of the family policy may be increased through the institutional strengthening of shared strategies according to the regional context.

Keywords: marital fertility; family policy; deinstitutionalization of marriage; regional multi-variations; institutional statements; institution of family institutional isomorphism

Acknowledgement: The article is supported by the state assignment of the Financial University under the Government of the Russian Federation, titled «Family households as an economic entity».

JEL codes: D10; B52; C71

Введение

Согласно ранее проведенным исследованиям, в России существует значительная региональная поливариантность мер семейной политики (Капогузов и др., 2020а), поэтому национальная концепция поддержки института брака может привести в ряде регионов к противоположным, в сравнении с ожидаемыми, эффектам. Как отмечалось ранее применительно к статистике по российским регионам, меры государственной поддержки, предусмотренные национальным проектом «Демография», не предполагают выработки эффективных стимулов для прироста брачности и рождаемости. На сегодняшний день существует возможность сознательного выбора бездетной семьи, что приводит к распространению нетрадиционных семейных отношений и деинституционализации брака (Капогузов и др., 2019). В широком смысле деинституциональная означает расслоение института (Cherlin, 2020), при котором происходит размывание норм и правил с точки зрения их влияния на различные слои общества. Так, в западных странах «старые» формы семейных отношений продолжили быть узнаваемыми и сохранили свою идентичность, но утратили доминирующие позиции и «бескомпромиссные директивы» (Cherlin, 2004; Cherlin, 2003). Примечательно, что в октябре 2020 года Папа Римский Франциск заявил о допустимости однополых гражданских браков¹.

Российская Федерация в этом плане остается «заповедником» старых семейных ценностей (Миронова, Прокофьева, 2018), но продолжает испытывать при этом угрозы депопуляции². Особенно остро вопрос о мерах поддержки российских семей и рождаемости встал в момент распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, усиливающей демографические риски для воспроизводства населения. В свете этого к середине 2020 года проблема депопуляции даже достигла уровня комментариев со стороны первых лиц государства³.

Репродуктивные стратегии россиян

Общий исторический тренд трансформации института семьи не обошел стороной и Россию (Капогузов и др., 2020b). На основе наблюдений возрастной структуры брачной рождаемости в субъектах Российской Федерации были рассчитаны параметры модели оценки регулирования рождаемости Коула – Трассела⁴ (рис. 1).

Согласно рассчитанным оценочным параметрам уровня брачной рождаемости в регионах РФ за 1995–2018 годы, среднее значение в 2018 году сократилось к 1995 году на 14,3 п.п. Наибольший прирост среднего уровня брачной рождаемости отмечается в 2008 (на 0,8 п.п.) и 2014 (1,4 п.п.) годах. Примечательно, что данные периоды относятся к экономическим кризисам. Один из наиболее авторитетных российских демографов А.Г. Вишневецкий охарактеризовал данную ситуацию так: «все-таки люди не ведут себя как градусник, который автоматически реагирует на каждое изменение температуры»⁵.

¹ У них есть право на семью // *BBC* (<https://www.bbc.com/russian/news-54630215> – Дата обращения: 21.10.2020).

² Демографический кризис – препятствие модернизации России // *Голос Америки* (<https://www.golos-ameriki.ru/a/russia-demographics-2010-08-13-100662344/187369.html> – Дата обращения: 22.04.2020).

³ Песков объяснил сокращение численности населения в России // *РИА Новости* (<https://ria.ru/20201016/naselenie-1580103755.html> – Дата обращения: 13.10.2020).

⁴ В первоначальной трактовке модели было заложено предположение, согласно которому брачная рождаемость регулируется населением в соответствии с определенным социальным стандартом (Coale, Trussell, 1974). В обобщенном виде модель имеет вид: $r(x) = M \cdot n(x) \cdot e^{m \cdot v(x)}$, где $r(x)$ – коэффициент брачной рождаемости в возрасте x ; $n(x)$ – коэффициент естественной рождаемости в возрасте x ; $v(x)$ – социальный стандарт рождаемости, заданный как возрастная модель отклонения от естественной рождаемости; m – уровень регулирования рождаемости населением; M – уровень брачной рождаемости. В данном смысле, путем выявления параметра m , появляется возможность косвенного определения распространенности практик по сдерживанию деторождения, тогда как отклонение параметра M от 100% свидетельствует о наличии институционального потенциала брачной рождаемости (Coale, Trussell, 1978).

⁵ Экономисты оценили влияние кризиса на российскую экономику // *РБК* (<https://www.rbc.ru/economics/14/09/2016/57d961f09a79474989e2b9d0> – Дата обращения: 21.04.2020).

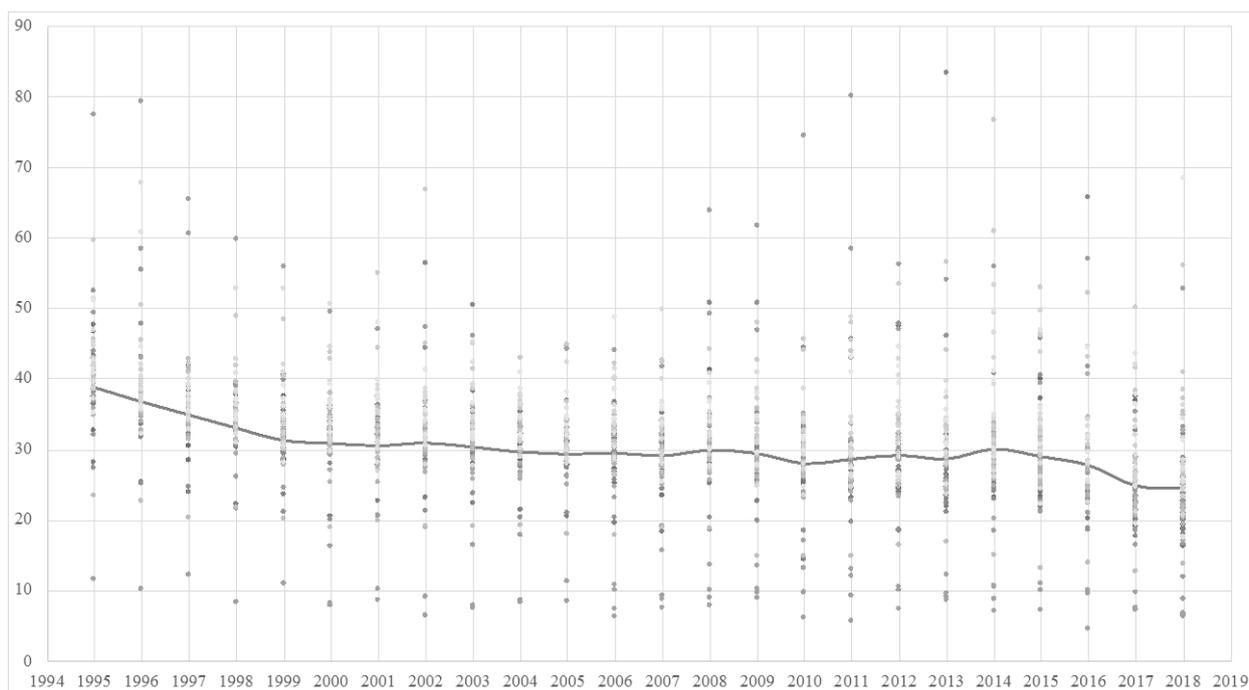


Рис. 1. Динамика оценочных параметров уровня брачной рождаемости в регионах РФ в 1995–2018 годах

Источник: рассчитано авторами по данным аналитического портала Института демографии НИУ ВШЭ «ДЕМОСКОП Weekly»

Это вовсе не означает, что экономический кризис не оказывает влияния на рождаемость. Согласно научному докладу РАНХиГС «Экономический кризис – социальное измерение», экономический кризис в целом негативным образом сказывается на уровне рождаемости и брачности (Малаева, 2016). Однако влияние кризиса имеет определенный лаг, который может проявляться через несколько лет по мере сокращения реальных доходов. При этом в краткосрочной перспективе рождаемость даже может расти в «ожидании негативных ожиданий», так как работающие женщины склонны принимать положительное решение о рождении второго и последующего ребенка с целью получения декретного отпуска и сохранения за собой рабочего места в кризисный период.

Свидетельство этому – изменение возрастной структуры рождаемости в российских регионах, а также положительные величины контроля над рождаемостью (относительно естественной рождаемости по шкале Анри) в некоторых регионах России начиная с середины двухтысячных годов. Однако положительные значения параметра уровня регулирования брачной рождаемости (рис. 2) не являются свидетельством «идеальной» ситуации с брачной рождаемостью.

В российских регионах начиная с 2002 года отмечается снижение уровня регулирования брачной рождаемости при одновременном сокращении уровня брачной рождаемости в стране. На протяжении 2002–2018 годов в целом по Российской Федерации постепенно сокращается пропорция рождений в браке и вне брака, при том что уровень внебрачной рождаемости продолжает оставаться высоким. Схожая динамика также отмечается по соотношению разводов и зарегистрированных браков. Статистика количества браков по регионам РФ в 2002 и 2018 годах демонстрирует, что снижение уровня брачной рождаемости отмечается в большей степени по субъектам с преобладающим числом зарегистрированных семейных союзов. Также следует отметить сокращение общего количества браков на фоне роста рождаемости, что является прямым следствием позитивной динамики уровня регулирования брачной рождаемости. При этом в регионах с более высоким уровнем брачной рождаемости также сокращалось общее количество

регистраций браков. Стабильная динамика показателей во многом поддерживается отсутствием прироста количества разводов.

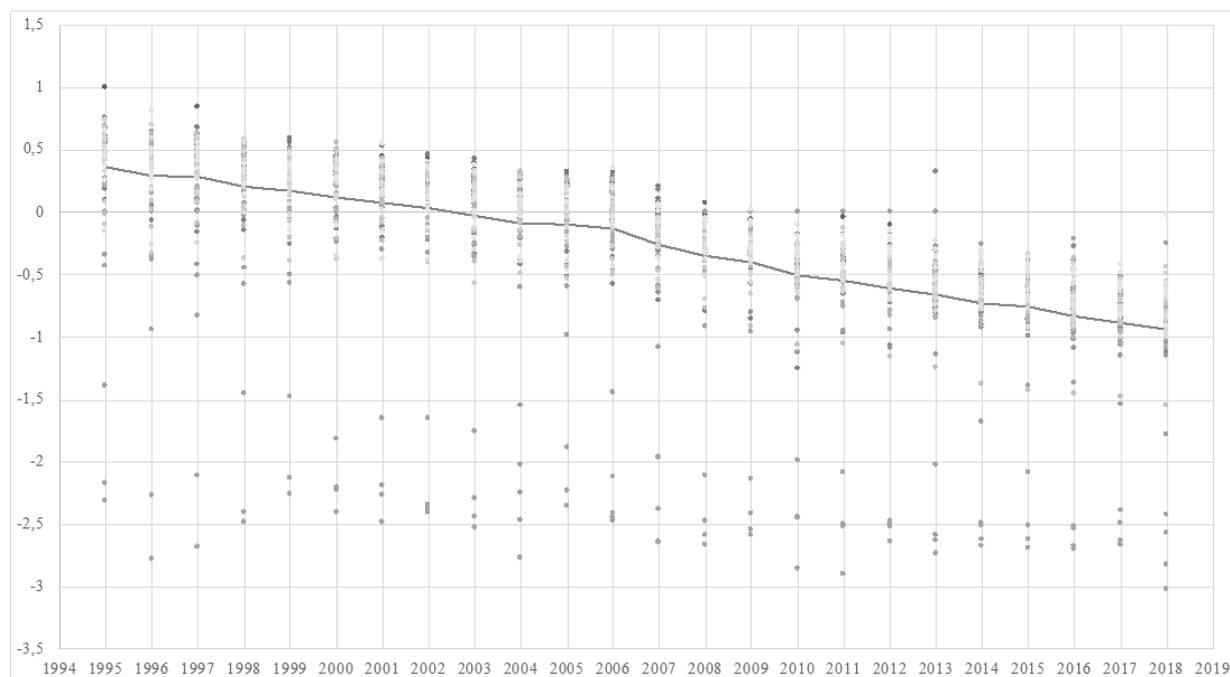


Рис. 2. Динамика оценочных параметров уровня регулирования брачной рождаемости в регионах РФ в 1995–2018 годах

Источник: рассчитано авторами по данным аналитического портала Института демографии НИУ ВШЭ «ДЕМОСКОП Weekly»

Иными словами, одновременное снижение уровней брачной рождаемости и регулирования рождаемости в РФ обусловлено приростом рождаемости в уже существующих семьях на фоне общего сокращения количества вновь зарегистрированных браков и отсутствия динамики в разводах. Прирост соотношения рожденных детей в браке и вне брака произошел в 2018 году по отношению к 2020 году почти во всех регионах РФ. Наибольший прирост рождений в браке по отношению к внебрачным рождениям произошел в Белгородской, Ярославской, Калининградской, Пензенской областях, городе федерального значения Санкт-Петербурге, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Татарстан и Приморском крае.

Однако отдельные сравнения по параметрам брачности и рождаемости не позволяют выделить группы регионов со схожими тенденциями. Для решения данной задачи применен метод иерархического кластерного анализа, позволяющий вывести средние значения всех расстояний между всеми возможными комбинациями значений анализируемых параметров (рис. 3).

В результате получено семь кластеров, позволяющих судить о наличии определенной демографической идентичности регионов РФ по параметрам брачности и рождаемости. Значимыми для анализа являются 4, 5 и 7-й кластеры, куда входят 30, 35 и 15 регионов соответственно. Следует отметить, что в регионах «темно серой» формируется стандарт бездетной семьи, усугубляющий разрыв между социальными и демографическими функциями брака.

С учетом низкого уровня брачной рождаемости при практически полном отсутствии регулирования рождаемости следует отметить высокий институциональный потенциал традиционных семейных отношений. В российских регионах до сих пор отмечается широкое распространение традиционных семейных отношений, что является основой для усиления института семьи и брака. Однако меры государственной поддержки, предусмотренные национальным проектом «Демография», не предполагают выработки фундаментальных механизмов институционального

усиления данных форм. На сегодняшний день у индивидов есть возможность сознательного выбора бездетной семьи, что приводит к распространению нетрадиционных семейных отношений, а в долгосрочной перспективе – к распаду института семьи.



Параметры (2018 год)	Конечные центры кластеров						
	1	2	3	4	5	6	7
Уровень брачной рождаемости, %	52,74	23,91	26,3	21,49	22,59	25,41	27,05
Уровень регулирования брачной рождаемости	-0,251	-0,991	-0,771	-0,981	-1,126	-1,011	-0,85
Количество браков	14 760,0	43 973,3	14 959,1	6 818,3	75 365,0	2 899,5	24 729,2
Количество разводов	4 305,0	25 531,7	10 413,0	4 629,3	43 963,0	2 027,6	16 592,2
Количество детей в браке, чел.	37 944,0	57 553,0	20 327,6	9 667,0	107 622,0	4 183,7	36 596,3
Количество детей вне брака, чел.	10 026,0	12 994,3	5 888,4	2 862,3	24 268,0	1 318,0	8 814,0

Рис. 3. Группировка регионов РФ по уровню регулирования рождаемости за 2018 год
Источник: кластеры построены авторами в IBM SPSS. Карты построены авторами на платформе BingMicrosoft

Институциональное усиление и институциональные изоморфизмы семейных отношений в российских регионах

Исходя из результатов кластерного анализа следует, что регионы РФ имеют значительную поливариативность, свидетельствующую о наличии сложной структуры институциональных утверждений⁶.

⁶ Согласно концепции нобелевского лауреата по экономике Э. Остром (Crawford, Ostrom, 1995), институциональные утверждения выражаются в трех формах дискурсивного восприятия социального взаимодействия: 1) разделяемых стратегиях; 2) нормах; 3) правилах. На примере брачного рынка данные формы, как было сказано ранее, способны оказывать существенное влияние на образование стабильных мэтчингов – комбинаций семейных отношений. Если в обществе (среди мужчин и женщин) преобладает доминирующая стратегия (на уровне предпочтений) вступать в официальный (зарегистрированный) брак с целью деторождения, существуют нормы и субъекты, стимулирующие агентов на подобное поведение, а также понятные «правила игры», при нарушении которых общество имеет легитимное право и возможность санкционировать оппортунистическое поведение, то с высокой долей вероятности агенты создадут семью. В обратном случае образование стабильных мэтчингов может привести к распространению бракоподобных союзов, бездетных семей и одиночества.

Во-первых, регионы с низким уровнем разводимости и высоким уровнем брачной рождаемости (1-й кластер), где в явном виде выражена приверженность агентов к формированию семьи с целью деторождения.

Во-вторых, регионы с высоким уровнем брачности и рождаемости, но также и высоким уровнем разводов (6-й, 7-й кластеры), в которых доминирует стратегия вступления в брак, однако преобладающие нормы и правила не способствуют сохранению брака.

В-третьих, регионы с высоким уровнем брачности при одновременно высоком уровне разводимости и внебрачной рождаемости (2, 3 и 5-й кластеры). В данных регионах не отмечается преобладание стратегии вступления в брак и деторождения в браке как доминирующей, тогда как в нормах и правилах отмечаются тенденции по расслоению института семьи.

В-четвертых, регионы с минимальным уровнем брачной рождаемости при одновременном институциональном подкреплении традиционных семейных отношений и существовании явных ограничений для разводов.

Обобщая результаты анализа, можно выделить следующую группировку институциональных утверждений в области семейных отношений в России (табл. 1).

Таблица 1

Типология институциональных утверждений в области семейных отношений в регионах РФ

	Брак с целью деторождения является разделяемой стратегией	Брак с целью деторождения не является разделяемой стратегией
Нормы и правила направлены на сохранение традиционных семейных отношений	Уровень брачной рождаемости выше 50%. Количество разводов в три раза меньше количества регистрации браков	Уровень брачной рождаемости менее 22%. Количество разводов в два раза меньше количества регистрации браков
Отмечаются тенденции деинституционализации семьи и брака	Уровень брачной рождаемости выше 25%. Количество разводов стремится к количеству браков и остается на высоком уровне	Уровень брачной рождаемости от 22 до 25%. Количество разводов стремится к количеству браков и остается на высоком уровне

Источник: составлено авторами.

Тенденциями деинституционализации брака охвачено свыше 50 регионов РФ, тогда как распространение проблемы развития нетрадиционных форм брачных (семейных) отношений в той или иной степени зафиксировано в 35 субъектах. Исходя из этого, следует предположить наличие неопределенности в воспроизводстве института семьи и брака в современной России.

Так, согласно мнению Б.А. Ерзнкяна, «для самосохранения института в течение некоторого времени он должен воспроизводиться, причем не обязательно полностью в прежнем виде – возможны усиливающие институт со знаком плюс или минус изменения» (Ерзнкян, 2017: 29). Влияние институционального усиления как со знаком плюс, так и со знаком минус может быть проиллюстрировано на примере изменения возраста вступления в брак, а также оценок россиянами асимметрии в возрасте между супругами.

Так, согласно исследованию В.В. Радаева, «в 2016 году при медианном возрасте 27 лет лишь чуть более половины представителей поколения миллениалов (54,4%) считали себя женатыми/замужем (включая гражданские браки), а 41,3% из них еще никогда не образовывали семью. Если сравнить это с ситуацией предшествующего реформенного поколения в 2002 году, когда его медианный возраст был аналогичным, – женатыми/замужем себя считали 68,1%, а никогда не состояли в официальном или неофициальном браке лишь 24,1%» (Радаев, 2018: 20). По независимым экспертным оценкам также отмечается «увеличение в 1,5 раза доли браков, в

которых муж старше жены на 7 и более лет» (Елютина, Быкова, 2012: 84), тогда как средний возраст женщин при вступлении в брак непрерывно растет и отдалается от «идеального» возраста замужества (Захаров, 2010). Исследователями отмечается, что данные тенденции во многом обусловлены экономическими факторами, в том числе необходимостью для женщин получить высшее образование, съехать от родителей и устроиться на постоянную работу. Ретроспективный анализ семейных отношений в России свидетельствует, что раньше девушка получала «домашнее» образование, и заключение брака было делом родителей (Елютина, Быкова, 2012: 85). В этом смысле ранние асимметричные браки влияли со знаком плюс на традиционные семейные отношения. Однако на сегодняшний день роль родителей как субъекта институционального усиления существенным образом трансформировалась, и женщина зачастую вынуждена самостоятельно находить пути решения своих имущественных и профессиональных задач.

Таким образом, несмотря на формальную схожесть асимметричных браков с традиционными семейными отношениями, при увеличении среднего возраста вступления в брак со стороны женщины происходит переход к контрактному браку, что, в свою очередь, приводит к накоплению институциональных исключений и постепенному институциональному распаду традиционных семейных отношений (Барбашин, 2016).

При оценке влияния институционального усиления важно учитывать не только контекст происходящих изменений, но и механизмы, посредством которых формируются разделяемые стратегии, нормы и правила. В данном случае представляется интересным подход П. Димаджо и У. Пауэлла, которые предложили использовать понятие «институциональный изоморфизм» как инструмент для понимания принципов поведения и церемониала (DiMaggio, Powell, 1983). Согласно данному подходу, институциональное усиление может быть осуществлено через три механизма, каждый из которых оказывает влияние на доминирующие институциональные утверждения.

Так, влияние родителей при формировании семьи своих детей может быть охарактеризовано через подражательный, нормативный и принудительный изоморфизмы (табл. 2).

Таблица 2

Институциональные изоморфизмы семейных отношений

Механизмы институционального изоморфизма	Усиление «в плюс» (сложная семья)	Усиление «в минус» (нуклеарная семья)
Подражательный изоморфизм	Воспроизводство практик традиционного брака как средства для решения имущественных и профессиональных задач. Активная роль посредничества при решении семейных проблем. Наличие семейных обычаев	Ориентация на самостоятельность при принятии решений. Частичный или полный отказ от участия посредников из членов семьи. Элементы «контрактного брака» с ориентацией на внешние образцы поведения
Нормативный изоморфизм	Существенное влияние внешних воздействий на поведение до брака и в браке. Возможность влияния посредников из круга семьи на принятие решений. Наличие иерархии семейных отношений и общей семейной репутации	Периодическое переосмысление норм и ценностей семейных отношений. Преобладание рациональных аргументов при принятии совместных решений. Отсутствие иерархии и относительная самостоятельность супругов
Принудительный изоморфизм	Санкционирование отказа от традиционных семейных ценностей посредством лишения имущественных прав, изгнания и т.п. Процедура развода является крайне затратной	Легитимация бракоподобных союзов, в том числе гражданского брака, бездетной семьи и т.п. как узаконенных отношений. Минимальные издержки при процедуре развода

Исходя из вышесказанного, тенденция деинституционализации брака в российских регионах может быть объяснена демографической структурой, которая усиливает воспроизводство института семьи и брака «в минус». На сегодняшний день в России, несмотря на усилия государства, практически отсутствует массовое распространение сложных семей в поколениях, рожденных в постсоветский период, поэтому воздействие подражательного изоморфизма не приводит к воспроизводству стратегии брака с целью деторождения. В свою очередь, декларируемые федеральными и региональными властями модели традиционной многодетной семьи не являются лучшим образцом для представителей миллениалов, которые не находят реальной поддержки от своих родителей и государства в решении имущественных и профессиональных проблем. Нормы деторождения и раннего вступления в брак также не способствуют усилению «в плюс» по причине отсутствия реального подкрепления со стороны посредников. Таким образом, ответственность по воспроизводству института семьи и брака «в плюс» возложена на новое поколение россиян, которые не имеют на это материальной и институциональной основы.

Моделирование оценки влияния институциональных утверждений на брачное поведение российских домохозяйств

Для оценки влияния институциональных утверждений на брачное поведение российских домохозяйств в исследовании предложена модель, позволяющая определить значимые факторы вступления в традиционный брак с целью деторождения. В качестве информационной базы исследования использованы данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ), проводимого Высшей школой экономики. Отметим, что данные РМЭЗ являются открытыми и доступны для загрузки⁷. В рамках данной задачи были использованы данные репрезентативной выборки по индивидам за 2019 год – волна 28 (нужный файл называется `r28i_os_32` и содержит наблюдения за 750 переменными по 12 228 индивидам). Подробное описание переменных представлено во вкладке описания переменных (Codebooks) в подразделе 28-й волны (2019 год)⁸. Из описанной базы данных была осуществлена выборка для целей настоящего исследования, в результате отбора переменных и «очистки» данных от пропусков была сформирована выборка из 3132 наблюдений; далее необходимо подробнее остановиться на переменных.

Целевой на данном этапе являлась переменная `xj322` (по кодификатору РМЭЗ, метка переменной: «Состоите ли Вы в зарегистрированном браке?»). Данная переменная была преобразована в бинарную и записана в переменную `marital_status` так, что единица означает, что респондент состоит в зарегистрированном браке, а ноль – нет.

В качестве факторов были выделены группы переменных, характеризующих различные аспекты домохозяйства. Во-первых, был выделен набор базовых характеристик респондентов, куда вошли следующие переменные: `sex` (`xh5` – пол)⁹, `age` (`x_age` – возраст), `height` (`xm2` – рост), `weight` (`xm1` – вес), `weight_changed` (`xm2.1` – изменение веса), `n_children` (`xj72.172` – число детей), `settl_type` (`status` – тип населенного пункта).

Во-вторых, был добавлен блок региональных характеристик `region`, перегруппированный в набор `dumtu`-переменных для каждого из федеральных округов (Москва, Новая Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область объединены и включены в переменную ЦФО).

В-третьих, была отобрана группа переменных, характеризующих работу и основной род занятий: `main_occupation` (`xj90` – основное занятие), `working_hours_per_week` (`xj6.2` – число рабочих часов в неделю), `salary_main` (`xj10` – зарплата на основном месте работы), `off_employment`

⁷ Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (<https://www.hse.ru/rf/lms/spss> – Дата обращения: 20.07.2020).

⁸ Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (https://www.hse.ru/data/2020/08/30/1579134306/R28_ind_codebook.pdf – Дата обращения: 20.07.2020).

⁹ Здесь можно увидеть название переменной в сформированной для целей настоящего исследования базе, затем в скобках код переменной в базе РМЭЗ и краткую содержательную характеристику.

(xj11.1 – официальное трудоустройство), *off_work_experience* (xj161.3y – официальный трудовой стаж), *work_satisf* (xj1.1.1 – удовлетворенность работой), *want_change_job* (xj81 – желание сменить работу).

Также был отобран блок переменных, характеризующих удовлетворенность жизнью, привычки и здоровье респондентов, куда вошли следующие переменные: *life_satisf* (xj65 – удовлетворенность жизнью в целом), *fin_situation_dynam* (xj60.5a – улучшение финансового благополучия), *belief* (xj72.18 – каково отношение к религии), *health_doctor* (xl5.0 – число посещений врача), *health_state* (xm3 – общее состояние здоровья), *smoke* (xm71 – курение), *drink* (xm80.0 – употребление алкоголя).

Для того чтобы лучше представить выборку и показатели, в табл. 3 приведены базовые описательные статистики по некоторым из ключевых переменных (качественные переменные, имеющие более двух категорий, не были приведены вследствие трудности предварительной интерпретации и для удобства).

Таблица 3

Описательные статистики по некоторым показателям и число наблюдений по категориям для качественных переменных

Descriptivestatistics	n_children	weight	height	age	off_work_experience	working_hours_per_week	salary_main
Min.	0	40	140	18	0	3	50
1st Qu.	1	65	163	34	10	40	16 000
Median	1	75	168	43	19	40	25 000
Mean	1,4	75,6	169,1	43,7	21	43,2	29 145
3rd Qu.	2	85	175	53	30	48	35 000
Max.	7	140	203	86	65	168	200 000
Values (binary)	marital_status	children	smoke	drink	want_change_job	off_employment	sex
0	1277	624	2233	810	2699	182	1814
1	1855	2508	899	2322	433	2950	1318

Примечание: по качественным переменным 0 означает отрицательный ответ на вопрос, 1 – положительный (признак отражен в названии переменной), кроме переменной *sex*, где 0 – женщина, 1 – мужчина.

Как видно из табл. 3, в выборке 58% женщин и 42% мужчин, средний возраст респондента составил 43 года (минимальный возраст респондента 18 лет, максимальный – 84 года). Около 60% состоят в зарегистрированном браке и около 20% не имеют детей. Лишь 5% опрошенных не имеют официального трудоустройства, средняя заработная плата составляет около 29 тыс. рублей (медиана – 25 тыс. рублей), респонденты имеют в среднем около 20 лет официального трудового стажа и работают 40-часовую неделю.

Особый интерес в данной работе представляет число детей и их взаимосвязь с состоянием в браке. Среднее значение показывает, что у большинства опрошенных один или двое детей. Наибольшее количество опрошенных имеют одного ребенка (1123 респондента), двоих детей имеют 1097 респондентов, тогда как 624 респондента не имеют детей, троих детей имеют 232 респондента, а более трех – 56 опрошенных. Взаимосвязь между наличием детей (для наглядности здесь возьмем бинарную переменную) и состоянием в браке можно отразить с помощью мозаичного графика (рис. 4).

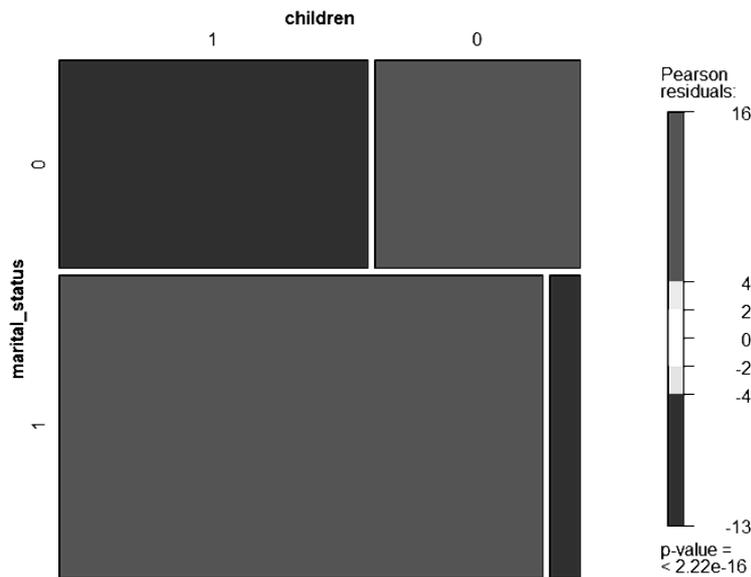


Рис. 4. Мозаичный график группировки наблюдений по признакам наличия детей и состояния в зарегистрированном браке

Примечание: children: 1 – есть дети, 0 – нет детей; marital_status: 1 – состоит в зарегистрированном браке, 0 – не состоит в зарегистрированном браке.

Мозаичный график группировки наблюдений по признакам наличия детей и состояния в зарегистрированном браке, а также рассчитываемая статистика показывают значимые различия по подвыборкам. При этом цвет означает, что в данную подгруппу попало слишком много наблюдений, чтобы считать данное разбиение статистически незначимым. Здесь видно существенное превалирование группы состоящих в зарегистрированном браке и имеющих детей. Тогда как темно серый цвет означает, что в данную подгруппу попало слишком мало наблюдений для того, чтобы считать это различие случайным. Видно, что число бездетных среди состоящих в зарегистрированном браке существенно меньше, что свидетельствует о сохранении функции деторождения за институтом брака.

Для оценки зависимости и прогнозирования целевой переменной *marital_status* (принимает значение 1 – состоит в зарегистрированном браке и 0 – не состоит в зарегистрированном браке) необходимо использовать модели, в которых зависимая переменная принимает только два значения (является фиктивной, качественной), т.е. модели с биномиальной зависимой переменной.

В биномиальную модель входит целевая переменная, которая принимает два значения, и объясняющие переменные, которые содержат факторы, подробно описанные ранее, определяющие выбор одного из значений, при этом оценивается вероятность принадлежности к одному из классов. Оценивалась модель с биномиальной зависимой переменной логит.

Описанные выше группы факторов поочередно включались в модель, затем проводился тест на линейное ограничение для проверки гипотезы о том, что коэффициенты при добавленных переменных одновременно равны нулю (о их незначимости и, следовательно, необходимости исключить из модели). Модель с базовыми характеристиками респондентов имеет следующий вид (модель 0):

$$\begin{aligned} \text{marital_status}_i = & \beta_1 + \beta_2 \text{sex}_i + \beta_3 \text{age}_i + \beta_4 \text{height}_i + \beta_5 \text{weight}_i + \\ & + \beta_6 \text{weight_changed}_i + \beta_7 \text{n_children}_i + \beta_8 \text{settl_type}_i + \xi_i \end{aligned}$$

В модель 1 помимо факторов из модели с базовыми характеристиками респондентов были включены региональные характеристики, уравнение имеет следующий вид (модель_0):

$$\begin{aligned} \text{marital_status}_i &= \beta_0 + \beta_{1k} \text{region}_{k_i} + \beta_2 \text{sex}_i + \beta_3 \text{age}_i + \beta_4 \text{height}_i + \beta_5 \text{weight}_i + \\ &+ \beta_6 \text{weight_changed}_i + \beta_7 \text{n_children}_i + \beta_8 \text{settl_type}_i + \xi_i \end{aligned}$$

Нулевая гипотеза состояла в том, что все коэффициенты при *dummy*-переменных, отвечающих за принадлежность к федеральному округу, одновременно равны нулю ($H_0 : \beta_{1k}(\text{region}) = 0_k$); данная гипотеза была отвергнута на уровне значимости 0,1% ($LRtest$ p – value = 0,000, $\chi^2 = 34$). Таким образом, модель 1 следует предпочесть модели 0.

В модель 2 были также включены факторы, характеризующие трудовую деятельность и основное занятие респондентов (помимо факторов из модели 1):

$$\begin{aligned} \text{marital_status}_i &= \beta_0 + \beta_{1k} \text{region}_{k_i} + \beta_2 \text{sex}_i + \beta_3 \text{age}_i + \beta_4 \text{height}_i + \beta_5 \text{weight}_i + \\ &+ \beta_6 \text{weight_ch}_i + \beta_7 \text{n_children}_i + \beta_8 \text{settl_type}_i + \beta_9 \text{main_occupation}_i + \\ &+ \beta_{10} \text{working_hours_week}_i + \beta_{11} \text{salary_main}_i + \beta_{12} \text{official_employ}_i + \\ &+ \beta_{13} \text{official_work_experience}_i + \beta_{14} \text{work_satisf}_i + \beta_{15} \text{want_change_job}_i + \xi_i \end{aligned}$$

В данном случае при сравнении модели 1 и 2 нулевая гипотеза состояла в том, что коэффициенты при переменных, характеризующих трудовую деятельность респондента, одновременно равны нулю ($H_0 : \beta_w(\text{work}) = 0_w$), т.е. их влияние незначимо. Данная гипотеза была отвергнута на уровне значимости 0,1% ($LRtest$ p – value = 0,000, $\chi^2 = 40$). Следовательно, факторы, характеризующие трудовую деятельность, значимы, и стоит выбрать модель 2.

Также ставилась гипотеза о том, что на вероятность заключения брака влияет группа факторов, характеризующих удовлетворенность жизнью, здоровье и привычки респондентов, которые были включены в модель 3 (помимо факторов из модели 2):

$$\begin{aligned} \text{marital_status}_i &= \beta_0 + \beta_{1k} \text{region}_{k_i} + \beta_2 \text{sex}_i + \beta_3 \text{age}_i + \beta_4 \text{height}_i + \beta_5 \text{weight}_i + \\ &+ \beta_6 \text{weight_ch}_i + \beta_7 \text{n_children}_i + \beta_8 \text{settl_type}_i + \beta_9 \text{main_occupation}_i + \\ &+ \beta_{10} \text{working_hours_week}_i + \beta_{11} \text{salary_main}_i + \beta_{12} \text{official_employ}_i + \\ &+ \beta_{13} \text{official_work_experience}_i + \beta_{14} \text{work_satisf}_i + \beta_{15} \text{want_change_job}_i + \\ &+ \beta_{16} \text{belief}_i + \beta_{17} \text{fin_situation}_i + \beta_{18} \text{life_satisf}_i + \beta_{19} \text{health_doctor}_i + \\ &+ \beta_{20} \text{health_state}_i + \beta_{21} \text{smoke}_i + \beta_{22} \text{drink}_i + \xi_i \end{aligned}$$

По результатам сравнения моделей 2 и 3, согласно тесту на линейное ограничение, нулевая гипотеза, которая состояла в том, что коэффициенты при переменных, характеризующих удовлетворенность жизнью, здоровье и привычки респондентов, одновременно равны нулю $H_0 : \beta_{shh}(\text{satisf} \& \text{health} \& \text{habits}) = 0$, отвергается. Данная гипотеза была отвергнута на уровне значимости 0,1% ($LRtest$ p – value = 0,000, $\chi^2 = 125$). Следовательно, факторы удовлетворенности жизнью, здоровья и привычек респондентов значимы, и стоит выбрать модель 3. В результате модель 3 является наилучшей. На рис. 5 приведены показатели качества оцененных моделей.

Для того чтобы увидеть, насколько качественно оцененные модели классифицируют объекты (в рассматриваемом случае выделяется класс состоящих в зарегистрированном браке и не состоящих), используются специальные показатели (ROC AUC). ROC-кривая и площадь под ней – AUC – позволяют оценить качество модели, где AUC, стремящийся к единице, означает, что почти 100% объектов были классифицированы верно, тогда ROC-кривая приближается (и почти сливается) с верхним правым углом квадрата, приведенного на рис. 3.

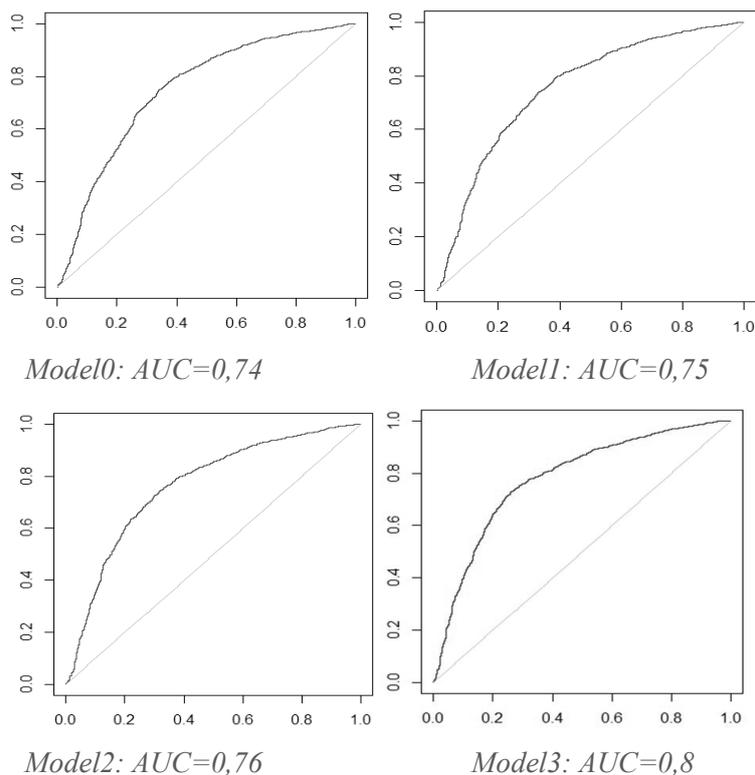


Рис. 5. Показатели качества оцененных моделей (ROC-кривая и площадь по кривой-AUC)

Видно, что выбранная модель достаточно неплохо классифицирует объекты, ее показатель AUC составил 0,8, данный показатель был улучшен с 0,74 в базовой модели, что тоже является существенным и говорит о высокой значимости базовых факторов, включенных в модель. Далее проведем содержательную интерпретацию наиболее значимых выводов и гипотез, которые позволяет сформулировать выбранная модель.

Выводы

В соответствии с проведенными тестами сравнения моделей наилучшей моделью является модель 3, учитывающая все группы предложенных факторов: базовые характеристики респондентов, региональные отличия, трудовую деятельность, а также удовлетворенность жизнью, здоровье и привычки. Показатель качества модели AUC составил 0,8, что свидетельствует о высокой прогнозной способности модели.

Согласно оценке предельных эффектов по наилучшей из оцененных моделей, можно дать следующие интерпретации:

- 1) вероятность вступления в зарегистрированный брак на 15 и 17% выше в Центральном и Южном федеральных округах соответственно;
- 2) число детей на 19% увеличивает вероятность нахождения в браке (брак с целью деторождения);
- 3) вероятность вступления в брак ниже на 27%, если вы предприниматель, на 62% – если студент дневного техникума, колледжа, и на 43% ниже, если студент вуза;
- 4) вероятность нахождения в браке на 5% ниже у неофициально трудоустроенных;
- 5) увеличение возраста на один год сокращает вероятность вступления в брак на 0,5%;
- 6) вероятность вступления в брак у женщин на 15% ниже (вероятно, это связано с повторными браками);
- 7) состоящие в браке в целом больше удовлетворены жизнью (предельный эффект неудовлетворенности –10%);
- 8) вероятность вступления в брак и отсутствие веры у индивида связаны отрицательно (предельный эффект отсутствия веры –2,3% к вероятности вступления в брак).

Некурящие (предельный эффект для некурящих +8% к вероятности вступления в брак), не употребляющие алкоголь (1,3%), с лучшим состоянием здоровья (1,4%) имеют большую вероятность вступления в брак (нахождения в браке).

В качестве дальнейшего направления исследования необходимо отметить широкие возможности по улучшению качества модели и ее прогнозной способности. Представленная модель является первым шагом к формированию информационной базы и моделям классификации, тогда как в дальнейшем планируется использовать множественные классификаторы и более современные алгоритмы, позволяющие предсказывать принадлежность объектов к двум и более классам. Данные модели позволят в качестве целевой переменной использовать не только состояние в зарегистрированном браке, но и учитывать, является ли этот брак первым или повторным, разведен ли респондент или прежде не состоял в браке и другое. Представляется, что данные перспективы и модификации являются важными аспектами для анализа и улучшения качества модели.

Литература

- Барбашин, М. Ю. (2016). Теория институционального распада: концептуальный потенциал и методологические рамки // *Journal of Institutional Studies*, 8(1), 36–53.
- Елютина, М. Э., Быкова, Н. О. (2012). Асимметричный по возрасту брак в оценках супругов // *Социологические исследования*, (1), 83–93.
- Ерзнкян, Б. А. (2017). Институциональное усиление: три типа отношений // *Journal of Institutional Studies*, 9(1), 27–38. DOI: 10.17835/2076-6297.2017.9.1.027-038
- Захаров, С. В. (2010). Ценностно-нормативные «расписания» человеческой жизни: представления жителей разных стран о том, когда девушка становится взрослой // *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*, 98(4), 166–193.
- Капогузов, Е. А., Чупин, Р. И., Харламова, М. С. (2020a). Нарративы семейной политики в России: фокус на регионы // *Journal of Economic Regulation*, 11(3), 6–20.
- Капогузов, Е. А., Чупин, Р. И., Харламова, М. С. (2020b). Российская конституционная конверсия на фоне деинституционализации брака в США // *Journal of Institutional Studies*, 12(2), 86–99. DOI: 10.17835/2076-6297.2020.12.2.086-099
- Капогузов, Е. А., Чупин, Р. И., Харламова, М. С. (2019). Институциональные арены брачных игр // *Journal of Institutional Studies*, 11(4), 26–39. DOI: 10.17835/2076-6297.2019.11.4.026-039
- Малаева, Т. М. (2015). *Экономический кризис – социальное измерение* (2016). М.: Дело, РАНХиГС.
- Миронова, А. А., Прокофьева, Л. М. (2018). Семья и домохозяйство в России: демографический аспект // *Демографическое обозрение*, 5(2), 103–121.
- Радаев, В. В. (2018). Миллениалы на фоне предшествующих поколений: эмпирический анализ // *Социологические исследования*, (3), 15–33. DOI: 10.7868/S0132162518030029
- DiMaggio, P. J., Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields // *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Cherlin, A. J. (2003). Should the government promote marriage? // *Contexts*, 2(4), 22–29.
- Cherlin, A. J. (2004). The deinstitutionalization of American marriage // *Journal of marriage and family*, 66(4), 848–861.
- Cherlin, A. J. (2020). Degrees of change: An assessment of the deinstitutionalization of marriage thesis // *Journal of Marriage and Family*, 82(1), 62–80.
- Coale, A. J., Trussell, T. J. (1978). Finding the two parameters that specify a model schedule of marital fertility // *Population Index*, 44(2), 203–213.
- Coale, A. J., Trussell, T. J. (1974). Model fertility schedules variations in the age structure of child-bearing in human populations // *Population Studies*, 40(2), 185–258.
- Crawford, S. E., Ostrom, E. (1995). A grammar of institutions // *American political science review*, 89(3), 582–600.

References

- Barbashin, M. Yu. (2016). The theory of institutional disintegration: Conceptual potential and methodological frameworks. *Journal of Institutional Studies*, 8(1), 36–53. (In Russian.)
- Cherlin, A. J. (2003). Should the government promote marriage? *Contexts*, 2(4), 22–29.
- Cherlin, A. J. (2004). The deinstitutionalization of American marriage. *Journal of marriage and family*, 66(4), 848–861.
- Cherlin, A. J. (2020). Degrees of change: An assessment of the deinstitutionalization of marriage thesis. *Journal of Marriage and Family*, 82(1), 62–80.
- Coale, A. J., Trussell, T. J. (1974). Model fertility schedules variations in the age structure of child-bearing in human populations. *Population Studies*, 40(2), 185–258.
- Coale, A. J., Trussell, T. J. (1978). Finding the two parameters that specify a model schedule of marital fertility. *Population Index*, 44(2), 203–213.
- Crawford, S. E., Ostrom, E. (1995). A grammar of institutions. *American political science review*, 89(3), 582–600.
- DiMaggio, P. J., Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Elyutina, M. E., Bykova, N. O. (2012). Age-asymmetric marriage in the assessments of spouses. *Sociological Research*, 1, 83–93. (In Russian.)
- Erznkyan, B. A. (2017). Institutional reinforcement: Three types of relations. *Journal of Institutional Studies*, 9(1), 27–38. DOI: 10.17835/2076-6297.2017.9.1.027-038 (In Russian.)
- Kapoguzov, E. A., Chupin, R. I., Kharlamova, M. S. (2019). Institutionalized arenas of marriage games. *Journal of Institutional Studies*, 11(4), 26–39. DOI: 10.17835/2076-6297.2019.11.4.026-039 (In Russian.)
- Kapoguzov, E. A., Chupin, R. I., Kharlamova, M. S. (2020a). Family policy narratives in Russia: Focus on regions. *Journal of Economic Regulation*, 11(3), 6–20. DOI: 10.17835/2078-5429.2020.11.3.006-020 (In Russian.)
- Kapoguzov, E. A., Chupin, R. I., Kharlamova, M. S. (2020b). Russian constitutional conversion in the context of deinstitutionalization of marriage in the USA. *Journal of Institutional Studies*, 12(2), 86–99. DOI: 10.17835/2076-6297.2020.12.2.086-099 (In Russian.)
- Malaeva, T. M. (2015). *Economic Crisis – Social Dimension (2016)*. Moscow: Delo, RANEPА Publ. (In Russian.)
- Mironova, A. A., Prokofieva, L. M. (2018). Family and household in Russia: demographic aspect. *Demographic review*, 5(2), 103–121. (In Russian.)
- Radaev, V. V. (2018). Millennials compared to previous generations: an empirical analysis. *Sociological studies*, (3), 15–33. DOI: 10.7868/S0132162518030029 (In Russian.)
- Zakharov, S. V. (2010). Value-normative “timetables” of human life: the perceptions of residents of different countries about when a girl becomes an adult. *Monitoring of public opinion: economic and social changes*, 98(4), 166–193. (In Russian.)

Резервы роста производительности труда в условиях цифровой трансформации

Марина Александровна Боровская

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия, e-mail: bma@sfedu.ru

Марина Анатольевна Масыч

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия, e-mail: mamasych@sfedu.ru

Татьяна Викторовна Федосова

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия, e-mail: fedosova.tv@ya.ru

Цитирование: Боровская, М. А., Масыч, М. А., Федосова, Т. В. (2020). Резервы роста производительности труда в условиях цифровой трансформации // *Terra Economicus*, 18(4), 47–66. DOI: 10.18522/2073-6606-2020-18-4-47-66

Цифровая трансформация проникает во все сферы деятельности; большое количество работ посвящено исследованиям влияния цифровизации на производственно-экономические отношения, формы и среду функционирования бизнеса, занятость, качество труда. Анализ изученных авторских позиций показал, что зарубежные и отечественные ученые считают цифровизацию фактором, влияющим на производительность труда, которая является показателем эффективности производства, обеспечивающего рост валового внутреннего и регионального продукта и повышение уровня и качества жизни населения. В статье приведена попытка выявить взаимозависимость между повышением производительности труда и показателями, характеризующими цифровую трансформацию экономики. В связи с тем что Россия характеризуется высокой дифференциацией в социально-экономическом развитии отдельных территорий, цифровая трансформация производственных и социальных процессов происходит неравномерно; расчеты были выполнены в разрезе групп федеральных округов. В исследовании использован макроэкономический анализ общей эффективности российской экономики, уточненный показателями производительности труда по федеральным округам Российской Федерации, а также эконометрические методы. Эмпирическая база исследования сформирована на основе данных Росстата. Значимость сформированности культуры потребления цифровых услуг и обучения цифровым навыкам отражается в мировых рейтингах готовности к сетевому обществу, глобальном инновационном индексе и индексе экономики знаний, которые демонстрируют существенное отставание России от первой десятки стран-лидеров. Сделан вывод о необходимости статистического наблюдения за цифровыми навыками населения, усиления их посредством системы непрерывного образования, а также об учете временного и пространственного факторов их использования.

Ключевые слова: цифровая экономика; рост производительности труда; параметры цифровизации; индекс экономики знаний; индекс готовности к сетевому обществу; цифровые навыки

The potential for labor productivity growth in the context of digital transformation

Marina A. Borovskaya

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia, e-mail: bma@sfnedu.ru

Marina A. Masych

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia, e-mail: mamasych@sfnedu.ru

Tatyana V. Fedosova

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia, e-mail: fedosova.tv@ya.ru

Citation: Borovskaya, M. A., Masych, M. A., Fedosova, T. V. (2020). Reserves for growth of labor productivity in the context of the digital transformation. *Terra Economicus*, 18(4), 47–66. DOI: 10.18522/2073-6606-2020-18-4-47-66 (In Russian)

Digital transformation permeates all aspects of life. Recent years have shown an increasing growth in the number of studies on the impact of digitalization on industrial and economic development, business environment, employment and labor quality. This article attempts to identify the relationship between increasing labor productivity and indicators that characterize the digital transformation of the economy. Relatively high level of regional differentiation and socio-economic development of territories in Russia makes the digital transformation of production and social processes uneven; the estimates within this study focus on the Federal districts of the Russian Federation. The authors apply macroeconomic analysis of the overall efficiency of the Russian economy (refined by the labor productivity indicators of the Federal districts), statistical and econometric methods for data analysis, and the multiple regression analysis of the selected data sets, including labor productivity indicators and digital economy development indicators from the official data collected by the Federal State Statistics Service of the Russian Federation. Analysis of the Networked Readiness Index, the Global Innovation Index and the Knowledge Economy Index, that demonstrate the significance of the culture of digital services consumption and digital skills training on the national level, shows a significant gap between Russia and the top ten leading countries. The authors emphasize the necessity for statistical monitoring of the current state and the development of digital skills among the population through the system of continuing education, as well as their utilization based on time and spatial factors.

Keywords: digital economy; labor productivity growth; parameters of digitalization; Knowledge Economy Index; Networked Readiness Index; digital skills

JEL codes: J24, O47, C13

Постановка проблемы

Актуальная мировая тенденция масштабного распространения цифровых технологий и формирование на их основе нового экономического уклада – цифровой экономики – несут в себе потенциал революционного воздействия на весь диапазон общественной жизни. В настоящее время на основе развития в цифровых технологиях таких направлений, как промышленный интернет, технологии виртуальной и дополненной реальности, искусственный интеллект и нейротехнологии, квантовые технологии и др., отмечается радикальный характер преобразований в производственной и социальной сферах, информационных и финансово-экономических системах. Свершающиеся под воздействием цифровых технологий трансформации в экономике отражаются на существующих производственно-экономических отношениях в виде их корен-

ного переформатирования, на формах бизнеса и среде их функционирования, что не может не сказаться на характере занятости и труда, его качестве и производительности.

В 1995 году американским специалистом в области информационно-коммуникационных технологий, профессором Массачусетского технологического университета Николасом Негропонте была введена новая дефиниция – «цифровая экономика» (Negroponte, 1995). Он говорит о том, что цифровизация приведет не только к увеличению объема информации, но и к качественным изменениям любого рода отношений как в пространстве, так и во времени. Не важно, где вы находитесь и который сейчас час, информационные технологии позволяют присутствовать вам в любой точке мира в зависимости от ваших целей. Однако свое распространение этот термин получил лишь в XXI веке. И в настоящее время можно с уверенностью говорить о том, что Н. Негропонте был прав. Цифровая трансформация способствует трансформации реальности, так как полностью происходит изменение всех сфер жизни. Такая трансформация оказывает непосредственное влияние и на поведение людей, в том числе меняется содержание труда. Концепция «Индустрия 4.0», которую также называют новой промышленной революцией, начала формироваться в 2011 году в Германии (Шваб, 2018); она ориентирована на инновационное развитие экономики, повсеместное внедрение киберфизических систем, нивелирование границ между физической, цифровой, социальной и биологической деятельностью человека.

В настоящее время большое количество работ посвящено происходящей цифровой трансформации во всех сферах деятельности (Басаев, 2018; Елохов, Александрова, 2019; Квасникова, 2020; Литвинцева, Карелин, 2020; Литвинцева et al., 2019; Эскиндаров et al., 2019; Буфетова, 2019; Espinoza et al., 2020; Philip, Williams, 2019; Geissinger et al., 2019; Kurt, 2019; Hartwell et al., 2019; Tekic, Koroteev, 2019; Verhoef et al., 2019). Так, З.В. Басаев (2018) в своем исследовании выявляет основные направления такой трансформации и ее последствия для мировой экономики, в том числе снижение транзакционных издержек, формирование новых бизнес-моделей, сокращение числа посредников между потребителем и поставщиком, которые обусловлены прямым взаимодействием между ними. В статье А.М. Елохова, Т.В. Александровой (2019) рассматривается процесс цифровизации в связке «город – регион – страна», анализируются отдельные параметры цифровизации регионов и крупнейших городов России, далее выделяются показатели, оказывающие непосредственное влияние на региональные диспропорции в процессе цифровизации экономики. В своих исследованиях Г.П. Литвинцева с коллегами (Литвинцева, Карелин, 2020; Литвинцева et al., 2019) рассматривают процесс цифровой трансформации и те эффекты, которые она вызывает, в региональном разрезе. Авторы оценивают влияние цифровых факторов на ВРП и качество жизни населения. Также отдельные авторы обращают внимание на проблемы цифрового неравенства в разрезе федеральных округов Российской Федерации, городской и сельской местности (Квасникова, 2020). В статье Н.Г. Малышкина и Халимона (2018) обосновывается тезис о том, что цифровизация оказывает непосредственное влияние на такие показатели развития регионов, как безработица, производительность труда, отдельные индикаторы экономического развития, формирование и развитие новых отраслей. Также приводятся доводы в пользу того, что информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) выступают одним из ключевых драйверов экономики, основанной на знаниях (Лобанова, 2019), а их развитие ведет, в частности, к повышению качества жизни населения и производительности труда.

Достаточно широко исследуются в научной литературе проблемы и резервы роста производительности труда, их взаимосвязь с уровнем социально-экономического развития, в том числе в разрезе странового сопоставления (Salvatore, 2008; Капелюшников, 2014; Воскобойников, Гимпельсон, 2015; Voskoboynikov, Timmer, 2014; Кондратьев, Куренков, 2008; Кудров, 2011; 2013; Полтерович, 2007; 2009; 2010; Попов, 2011; Фальцман, 2014; 2016; Hall, Jones, 1999; Fatula, 2018 и др.). Вышеприведенные авторы акцентировали внимание на структуризации и систематизации теоретических основ, а также отечественного и зарубежного практического опыта в области управления производительностью труда. Однако пока остаются неизученными проблемы производительности труда в условиях развития цифровой экономики и расширения возможностей цифрового труда.

Исследованию и анализу факторов и резервов роста производительности труда посвящено достаточно большое количество публикаций как в отечественных, так и в иностранных изданиях (Федченко, 2016; Рукобратский, 2019; Гунина, 2018; Chung, 2018 и др.). Так, в статье П.Б. Рукобратского (2019) производительность труда рассматривается как основной ресурс роста показателя ВВП на душу населения, причем автор приходит к выводу, что ресурсом повышения производительности труда должны стать радикальные изменения в динамике факторов производительности труда. Также ученые обращают внимание и на динамические характеристики производительности труда в региональном разрезе, оценивают влияние различных факторов на ее изменение, а также уделяют особое внимание выявлению резервов ее роста посредством применения экономико-статистических методов (Лобанова, Трофимова, 2015; Буфетова, 2017; Решетило и др., 2019; Спасская, Киреев, 2015; Шумилина, Цвиль, 2019). В исследовании Т.В. Решетило и коллег (Решетило и др., 2019) выявляются основные причины снижения индекса производительности труда, такие как деиндустриализация, низкий уровень менеджмента на всех этапах производственного цикла, высокая стоимость капитала на внутреннем финансовом рынке, низкая инвестиционная привлекательность предприятий. Также авторы обосновывают факторы, положительно влияющие на производительность труда, в частности структурный, технико-технологический, организационно-управленческий, фактор формирования инновационной культуры. Н.В. Спасская и В.Е. Киреев (2015) утверждают, что для регионов Российской Федерации показатель фондовооруженности является основным фактором роста производительности труда. В своей статье В.Е. Шумилина и М.М. Цвиль (2019) приводят доводы в пользу того, что определяющим фактором, оказывающим влияние на индекс производительности труда в России и ее регионах, выступает динамика инвестиций в основной капитал.

Группа авторов занимается анализом влияния на производительность труда именно информационно-коммуникационных технологий (Chung, 2018; Ballestar et al., 2020; Abramova, Grishchenko, 2020). Так, в своем исследовании автор из Кореи Hyuk Chung (2018) анализирует влияние ИКТ на рост производительности труда в Корее с помощью модели динамического общего равновесия и приходит к выводу, что наблюдается снижение темпов роста инвестиций в ИКТ и их влияние на производительность труда. Ф. Григоли с коллегами (Grigoli et al., 2020) приходят к выводу, что технологические достижения, такие как автоматизация, могут значительно повысить производительность, экономический рост и общий уровень жизни. В исследовании Н. Абрамовой и Н. Грищенко (Abramova, Grishchenko, 2020) указывается на то, что ИКТ выступают одним из ключевых факторов фундаментальных изменений в отраслях. Однако, несмотря на значительное распространение ИКТ в последние годы, полученные результаты показывают, что их влияние на производительность труда и занятость скорее характеризуется постепенными изменениями и устойчивостью только в определенных отраслях, и эта связь ослабевает.

Таким образом, рассматривая параметры цифровизации, большинство исследователей предрасположены считать ИКТ фактором, обеспечивающим повышение производительности и экономический рост национальной экономики, однако вопрос, как именно и в какой степени ИКТ-фактор влияет на производительность труда, остается открытым. В условиях цифровой трансформации отечественной экономики возникает необходимость исследования факторов, характеризующих развитие ИКТ, и их способности оказать влияние на рост производительности труда определенных территорий России (Масыч и др., 2017; Масыч – Паничкина, 2017). Несмотря на чрезвычайную актуальность и острую потребность отечественной экономики в повышении темпов роста производительности труда, которые может обеспечить применение цифровых ИКТ, ситуация характеризуется неоднозначностью, противоречивостью и наличием ряда проблем, в первую очередь обусловленных высокой степенью экономической (в том числе инвестиционной и инновационной) разнородности российских территорий, сдерживающих процессы цифровизации и не способствующих снижению затрат живого и овеществленного труда. Исходя из этого, целью исследования является выявление резервов повышения производительности труда посредством анализа процессов цифровой трансформации в контексте развития федеральных округов РФ и выявления взаимосвязи между этими процессами. Гипотеза исследования сформулирована следующим образом: процесс цифровой трансформации оказывает воздействие на

производительность труда конкретного федерального округа РФ; имеющиеся статистические показатели недостаточно информативны и требуют дополнения за счет учета цифровых навыков.

Эмпирические результаты: развитие экономики регионов России

С целью выявления проблемных зон отечественной экономики, находящейся в условиях цифровой трансформации, и выработки предложений по их устранению в рамках данного исследования применялся макроэкономический анализ общей эффективности российской экономики, уточненный показателями производительности труда и использования ИКТ по федеральным округам РФ.

Федеральные округа (ФО) РФ были разделены на три группы в зависимости от соотношения их производительности труда и субъекта-лидера по данному показателю в 2018 году. Производительность труда рассчитывалась авторами как отношение ВРП к числу занятого населения в соответствующем ФО за определенный год (рис. 1).



Рис. 1. Производительность труда в федеральных округах РФ в 2018 году

Источник: расчеты авторов на основе данных Росстата: Регионы России. Социально-экономические показатели – 2019 (https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b19_14p/Main.htm)

Лидер среди ФО – Уралский федеральный округ (его производительность принимается за 100%). По отношению к субъекту-лидеру выделены следующие группы субъектов (табл. 1):

- 1-я группа – высокий уровень производительности труда – субъекты Федерации с величиной доли показателя от субъекта-лидера от 65% и более (Центральный федеральный округ, Уралский федеральный округ);
- 2-я группа – средний уровень производительности труда – субъекты Федерации с величиной доли показателя от субъекта-лидера от 50% до 65% (Северо-Западный федеральный округ, Сибирский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ);
- 3-я группа – уровень производительности труда ниже среднего – субъекты Федерации с величиной доли показателя от субъекта-лидера до 50% (Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, Приволжский федеральный округ).

Для определения взаимосвязи между динамикой показателей производительности труда определенных групп федеральных округов и факторами, характеризующими уровень развития и использования ИКТ, был использован множественный регрессионный анализ.

На первом этапе анализа были выделены пять показателей, характеризующих уровень развития и использования ИКТ:

- число персональных компьютеров на 100 работников, шт.;
- используемые передовые производственные технологии, шт.;
- внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн руб.;
- затраты на ИКТ: на приобретение программного обеспечения, млн руб.;
- затраты на ИКТ: на обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием ИКТ, млн руб.

Таблица 1

Распределение федеральных округов РФ по группам

Федеральный округ	Производительность труда в 2018 году	Доля	Группа
Центральный	1387,5	69%	1
Северо-Западный	1273,3	63%	2
Южный	785,1	39%	3
Северо-Кавказский	496,2	25%	3
Приволжский	911,2	45%	3
Уральский	2007,7	100%	1
Сибирский	1061,1	53%	2
Дальневосточный	1291,2	64%	2

Источник: расчеты авторов.

Значения данных показателей по всем ФО за 2007–2018 годы взяты из статистического издания «Регионы России. Социально-экономические показатели»¹. В целях увеличения стационарности используемых рядов данных и снижения количества излишней входной информации при анализе используются не сами значения рядов данных в последовательные моменты времени, а относительные изменения значений показателей за каждый из промежутков времени. В итоге суммарное число наблюдений для множественного регрессионного анализа составило 88 наблюдений. Число наблюдений в 1-й группе ФО – 22, во 2-й группе – 33, в 3-й группе – 33.

Для множественного регрессионного анализа был использован программный продукт STATISTICA. Предварительно для каждой группы для соответствующих сформированных рядов данных построены матрицы корреляций – мультиколлинеарность не выявлена (все коэффициенты корреляций меньше 0,7) (табл. 2).

В результате проведения множественного регрессионного анализа для всех из выделенных групп данных выявлены следующие противоречивые результаты:

- для всех групп значимыми показателями оказались не более одного, что в итоге означает невозможность построения множественной регрессионной модели для используемых данных:
 - для 1-й группы – статистически значим показатель «используемые передовые производственные технологии»²;
 - для 2-й группы – все факторы статистически незначимы;
 - для 3-й группы – статистически значим только показатель «внутренние затраты на исследования и разработки»;
- для 1-й группы данных выявлена обратная зависимость между ростом производительности труда и ростом числа используемых передовых производственных технологий, что противоречит сущности данных показателей и привлекает внимание к неоднозначности и противоречивости используемых статистик.

¹ Росстат. *Регионы России. Социально-экономические показатели – 2019* (https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b19_14p/Main.htm).

² Передовые производственные технологии – это технологии и технологические процессы, включающие машины, аппараты, оборудование и приборы, основанные на микроэлектронике или управляемые с помощью компьютера и используемые при проектировании, производстве или обработке продукции.

Таблица 2
Результаты регрессионного анализа данных с использованием программного продукта STATISTICA

1-я группа						
	БЕТА	Стандартная ошибка БЕТА	В	Стандартная ошибка В	t (16)	P-уровень
Свободный член			0,114890	0,031094	3,69488	0,001963
Число персональных компьютеров на 100 работников	-0,287940	0,207143	-0,347516	0,250002	-1,39005	0,183550
Используемые передовые производственные технологии	-0,795140	0,215795	-0,713762	0,193709	-3,68471	0,002006
Внутренние затраты на научные исследования и разработки	0,253506	0,190132	0,293863	0,220400	1,33332	0,201101
Затраты на ИКТ: приобретение программного обеспечения	-0,036041	0,188205	-0,009957	0,051997	-0,19150	0,850542
Затраты на ИКТ: обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием ИКТ	-0,165588	0,192752	-0,016738	0,019483	-0,85907	0,402989
2-я группа						
Свободный член			0,083468	0,023471	3,556198	0,001413
Число персональных компьютеров на 100 работников	0,097317	0,270155	0,176885	0,491036	0,360228	0,721479
Используемые передовые производственные технологии	0,171136	0,195563	0,155256	0,177417	0,875093	0,389242
Внутренние затраты на научные исследования и разработки	0,116045	0,227325	0,088142	0,172666	0,510478	0,613865
Затраты на ИКТ: приобретение программного обеспечения	0,242087	0,191007	0,033120	0,026132	1,267426	0,215826
Затраты на ИКТ: обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием ИКТ	-0,179142	0,214617	-0,013287	0,015918	-0,834703	0,411210
3-я группа						
Свободный член			0,073124	0,031304	2,335908	0,027171
Число персональных компьютеров на 100 работников	0,037163	0,186122	0,066060	0,330844	0,199672	0,843233
Используемые передовые производственные технологии	0,023001	0,221980	0,016361	0,157895	0,103618	0,918238
Внутренние затраты на научные исследования и разработки	0,507258	0,207229	0,279447	0,114162	2,447817	0,021157
Затраты на ИКТ: приобретение программного обеспечения	0,009315	0,170181	0,000627	0,011449	0,054738	0,956750
Затраты на ИКТ: обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием ИКТ	-0,117379	0,213407	-0,001395	0,002537	-0,550026	0,586824

Источник: расчеты авторов с использованием программного продукта STATISTICA.

На втором этапе анализа стоимостные показатели были пронормированы с учетом влияния инфляции на основе индексов потребительских цен по Российской Федерации. После нормирования ВРП производительность труда в конкретные периоды времени существенно снизилась, можно отметить, что график нормированной производительности труда в РФ практически не показывает роста.

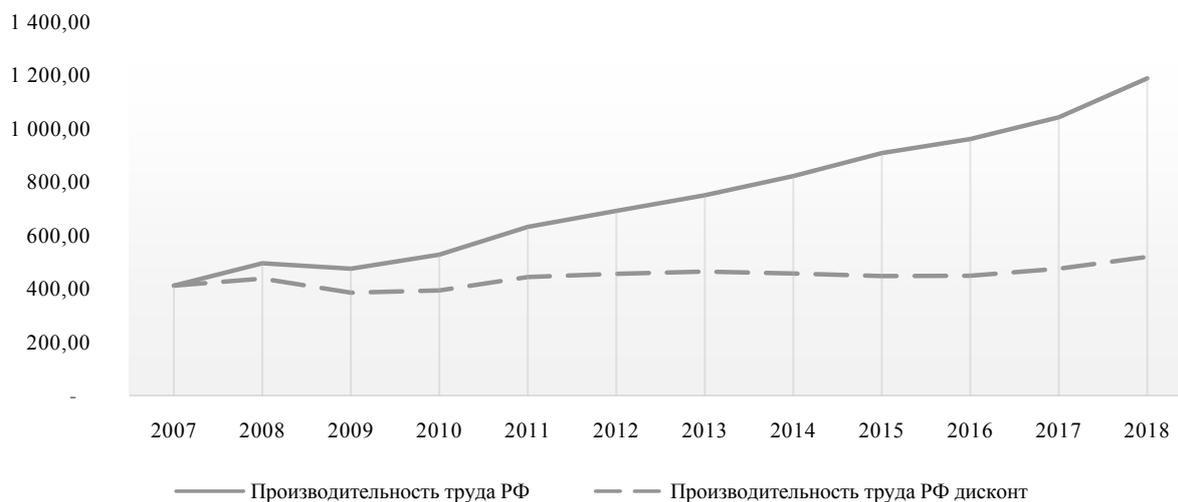


Рис. 2. Сравнение номинальной и нормированной производительности труда в РФ

Источник: расчеты авторов на основе индексов потребительских цен по Российской Федерации в 1991–2019 годах (https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm)

Были сформированы новые ряды данных, включающие нормированные показатели. Также предварительно для каждой группы для соответствующих сформированных рядов данных построены матрицы корреляций – мультиколлинеарность не выявлена (все коэффициенты корреляций меньше 0,7). Проведен множественный регрессионный анализ каждой из выделенных групп данных.

По результатам второго этапа анализа выявлены следующие противоречивые результаты:

- единственным значимым показателем остался «используемые передовые производственные технологии» для 1-й группы. При этом зависимость между ростом производительности труда и ростом числа используемых передовых производственных технологий обратная, что противоречит сущности данных показателей и привлекает внимание к неоднозначности и противоречивости используемых статистик;
- для других групп все показатели оказались статистически незначимы;
- построение множественной регрессионной модели невозможно.

Подобные эксперименты проводились в отношении других показателей цифровизации и их влияния на производительность труда, результаты аналогичные.

Таким образом, в результате анализа опровергается выдвинутая гипотеза о взаимосвязи между динамикой показателей производительности труда определенных групп федеральных округов и факторами, характеризующими уровень развития и использования ИКТ.

Положение России в мировых цифровых показателях. Цифровые навыки населения

С целью определения положения стран по уровню цифровой трансформации, степени развития экономики знаний и инноваций международные организации разрабатывают и рассчитывают на регулярной основе специальные индексы.

Так, Индекс сетевой готовности (Networked Readiness Index, NRI) является показателем, отражающим уровень развития информационно-коммуникационных технологий и сетевой экономики в странах мира.

NRI впервые был представлен в 2002 году на Всемирном экономическом форуме (World Economic Forum) в докладах о развитии глобального информационного общества. В 2019 году формирование и публикация Индекса были переданы Институту Портуланс (Portulans Institute). Индекс подвергся тщательной переработке в контексте влияния цифровой трансформации на экономику, общество и окружающую среду. В настоящее время Индекс выступает одним из наиболее важных показателей развития информационного общества в части инновационного и технологического потенциала.

Также важное значение имеет Глобальный индекс инноваций (The Global Innovation Index), представляющий собой показатель оценки уровня развития инноваций в стране. Данный Индекс рассчитывается по методике Международной бизнес-школы INSEAD (Франция) с 2007 года. В настоящее время считается показателем, при расчете которого учитывается наиболее полный набор параметров (82 показателя).

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) под экономикой знаний понимает концепцию экономического развития, в рамках которой инновации и доступ к информации обеспечивают рост производительности. Для оценки стран по уровню развития экономики знаний Банк сформировал собственный Индекс экономики знаний, который рассчитывается для 46 стран. Данный индекс содержит 38 показателей, сгруппированных в четыре группы: институты для инноваций; навыки для инноваций; инновационная система; инфраструктура ИКТ.

С этой точки зрения необходимо проследить положение России в мировых цифровых показателях с целью выявления и сопоставления показателей, входящих в рассчитываемые индексы, для возможной адаптации зарубежного опыта по оценке процесса цифровизации экономики к российской действительности.

Отрыв России от стран-лидеров по степени готовности к укладу цифровой экономики и параметрам цифровизации, измеряемым комплексным показателем – Индексом готовности стран к сетевому обществу (Network Readiness Index – NRI), довольно значителен, что демонстрирует несоответствие современного состояния отечественной экономики параметрам постиндустриального общества и выводит вопрос о формировании нового цифрового уклада в число национальных приоритетов.

В состав первой десятки стран-лидеров входят Швеция, Дания, Сингапур, Нидерланды, Швейцария, Финляндия, Норвегия, США, Германия, Великобритания (рис. 3). Россия занимает 48-е место из 134 проанализированных стран. В основу расчета Индекса готовности к требованиям цифровой экономики положен ряд частных показателей и групп показателей в рамках них.



Рис. 3. Индекс готовности стран-лидеров и России к сетевому обществу (Network Readiness Index – NRI)

Источник: построено на основе данных официального сайта NRI Portulans Institute (<https://networkreadinessindex.org>)

Индекс готовности стран к сетевому обществу строится на основе четырех групп показателей: «технологии», «люди», «управление» и «влияния». Каждый из этих показателей, в свою очередь, строится на основе трех подгрупп показателей, в частности, показатель «технологии» состоит из таких показателей, как «доступ», «содержание», «перспективные технологии». Показатель «люди» строится на основе показателей «физические лица», «бизнес», «правительства». Показатель «управление» состоит из частных показателей «доверие», «регулирование», «включенность», а показатель «влияние» основывается на частных показателях «экономика», «качество жизни» и «вклад в цели устойчивого развития».

На рис. 4 представлены позиции России по основным четырем группам показателей в сравнении со страной-лидером. Наиболее велико отставание России по показателю «технологии» от страны-лидера Швеции.

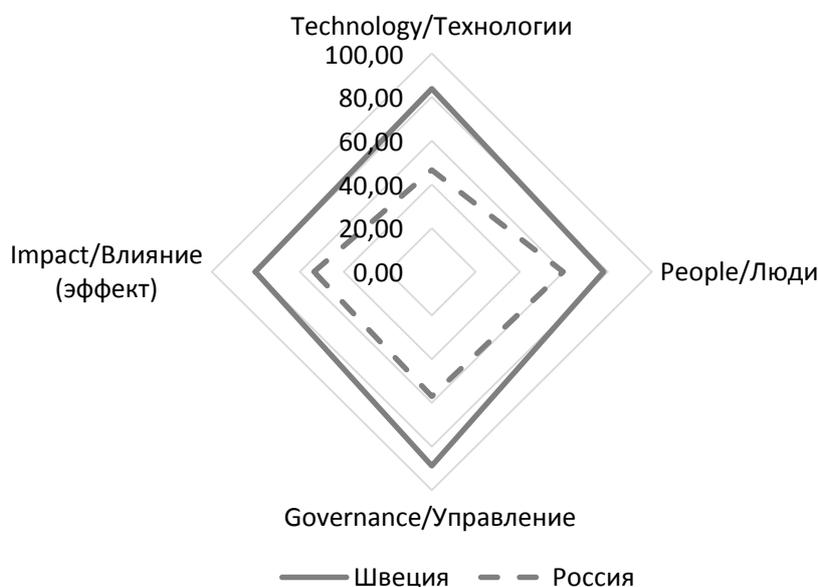


Рис. 4. Группы показателей Индекса готовности стран к сетевому обществу
Источник: построено на основе данных официального сайта NRI Portulans Institute (<https://networkreadinessindex.org>)

На рис. 5 отражены частные показатели России, входящие в расчет Индекса готовности к сетевому обществу. Анализируя данные России в рамках частных показателей Индекса готовности стран к сетевому обществу, можно отметить, что Россия «проваливается» по таким показателям, как «перспективные технологии», «регулирование», «экономика и качество жизни».

Если обратиться к показателям ИКТ в структуре Глобального инновационного индекса за 2019 год, то можно заметить следующую ситуацию, представленную на рис. 6.

В показателях данного Индекса Россия занимает 46-е место из 129 представленных стран. В частности, наблюдается отставание России от страны-лидера по таким показателям, как «развитие технологий и экономика знаний» и «развитие креативной деятельности».

При анализе индекса экономики знаний Европейского банка реконструкции и развития за 2018 год наблюдаем следующую ситуацию (рис. 7): в данном Индексе Россия занимает 17-е место из 38 наблюдаемых стран.

При рассмотрении субиндексов, на основе которых строится Индекс экономики знаний, можно представить место России рис. 8. На нем отражено отставание России от первой десятки стран-лидеров по таким показателям, как «институты для инноваций», «инновационная система», «навыки для инноваций».

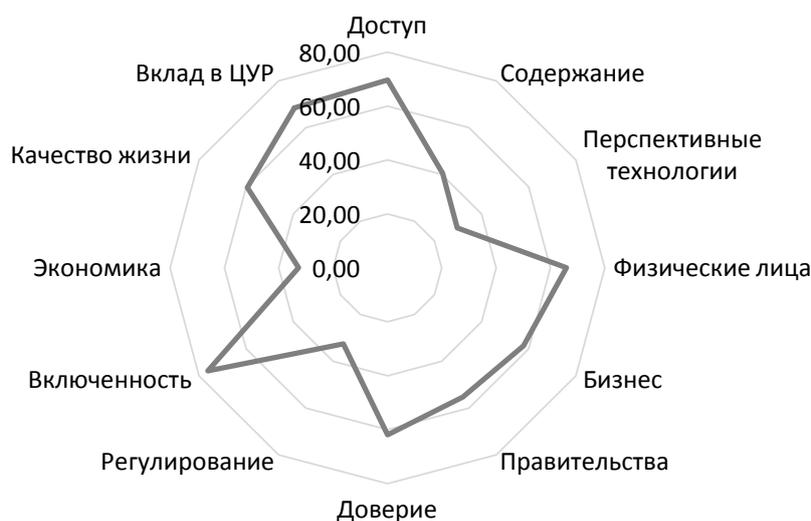


Рис. 5. Подгруппы показателей Индекса готовности стран к сетевому обществу для России
Источник: построено на основе данных официального сайта NRI Portulans Institute (<https://networkreadinessindex.org>)

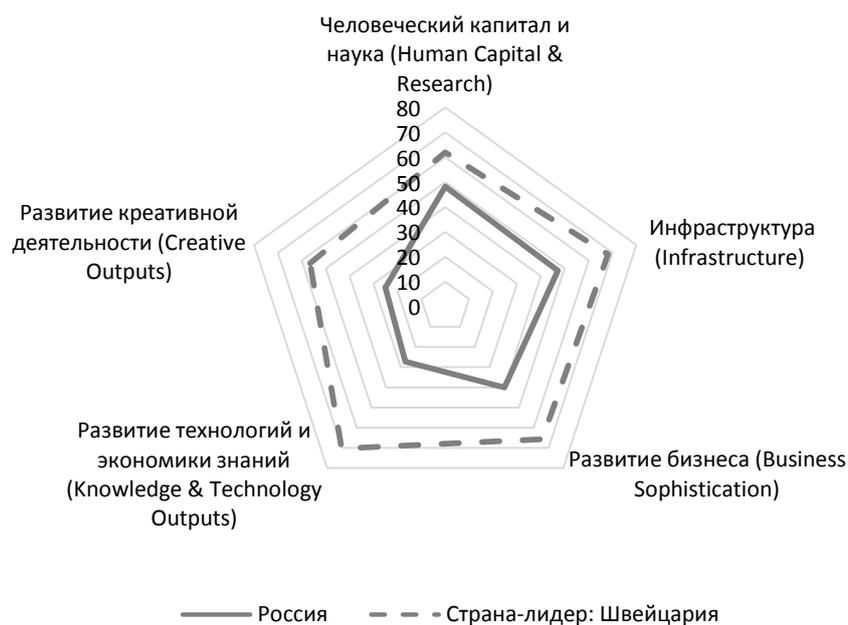


Рис. 6. Показатели ИКТ в структуре Глобального инновационного индекса: 2019
Источник: построено на основе (Абдрахманова и др., 2020)

Таким образом, можно отметить, что цифровая трансформация в России проходит низкими темпами, о чем говорит отрыв от европейских и западных стран, которые находятся в лидерах. В частности, наибольшее отставание России наблюдается по таким показателям, как «технологии», в том числе «перспективные технологии», «экономика знаний», «цифровые навыки», «цифровые институты», что приводит к необходимости проанализировать, в частности, цифровые навыки населения России. Однако анализ данных показателей не ведется официальной статистикой. Сбор и расчет таких показателей в настоящее время ведется Высшей школой экономики при формировании статистических сборников, посвященных развитию цифровой экономики.



Рис. 7. Индекс экономики знаний ЕБРР по странам: 2018
Источник: построено на основе (Абдрахманова и др., 2020)

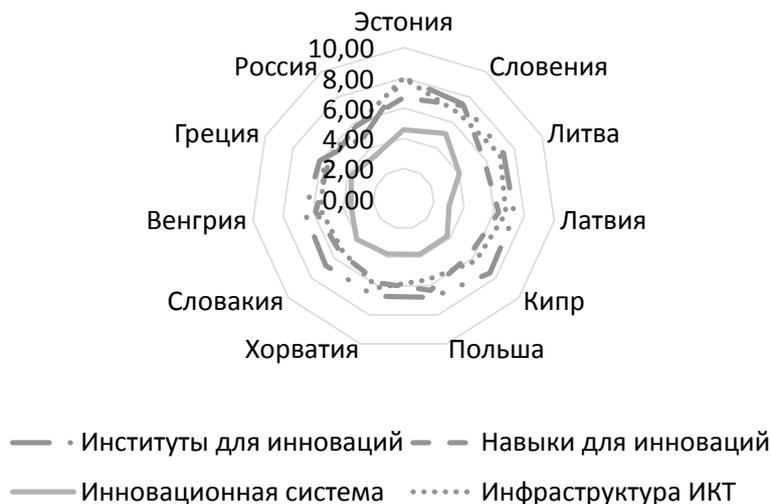


Рис. 8. Индекс экономики знаний: субиндексы
Источник: построено на основе (Абдрахманова и др., 2020)

На рис. 9 представлена динамика цифровых навыков населения с 2014 по 2019 год.

Как можно заметить, эти навыки имеют незначительную положительную динамику, т.е. остаются примерно на одном и том же уровне. Так, например, навыком «самостоятельное написание программного обеспечения с использованием языков программирования» владеет всего 1,2% населения страны в возрасте от 15 до 74 лет, навыком «установка новой или переустановка операционной системы» – 2,9% населения. Даже, казалось бы, самые востребованные навыки, такие как «работа с текстовыми редакторами» и «передача файлов между компьютером и периферийными устройствами», находятся на уровне 40,4% и 31% соответственно.

Проанализировав цифровые навыки населения в страновом разрезе (рис. 10), мы выявили, что Россия в разы отстает по развитию этих цифровых навыков от стран-лидеров.

Так, например, навыком «передача файлов между компьютером и периферийными устройствами» в России владеет 31% населения, в то время как в Нидерландах он составляет 68%; с навыком «работа с электронными таблицами» – та же ситуация: в России им владеет 22% населения, а в Норвегии – 62%. А по такому навыку, как «поиск, загрузка, установка и настройка программного обеспечения», Россия отстает от страны-лидера Финляндии на порядок (6% и 52% соответственно).



Рис. 9. Цифровые навыки населения России (в процентах от общей численности населения в возрасте 15–74 лет) за 2014–2019 годы

Источник: построено на основе (Абдрахманова и др., 2020)

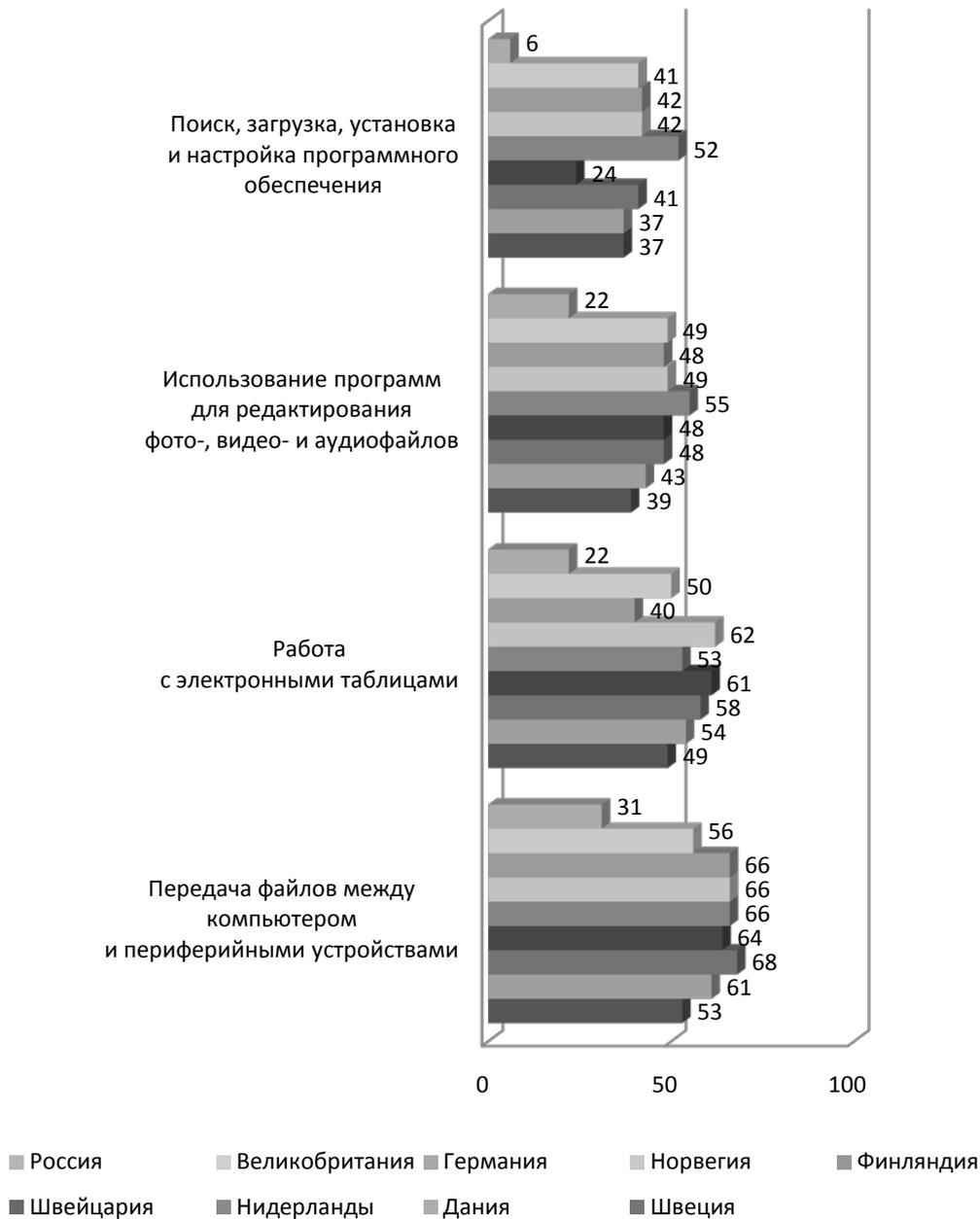


Рис. 10. Цифровые навыки населения по странам: 2019 (в процентах от общей численности населения в возрасте 15 лет и старше)

Источник: построено на основе (Абдрахманова и др., 2020)

Исходя из представленного анализа, целесообразно заключить, что необходимо менять сам подход к расчету показателя производительности труда и в том числе набора статистических показателей цифровой трансформации, на основе которых проводится такой расчет. Так, например, в зарубежной практике в статистике по цифровой трансформации присутствуют показатели владения цифровыми навыками, которым отводится значительное место в системе показателей, они анализируются в разрезе различных признаков.

Выводы и рекомендации

Анализ исследований отечественных и мировых авторов показал, что большинство ученых считают показатели цифровизации, и в частности ИКТ, факторами, способствующими повы-

шению производительности труда. Однако вопрос, как именно и в какой степени показатели цифровизации могут выступить резервом роста производительности труда, требует проработки. В условиях цифровой трансформации отечественной экономики возникает необходимость исследования факторов, характеризующих цифровую трансформацию, и их способности оказать влияние на рост производительности труда.

Для выявления резервов роста производительности труда нами проведен регрессионный анализ зависимости данного параметра от пяти показателей, выступающих факторами оценки цифровизации, в настоящее время собираемых официальной статистикой. В числе этих показателей использованы: число персональных компьютеров на 100 работников; используемые передовые производственные технологии; внутренние затраты на научные исследования и разработки; затраты на ИКТ: на приобретение программного обеспечения; затраты на ИКТ: на обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием ИКТ. Результаты проведенного регрессионного анализа показали отсутствие искомой зависимости, мультиколлинеарность не выявлена. Можно сделать вывод о том, что цифровая трансформация и производительность труда – параллельные процессы. Необходимы новые подходы к параметрам цифровизации, которые смогли бы обеспечить достаточное количество наблюдений для моделирования и принятия на его основе управленческого решения.

Анализ мировой практики оценивания процессов цифровизации и места России в этих показателях продемонстрировал, что Россия значительно отстает от стран-лидеров по всем показателям, характеризующим внедрение и развитие цифровизации и экономики знаний. Так по Индексу готовности страны к сетевому обществу Россия занимает 48-е место из 134 стран, участвующих в его расчетах, по Глобальному инновационному индексу – 46-е место из 129 представленных стран, по Индексу экономики знаний Европейского банка реконструкции и развития – 17-е место из 38 наблюдаемых стран. В частности, наибольшее отставание отмечается по таким параметрам, как «перспективные технологии», «экономика знаний», «цифровые навыки», «цифровые институты». Проведенный анализ также позволил выявить параметры, отличные от показателей, используемых в российской практике для оценки уровня цифровизации экономики. Например, в мировой практике активно используется параметр «цифровые навыки населения», причем в разных контекстах (по полу, возрасту, местности и пр.).

В связи с этим было проведено сопоставление уровня развития цифровых навыков населения в страновом разрезе, которое показало значительное отставание России (практически в 3 раза от стран-лидеров, по отдельным навыкам отслеживается отставание на порядок).

Таким образом, система показателей оценки уровня цифровизации в России несовершенна и требует расширения, в том числе за счет показателя «цифровые навыки населения» (для общественной жизни и профессиональной деятельности). В России сбор и анализ данного параметра имеет фрагментарный характер, такие данные не формализованы и представлены на постоянной основе.

В результате исследования выделены резервы роста производительности труда:

- выделение параметров цифровизации путем обеспечения качества сбора и обработки показателей цифровой трансформации экономики, в том числе в разрезе федеральных округов;
- активное внедрение и расширение программ обучения цифровым навыкам посредством дополнительного образования (в частности дополнительного профессионального образования);
- формирование культуры потребления цифрового знания и вовлечение его как производственного фактора посредством расширения и масштабирования использования цифровых навыков в процессе общественной жизни и профессиональной деятельности;
- трансформация скорости обработки данных, повышение скорости информационного обмена, сокращение длительности бизнес-процессов, повышение эффективности взаимодействия участников в реализации технологических процессов как временные параметры выявления текущих и перспективных резервов;
- совершенствование моделей территориально-отраслевого развития федеральных округов как пространственный фактор, обуславливающий повышение территориальной и отраслевой связанности в условиях цифровой трансформации.

Литература

- Абдрахманова, Г. И., Вишневецкий, К. О., Гохберг, Л. М. и др. (2020). *Индикаторы цифровой экономики (2020): статистический сборник*. М.: НИУ ВШЭ, 360 с.
- Басаев, З. В. (2018). Цифровизация экономики: Россия в контексте глобальной трансформации // *Мир новой экономики*, 12(4), 32–38. DOI: 10.26794/2220-6469-2018-12-4-32-38
- Буфетова, А. Н. (2017). Пространственные аспекты динамики производительности труда в России // *Мир экономики и управления*, 17(4), 142–157.
- Буфетова, А. Н. (2019). Исследование пространственных эффектов в региональной динамике производительности труда // *Регион: Экономика и Социология*, (2), 80–100. DOI: 10.15372/REG20190204
- Воскобойников, И. Б., Гимпельсон, В. Е. (2015). Рост производительности труда, структурные сдвиги и неформальная занятость в российской экономике // *Вопросы экономики*, (11), 30–61. DOI: 10.32609/0042-8736-2015-11-30-61
- Гунина, И. А. (2018). Проблемы роста производительности труда: теория, методология, практика // *Организатор производства*, 26(4). DOI: 10.25987/VSTU.2018.10.81.003
- Елохов, А. М., Александрова, Т. В. (2019). Подходы к оценке результатов цифровой трансформации экономики России // *Учет. Анализ. Аудит*, 6(5), 24–35. DOI: 10.26794/2408-9303-2019-6-5-24-35
- Капелюшников, Р. И. (2014). Производительность и оплата труда: немного простой арифметики // *Вопросы экономики*, (3), 36–61. DOI: 10.32609/0042-8736-2014-3-36-61
- Квасникова, М. А. (2020). Цифровое неравенство и его влияние на социально-экономическое развитие регионов в России // *Социально-политические исследования*, (6), 43–58. DOI: 10.20323/2658-428X-2020-1-6-43-58
- Кондратьев, В. Б., Куренков, Ю. В. (2008). Проблемы повышения эффективности российской экономики // *Мировая экономика и международные отношения*, (12), 34–43.
- Кудров, В. М. (2011). *Международные экономические сопоставления и проблемы инновационного развития*. М.: Юстицинформ, 616 с.
- Кудров, В. М. (2013). Выход из кризиса и инновационная модель экономики // *Общественные науки и современность*, (4), 5–15.
- Литвинцева, Г. П., Карелин, И. Н. (2020). Эффекты цифровой трансформации экономики и качества жизни населения в России // *Terra Economicus*, 18(3), 53–71. DOI: 10.18522/2073-6606-2020-18-3-53-71
- Литвинцева, Г. П., Шмаков, А. В., Стукаленко, Е. А., Петров, С. П. (2019). Оценка цифровой составляющей качества жизни населения в регионах Российской Федерации // *Terra Economicus*, 17(3), 107–127. DOI: 10.23683/2073-6606-2019-17-3-107-127
- Лобанова, В. А., Трофимова, Н. В. (2015). Динамика производительности труда: расчет и особенности в регионах // *Известия Саратовского университета. Серия: Экономика. Управление. Право*, 15(2), 125–131.
- Лобанова, Н. М., Алтухова, Н. Ф. (2019). *Эффективность информационных технологий*. М.: Юрайт, 237 с.
- Мальшкин, Н. Г., Халимон, Е. А. (2018). Анализ уровня развития цифровой экономики России // *Вестник университета*, (8), 79–86.
- Масыч, М. А., Паничкина, М. В. (2017). Тенденции и закономерности социально-экономического развития России и зарубежных стран с позиции производительности труда // *Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки*, (6), 50–63.
- Масыч, М. А., Паничкина, М. В., Бурова, И. В. (2017). Территориальные и отраслевые аспекты производительности труда российской экономики // *Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Экономика и управление*, (3), 134–145.

- Полтерович, В. М. (2007). О стратегии догоняющего развития России // *Экономическая наука современной России*, 3(38), 17–23.
- Полтерович, В. М. (2009). Гипотеза об инновационной паузе и стратегия модернизации // *Вопросы экономики*, (6), 4–22. DOI: 10.32609/0042-8736-2009-6-4-23
- Полтерович, В. М. (2010). *Стратегия модернизации российской экономики*. СПб.: Алетейя, 424 с.
- Попов, В. В. (2011). *Стратегии экономического развития*. М.: Высшая школа экономики, 335 с.
- Решетило, Т. В., Чернова, Т. В., Олейникова, И. Н., Максименко, Т. С. (2019). Императивы роста производительности труда российской экономики // *Вестник АГТУ. Серия Экономика*, (1), 15–28.
- Рукобратский, П. Б. (2019). Анализ факторов повышения производительности труда в российской экономике // *Вестник экспертного совета*, 2(17), 94–105.
- Спаская, Н. В., Киреев, В. Е. (2015). Инвестиционные аспекты повышения производительности труда в регионах России // *Региональная экономика: теория и практика*, (39), 17–29.
- Фальцман, В. К. (2014). Оценка конкурентоспособности российской продукции в мире, на рынках СНГ, ЕвразЭС и дальнего зарубежья // *Проблемы прогнозирования*, (1), 87–98.
- Фальцман, В. К. (2016). Проблемы структурной, инвестиционной и инновационной политики в период кризиса // *Проблемы прогнозирования*, (4), 14–23.
- Федченко, А. А. (2016). Методические подходы к исследованию производительности труда // *Экономика труда*, 3(1), 41–62. DOI: 10.18334/et.3.1.35153
- Шваб, К. (2018). *Четвертая промышленная революция: перевод с английского*. М.: Э, 208 с.
- Шумилина, В. Е., Цвиль, М. М. (2019). Статистическое моделирование и прогнозирование индекса производительности труда в Российской Федерации // *Вестник Евразийской науки*, (1) (<https://esj.today/PDF/63ECVN119.pdf>).
- Эскиндаров, М. А., Масленников, В. В., Масленников, О. В. (2019). Риски и шансы цифровой экономики в России // *Финансы: теория и практика*, 23(5), 6–17. DOI: 10.26794/2587-5671-2018-23-5-6-17
- Abramova, N., Grishchenko, N. (2020). ICTs, Labour Productivity and Employment: Sustainability in Industries in Russia // *Procedia Manufacturing*, (43), 299–305. DOI: 10.1016/j.promfg.2020.02.161
- Ballestar, M., Díaz-Chao, Á., Sainz, J., Torrent-Sellens, J. (2020). Knowledge, robots and productivity in SMEs: Explaining the second digital wave // *Journal of Business Research*, (108), 119–131. DOI: 10.1016/j.jbusres.2019.11.017
- Chung, H. (2018). ICT investment-specific technological change and productivity growth in Korea: Comparison of 1996–2005 and 2006–2015 // *Telecommunications Policy*, (42), 78–90.
- Espinoza, H., Kling, G., McGroarty, F., O'Mahony, M., Ziouvelou, X. (2020). Estimating the impact of the Internet of Things on productivity in Europe // *Heliyon*, 6(5). DOI: 10.1016/j.heliyon.2020.e03935
- Fatula, D. (2018). Selected micro- and macroeconomic conditions of wages, income and labor productivity in Poland and other European Union countries original article // *Contemporary economics*, 12(1), 17–32. DOI: 10.5709/ce.1897-9254.261
- Geissinger, F., Laurell, Ch., Sandström, Ch., Eriksson, K., Nykvist, R. (2019). Digital entrepreneurship and field conditions for institutional change – Investigating the enabling role of cities // *Technological Forecasting and Social Change*, (146), 877–886. DOI: 10.1016/j.techfore.2018.06.019
- Grigoli, F., Koczan, Z., Topalova, P. (2020). Automation and labor force participation in advanced economies: Macro and micro evidence // *European Economic Review*, (126). DOI: 10.1016/j.euroecorev.2020.103443
- Hall, R. E., Jones, C. I. (1999). Why do some countries produce so much more output per worker than others? // *Q. J. Econ*, 114(1), 83–116.

- Hartwell, C. A., Horvath, R., Horvathova, E., Popova, O. (2019). Democratic institutions, natural resources, and income inequality // *Comparative Economic Studies*, 61(4), 531–550. DOI: 10.1057/s41294-019-00102-2
- Kurt, R. (2019). Industry 4.0 in terms of industrial relations and its impacts on labour life // *Procedia Computer Science*, (158), 590–601. DOI: 10.1016/j.procs.2019.09.093
- Negroponete, N. (1995). *Being Digital*. New York: Alfred A. Knopf.
- Philip, L., Williams, F. (2019). Remote rural home based businesses and digital inequalities: Understanding needs and expectations in a digitally underserved community // *Journal of Rural Studies*, (68), 306–318. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2018.09.011
- Salvatore, D. (2008). Growth, productivity and compensation in the United States and in the other G-7 countries // *Journal of Policy Modeling*, 30(4), 627–631.
- Tekic, Z., Koroteev, D. (2019). From disruptively digital to proudly analog: A holistic typology of digital transformation strategies // *Business Horizons*, 62(6), 683–693. DOI: 10.1016/j.bushor.2019.07.002
- Verhoef, P., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J., Fabian, N., Haenlein, M. (2019). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda // *Journal of Business Research*, (2). DOI: 10.1016/j.jbusres.2019.09.022
- Voskoboynikov, I. B., Timmer, M. P. (2014). Is mining fuelling long-run growth in Russia? Industry productivity growth trends since 1995 // *Review of Income and Wealth*, (60), 398–422.

References

- Abdrakhmanova, G. I., Vishnevsky, K. O., Gokhberg, L. M. et al. (2020). *Indicators of the digital economy (2020): statistical collection*. Moscow: HSE Publishing House, 360 p. (In Russian.)
- Abramova, N., Grishchenko, N. (2020). ICTs, Labour Productivity and Employment: Sustainability in Industries in Russia. *Procedia Manufacturing*, (43), 299–305. DOI: 10.1016/j.promfg.2020.02.161
- Ballestar, M., Díaz-Chao, Á., Sainz, J., Torrent-Sellens, J. (2020). Knowledge, robots and productivity in SMEs: Explaining the second digital wave. *Journal of Business Research*, (108), 119–131. DOI: 10.1016/j.jbusres.2019.11.017
- Basaev, Z. V. (2018). Digitalization of the economy: Russia in the context of global transformation. *World of the New Economy*, 12(4), 32–38. DOI: 10.26794 / 2220-6469-2018-12-4-32-38 (In Russian.)
- Bufetova, A. N. (2017). Spatial aspects of labor productivity dynamics in Russia. *World of Economics and Management*, 17(4), 142–57. (In Russian.)
- Bufetova, A. N. (2019). Research of spatial effects in regional dynamics of labor productivity. *Region: Economics and Sociology*, (2), 80–100. DOI: 10.15372/REG20190204 (In Russian.)
- Chung, H. (2018). ICT investment-specific technological change and productivity growth in Korea: Comparison of 1996–2005 and 2006–2015. *Telecommunications Policy*, (42), 78–90.
- Elokhov, A. M., Alexandrova, T. V. (2019). Approaches to assessing the results of the digital transformation of the Russian economy. *Accounting. Analysis. Audit*, 6(5), 24–35. DOI: 10.26794/2408-9303-2019-6-5-24-35 (In Russian.)
- Eskindarov, M. A., Maslennikov, V. V., Maslennikov, O. V. (2019). Risks and chances of the digital economy in Russia. *Finance: theory and practice*, 23(5), 6–17. DOI: 10.26794 / 2587-5671-2018-23-5-6-17 (In Russian.)
- Espinoza, H., Kling, G., McGroarty, F., O'Mahony, M., Ziouvelou, X. (2020). Estimating the impact of the Internet of Things on productivity in Europe. *Heliyon*, 6(5). DOI: 10.1016/j.heliyon.2020.e03935
- Faltsman, V. K. (2014). Assessment of the competitiveness of Russian products in the world, in the CIS, EurAsEC and foreign markets. *Problems of forecasting*, 1(142), 87–98. (In Russian.)

- Faltsman, V. K. (2016). Problems of structural, investment and innovation policy during the crisis. *Problems of Forecasting*, 4(157), 14–23. (In Russian.)
- Fatula, D. (2018). Selected micro- and macroeconomic conditions of wages, income and labor productivity in Poland and other European Union countries original article. *Contemporary economics*, 12(1), 17–32. DOI: 10.5709/ce.1897-9254.261
- Fedchenko, A. A. (2016). Methodological approaches to the study of productivity. *Labor Economics*, 3(1), 41–62. DOI: 10.18334 / FL.3.1.35153 (In Russian.)
- Geissinger, F., Laurell, Ch., Sandström, Ch., Eriksson, K., Nykvist, R. (2019). Digital entrepreneurship and field conditions for institutional change – Investigating the enabling role of cities. *Technological Forecasting and Social Change*, (146), 877–886. DOI: 10.1016/j.techfore.2018.06.019
- Grigoli, F., Koczan, Z., Topalova, P. (2020). Automation and labor force participation in advanced economies: Macro and micro evidence. *European Economic Review*, (126). DOI: 10.1016/j.euroecorev.2020.103443
- Gunina, I. A. (2018). Problems of labor productivity growth: theory, methodology, practice. *Production Organizer*, 26(4). DOI: 10.25987/VOLGSTU.2018.10.81. 003 (In Russian.)
- Hall, R. E., Jones, C. I. (1999). Why do some countries produce so much more output per worker than others? *Q. J. Econ*, 114(1), 83–116.
- Hartwell, C. A., Horvath, R., Horvathova, E., Popova, O. (2019). Democratic institutions, natural resources, and income inequality. *Comparative Economic Studies*, 61(4), 531–550. DOI: 10.1057/s41294-019-00102-2
- Kapeliushnikov, R. (2014). Labor productivity versus labor compensation: Some simple arithmetic. *Voprosy Ekonomiki*, (3), 36–61. DOI: 10.32609/0042-8736-2014-3-36-61 (In Russian.)
- Kondratiev, V. B., Kurenkov, Yu. V. (2008). Problems of increasing the efficiency of the Russian economy. *World economy and international relations*, (12), 34–43. (In Russian.)
- Kudrov, V. M. (2011). *International economic comparisons and problems of innovative development*. Moscow: Justicinform Publ., 616 p. (In Russian.)
- Kudrov, V. M. (2013). Exit from the crisis and an innovative model of the economy. *Social Sciences and Modernity*, (4), 5–15. (In Russian.)
- Kurt, R. (2019). Industry 4.0 in terms of industrial relations and its impacts on labour life. *Procedia Computer Science*, (158), 590–601. DOI: 10.1016/j.procs.2019.09.093
- Kvasnikova, M. A. (2020). Digital inequality and its impact on the socio-economic development of regions in Russia. *Socio-political research*, (6), 43–58. DOI: 10.20323 / 2658-428X-2020-1-6-43-58 (In Russian.)
- Litvintseva, G. P., Karelin, I. N. (2020). Effects of digital transformation of the economy and quality of life in Russia. *Terra economicus*, 18(3), 53–71. DOI: 10.18522/2073-6606-2020-18-3-53-71 (In Russian.)
- Litvintseva, G. P., Shmakov, A. V., Stukalenko, E. A., and Petrov, S. P. (2019). Digital component of people's quality of life assessment in the regions of the Russian Federation. *Terra Economicus*, 17(3), 107–127. DOI: 10.23683/2073-6606-2019-17-3-107-127 (In Russian.)
- Lobanova, N. M., Altukhova, N. F. (2019). *Efficiency of information technologies*. Moscow: Yurait Publ., 237 p. (In Russian.)
- Lobanova, V. A., Trofimova, N. V. (2015). Dynamics of labor productivity: calculation and features in the regions. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. The Economic Series. Management. Law*, 15(2), 125–131. (In Russian.)
- Malyshkin, N. G., Halimon, E. A. (2018). Analysis of the level of development of the digital economy in Russia. *Bulletin of the University*, (8), 79–86. (In Russian.)
- Masych, M. A., Panichkina, M. V. (2017). Trends and patterns of socio-economic development of Russia and foreign countries from the perspective of labor productivity. *Scientific and technical statements of SPbGPU. Economic Sciences*, (6), 50–63. (In Russian.)

- Masych, M. A., Panichkina, M. V., Burova, I. V. (2017). Territorial and sectoral aspects of labor productivity in the Russian economy. *Scientific notes of the Vernadsky Crimean Federal University. Economics and management*, (3), 134–145. (In Russian.)
- Negroponte, N. (1995). *Being Digital*. New York: Alfred A. Knopf.
- Philip, L., Williams, F. (2019). Remote rural home based businesses and digital inequalities: Understanding needs and expectations in a digitally underserved community. *Journal of Rural Studies*, (68), 306–318. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2018.09.011
- Polterovich, V. (2009). The innovation pause hypothesis and the strategy of modernization. *Voprosy Ekonomiki*, (6), 4–23. DOI: 10.32609/0042-8736-2009-6-4-23 (In Russian.)
- Polterovich, V. M. (2007). On Russia's catch-up development strategy. *Economic Science of Modern Russia*, (3), 17–23. (In Russian.)
- Polterovich, V. M. (2010). *Strategy of Modernization of the Russian economy*. St. Petersburg: Aleteia Publ, 424 p. (In Russian.)
- Popov, V. V. (2011). *Strategies of Economic Development*. Moscow: HSE Publishing House, 335 p. (In Russian.)
- Reshetilo, T. V., Chernova, T. V., Oleynikova, I. N., Maksimenko, T. S. (2019). Imperatives of labor productivity growth in the Russian economy. *Vestnik of ASTU. Economics Series*, (1), 15–28. (In Russian.)
- Rukobratsky, P. B. (2019). Analysis of factors for increasing labor productivity in the Russian economy. *Bulletin of the expert Council*, 2(17), 94–105. (In Russian.)
- Salvatore, D. (2008). Growth, productivity and compensation in the United States and in the other G-7 countries. *Journal of Policy Modeling*, 30(4), 627–631.
- Schwab, K. (2018). *The fourth industrial revolution*. Moscow: "E" Publishing House, 208 p. (In Russian.)
- Shumilina, V. E., Tsvil, M. M. (2019). Statistical modeling and forecasting of the labor productivity index in the Russian Federation. *Bulletin of Eurasian science*, (1) (<https://esj.today/PDF/63ECVN119.pdf>). (In Russian.)
- Spasskaya, N. V., Kireev, V. E. (2015). Investment aspects of increasing labor productivity in the regions of Russia. *Regional economy: theory and practice*, (39), 17–29. (In Russian.)
- Tekic, Z., Koroteev, D. (2019). From disruptively digital to proudly analog: A holistic typology of digital transformation strategies. *Business Horizons*, 62(6), 683–693. DOI: 10.1016/j.bushor.2019.07.002
- Verhoef, P., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J., Fabian, N., Haenlein, M. (2019). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, (2). DOI: 10.1016/j.jbusres.2019.09.022
- Voskoboynikov, I. B., Timmer, M. P. (2014). Is mining fuelling long-run growth in Russia? Industry productivity growth trends since 1995. *Review of Income and Wealth*, (60), 398–422.
- Voskoboynikov, I., Gimpelson, V. (2015). Productivity growth, structural change and informality: The case of Russia. *Voprosy Ekonomiki*, (11), 30–61. DOI: 10.32609/0042-8736-2015-11-30-61 (In Russian.)

The twilight of neoliberal globalization

Grigory S. Sergeev

Lomonosov Moscow State University, e-mail: sergeev_gs@mail.ru

Citation: Sergeev, G. S. (2020). The twilight of neoliberal globalization. *Terra Economicus*, 18(4), 67–77. DOI: 10.18522/2073-6606-2020-18-4-67-77

The author employs contemporary Marxist theory and methodology, and its theoretical concept of finance monopoly capital in particular, to analyze the decline of the neoliberal globalization currently under way. The paper shows that offshoring and financialization that developed during the neoliberal era have reinforced monopolistic dominance by mature imperialist states (namely, the “triad” of USA, EU and Japan), leading to the new division (or recolonization) of the periphery. As a result, the geo-economic space has become rigidly structured in a hierarchy of the groups of nations, with production having become increasingly organized within global production networks controlled by transnational corporations based in the “triad”. However, mass transfer of the labor-intensive industries to low-wage countries of the periphery, and to China in particular, has resulted in geopolitical and economic rise of the latter, thus intensifying competition and struggle between national imperialisms. Deglobalization that emerged and evolved during the post-crisis period appears as a manifestation of a new redivision of the world, with unfolding redrawing of the geo-economic map, creeping degradation of supranational institutions and spike of trade wars between the world’s largest economies.

Keywords: neoliberal globalization; transnational corporations; finance monopoly capital; global production networks; offshoring; financialization; deglobalization; imperialism

JEL codes: B51, F54

Закат неолиберальной глобализации

Григорий Сергеевич Сергеев

МГУ им. М.В. Ломоносова, e-mail: sergeev_gs@mail.ru

Цитирование: Sergeev, G. S. (2020). The twilight of neoliberal globalization. *Terra Economicus*, 18(4), 67–77. DOI: 10.18522/2073-6606-2020-18-4-67-77

В статье анализируется происходящий в настоящее время закат неолиберальной глобализации. Используя теоретико-методологический аппарат современного марксизма и, в частности, концепцию финансового монополистического капитала, автор показывает, что результатом офшоризации и финансовализации как важнейших характеристик неолиберальной эпохи стало монополистическое господство «старых» империалистических держав (а именно «триады» США, ЕС и Японии), что привело к новому разделу (или реколонизации) экономического пространства периферии. В результате геоэкономическое пространство оказалось жестко структурировано в соответствии с иерархически выстроенной глобальной системой производства в форме глобальных производственных сетей, которые контролируются транснациональными корпорациями, базирующимися в странах «триады». Однако массовый перенос трудоемких производств в страны периферии с низким уровнем оплаты труда, в частности, в Китай, привел к геополитическому и экономическому подъему последних, что усилило конкуренцию и борьбу между национальными империализмами. Тем самым процесс деглобализации, развернувшийся в посткризисный период, является формой нового передела мира, сопровождающегося расколом геоэкономического пространства, ползучей деградацией наднациональных институтов и всплеском торговых войн между крупнейшими экономиками мира.

Ключевые слова: неолиберальная глобализация; транснациональные корпорации; финансовый монополистический капитал; глобальные производственные сети; офшоризация; финансовализация; деглобализация; империализм

Introduction

Amid global economic fallout of the coronavirus crisis in June 2020, BlackRock Inc. and Bridgewater Associates both went so far as to warn that globalization had already peaked and decades of globalization would erode. Even earlier, in his Sberbank Business Lunch address¹ in Davos in January 2019, CEO of the Russian Nanotechnology Corporation (RUSNANO) Anatoly Chubais argued that the deglobalization process currently under way points to a fundamental shift in the existing world order. His suggested term for that shift was “a crisis of the liberalism”². One can hardly disagree with this assessment by the principal beneficiaries of the neoliberal era³ and by one of the chief ideologists of the neoliberal reforms in Russia⁴, namely with their concrete “diagnosis” for the condition of present-day global capitalist system.

The current spike of protectionist trade wars among leading centers of global economy, creeping degradation of the supranational institutions, and the overall rise in geopolitical confrontation, all point to a structural crisis of the global capitalism, which throws an already declining neoliberal

¹ The event had a telling subtitle, “Doing Business in the (De)Globalized World”. PJSC Sberbank is the largest Russian transnational financial conglomerate and is #402 on the Forbes 2020 Global 2000. The bank holds about a third of all banking assets in Russia and about 1/2 of all private bank deposits in that country. It has branches in over 20 countries, including CIS, Central and Eastern Europe, and Turkey.

² Sberbank Business Lunch at Davos Forum (<https://www.youtube.com/watch?v=YdEvMs64ba0>).

³ BlackRock Inc. is the world’s largest investment fund with \$7.4 trillion in assets under management and is #177 on the Forbes 2020 Global 2000. Privately held Bridgewater Associates is the world’s largest hedge fund.

⁴ A key member on the team of Russia’s “young reformers” (whose earlier parallel were the “Chicago boys” in Chile), Chubais was responsible for implementing the program of neoliberal “shock therapy” reforms in Russia during the early 1990s.

globalization into a tailspin. Qualitative changes in the reproduction system of the late capitalism⁵ increasingly resemble a remarkable transformation of the world order that has taken place in a form of imperialism from around the turn of the previous century. In this respect, it is not surprising that, as Desai noted, “postwar developments made ... the classical theories of imperialism more, not less, relevant” (Desai, 2013: 88).

This paper attempts to prove that contemporary Marxist theory is relevant in providing a sound theoretical framework that can successfully explain the principle developments in the global capitalist economy during the neoliberal period. These are: how offshoring and financialization that developed during the neoliberal globalization reinforce monopolistic dominance by mature imperialist states (namely, USA, EU and Japan) on the one hand and lead to the geopolitical and economic rise of China and other fast-growing economies on the other, and how, on this basis, deglobalization emerges and evolves.

Finance monopoly capital as a theoretical starting point

Until recently, the reigning paradigm has been a neoclassical economics whose positivist theoretical framework encourages to empirically register facts and develop mathematical models thereon rather than to look into the nature of social relations underlying the “internal physiology” of the facts floating on the surface (Porokhovskiy, 2016: 20). However, the global economic crisis of 2007–2009, which for neoliberal economists was certainly impossible to actually materialize⁶, proved that neoclassical theory no longer responds adequately to the accumulated problems of the existing world order.

Given a thorough internationalization of the production process, one cannot view the contemporary system of capitalism “as a mere aggregation of national economies, to be analyzed simply in terms of the gross national products (GNPs) of the separate economies and the trade and capital exchanges occurring between them” (Suwandi et al., 2019). The urgent need to make sense of the “organic whole” of the global capitalism today, including all of its specific features and contradictions as these emerged in the context of historical shifts and development, pushes the scholars towards a critical rethinking and engagement of classical Marxist political economy, along with post-Keynesianism, institutional economics, world-system analysis and other heterodox economic theories, into the mainstream academic discourse.

A number of books by heterodox economists have been published during the post-crisis period on global capitalism. These are (Amin, 2010), (Cope, 2012), (Desai, 2013), (Harvey, 2014), (Krugman, 2009), (Kotz, 2015), (Panitch, Gindin, 2013), (Patnaik, Patnaik, 2017), (Screpanti, 2014), (Smith, 2016). Among Russian scholars, we shall highlight the representatives of the post-Soviet School of Critical Marxism Buzgalin and Kolganov who argue that the global capitalism, at its neoliberal stage, is currently restoring, in a new form, many features of the late capitalism at the beginning of the twentieth century (Buzgalin et al., 2016: 647).

At the turn of the twentieth century, the classical Marxist theorists famously saw free competition capitalism moving into a qualitatively new stage of monopoly capitalism associated with domination of finance monopoly capital in the leading national economies (Hilferding, 1981; Lenin, 1974). For instance, Lenin’s reading was that the reign of monopolies and of finance monopoly capital within the sphere of social and economic relations represented a key feature or a “germ-cell” of imperialism. His succinct definition for imperialism was therefore “the monopoly stage of capitalism” (Lenin, 1974: 266). The economic and political carving of “aboriginal lands” by the great imperialist powers at the turn of the twentieth century was a result of monopoly domination and is

⁵ We use the term “late capitalism” to refer to “a stage when a sprout of post-market relations emerges within capitalism; these relations deny the quality and the very nature of capital, yet at the same time they propel capitalism to develop further” (Buzgalin, Kolganov, 2015: 17).

⁶ Suffice it to say, in the early 2000s, Robert Lucas and Ben Bernanke, leading representatives of the mainstream of the U.S. economics profession, both were incredibly optimistic to declare that the depression-prevention problem had been solved, “for all practical purposes” (Krugman, 2009: 9–10). It is not surprising that, according to such orthodox neoclassical scholars, there are no objective grounds for a crisis to occur under capitalism, meaning “the crisis is caused not by the market, but by people taking wrong decisions” (Ryazanov, 2015: 57).

thus to be viewed as “geo-economic and geopolitical sine qua non of monopoly capital” (Buzgalin, Kolganov, 2015: 36).

Russian economists further developed theoretical concept of finance monopoly capital during the Soviet period. For instance, in his analysis of the state monopoly capitalism of the mid-1980s, Porokhovskiy (1985: 49) noted that gigantic socialization of production immanent for capitalist mode of production on the one hand and relations of finance capital inevitably penetrating into every sector of public life on the other anchored the monopolistic dominance of the mature imperialist nations.

It is important to note that the contemporary neoliberal era began as a response to the crisis of the “regulated capitalism” (Kotz, 2018: 9). A significant redistribution of the surplus value toward labor, which by the start of the 1970s became the hallmark in the leading capitalist economies, created a threat that “a qualitative revolutionary change of the very fundamentals of the capitalist system may occur” (Buzgalin, Kolganov, 2015: 44). Big business responded by demoting the Keynesianism and the idea of welfare state, and neoliberalism went through a renaissance, with monetarism having become the new orthodoxy both in economic theory and in practice. Subsequent transition to an open model of global labor and capital markets, alongside weakening of nation-state’s regulation, facilitated internationalization of economic links, which led to a rapid growth of transnational corporation (TNC) as a leading form of monopoly capital today.

We shall further elaborate by showing how the offshoring and financialization, as distinguishing features of neoliberal globalization, have reinforced monopoly dominance of the mature imperialist nations, leading to the division of the periphery’s economies. In doing so, we shall also gain a clearer view of the aforementioned phenomenon of deglobalization.

Neoliberal globalization as a division of the world

One should remember that the chief outcome of the freeing-up of the market forces during the 1970s was a gigantic socialization of production in a form of global production networks. Mass transfer of labor-intensive industries from the developed nations to low-wage countries resulted in the globalized system of offshoring⁷. Global capitalism thus polarized the geo-economic space into Southern “production economies” and Northern “consumption economies” (Cope, 2012).

UNCTAD estimates that up to 80 per cent of today’s global trade runs through global production networks controlled by transnational giants representing the advanced capitalist core (UNCTAD, 2013: 135). Moreover, up to two thirds of global trade belongs to intermediate goods and services that are used at various stages of the production cycle within global production networks. In other words, export and import of manufactured goods no longer represent “trade”. Instead, they are rather part of a product flow within global production networks subject to control by TNCs of the most developed nations.

It is extremely important to note that super-profits from offshoring became a principal source of financialization, which refers to “the increase in activity in financial markets, a rise in the value of financial assets, an increase in foreign exchange transactions compared to the volume of international trade, and other indicators of financial activity” (Kotz, 2017: 33). Offshoring-financialization interdependence resulted in non-financial corporate sector having behaved “increasingly like the financial sector, purchasing more financial assets and raising dividends and executive compensation rather than investing in the real economy” (Milberg, Winkler, 2013: 237). To put it another way, financialization, along with significant progress in productive forces and in information and communication technology in particular, has expanded and deepened the dominance of the finance capital, making the latter as mobile, virtual and truly globalized as possible.

Super-profits thus reaped by TNCs from the super-exploitation of labor-power in the Third World, along with significant portion of surplus value transferred from (semi-)periphery to capitalist core due to finance capital domination of the latter, comprise a solid base of a good health of a capitalist core, which Amin has christened their “imperialist rent” (Amin, 2010).

⁷ Offshoring is defined as “all purchases of intermediate inputs from abroad, whether done through arm’s-length contract – offshore outsourcing – or within the confines of a single multinational corporation (MNC) – intra-firm trade” (Milberg, Winkler, 2013: 2).

Furthermore, state deregulation policy and liberalization of international relations achieved a tremendous concentration of capital in the hands of the largest corporations from a select group of the advanced capitalist economies. In 1987–1999, the volume of cross-border mergers and acquisitions increased tenfold, to \$720 billion per annum; it remains at approximately the same level today (UNCTAD, 2000, 2018). The result of that cross-border expansion was a significant increase in the foreign assets of TNCs: 24 times in 26 years, from \$4.6 trillion in 1990 to \$112.8 trillion in 2016. It is noteworthy that, for the year 2016, among the top 100 non-financial TNCs with combined foreign assets of \$9 trillion, the share of corporations from OECD countries was 96 per cent (\$8.6 trillion); for the corporations from the five mature imperialist countries (USA, UK, Germany, France, and Japan), that figure was 72 per cent (\$6.5 trillion). By way of comparison, the combined foreign assets of the top 100 non-financial TNCs from the developing world was \$1.9 trillion, for that same year. Without China, the figure was \$958 billion, which is roughly equal to the combined foreign assets of just three largest TNCs from the capitalist “core”: British and Dutch ROYAL DUTCH SHELL, Japanese TOYOTA, and French TOTAL (UNCTAD, 2017).

In fact, the neoliberal globalization, the advancement of which benefited greatly from the collapse of the global socialist system at the end of the 1980s and the early 1990s, appeared as a form of economic division (or recolonization) of the periphery among the giant monopolistic corporations of the capitalist core (namely, the “triad” of USA, EU, and Japan). This manifested and reinforced monopolistic dominance by the transnational financial and industrial corporations, meaning that the latter acquired total control over global trade, industrial manufacturing, financial flows, as well as research and development⁸.

As Hobson wrote at the turn of the twentieth century, “(e)very advanced industrial nation is tending to place a larger share of its capital outside the limits of its own political area, in foreign countries, or in colonies, and to draw a growing income from this source” (Hobson, 1902: 56–57). Later, Lenin elaborated that “(t)he capitalists divide the world, not out of any particular malice, but because the degree of concentration which has been reached forces them to adopt this method in order to obtain profits” (Lenin, 1974: 253). Today the geo-economic space appears to be structured based on a hierarchy of the groups of nations within global production system represented in Table 1.

Table 1

The Geo-Economic Map of Global Capitalism

Group of nations	Basic description and the corresponding economy model	Leading nations
Center (aka North, or Capitalist Core)	The force behind global hegemony of capital; they lead in the transition to postindustrial capitalism by exploiting the (semi)periphery’s labor-power and natural resources	Advanced imperialist powers led by the USA
Semi-periphery (Industrial South)	Developing countries in the process of a “catch-up” growth of dependent type; economy model is based on export-oriented industrialization	Large new industrial economies led by China
Periphery (South, or Third World)	Underdeveloped countries in the process of dependent growth; economy model is based on export of raw materials	Large suppliers of energy resources (e.g., Saudi Arabia)

Source: prepared by the author based on (Buzgalin, Kolganov, 2015: 614).

⁸ In 2017, 10 per cent of global GDP and 1/3 of global exports were the share of TNCs foreign affiliates. The transnational giants proper controlled over 50 per cent of global industrial production and 80 per cent of global trade (UNCTAD, 2017). As Harvey put it, “the current situation in many sectors of the economy (pharmaceuticals, oil, airlines, agribusiness, banking, software, the media and social media in particular, and even box retailing) suggests strong tendencies towards oligopoly if not monopoly” (Harvey, 2014: 136).

Deglobalization under way

Extended interlocking, or “coalescence”, of national imperialisms into a global finance monopoly capital during the neoliberal era amid the unprecedented growth of cross-border activity by the largest corporations intensified by the collapse of global socialist system at the turn of 1990s gave rise to the phenomenon of “collective imperialism” (Amin, 2010: 29). Once this is recognized, it may become apparent that “it is globalized finance capital, of which the finance capitals of individual countries are component parts and which does not belong to any particular country, operating all over the globe” (Patnaik, Patnaik, 2017: 5).

However, the global economic crisis of 2007–2009 during which nation-states lavishly spent their taxpayers’ money in order to rescue some of their affiliated financial and industrial corporations broke a globalist illusion that finance monopoly capital has finally severed connection with nation-state.

Moreover, acceleration of globalization processes has stumbled in the aftermath of the world economic crisis of 2007–2009, and the intensity of global trade and investment has been on a consistent decline ever since.

During the first few years after the crisis, the annual rate of growth for global trade was lower than the rate of growth for global GDP. By way of comparison, between mid-1980s and 2008, the former was almost twice as large as the latter, on average (see Fig. 1).

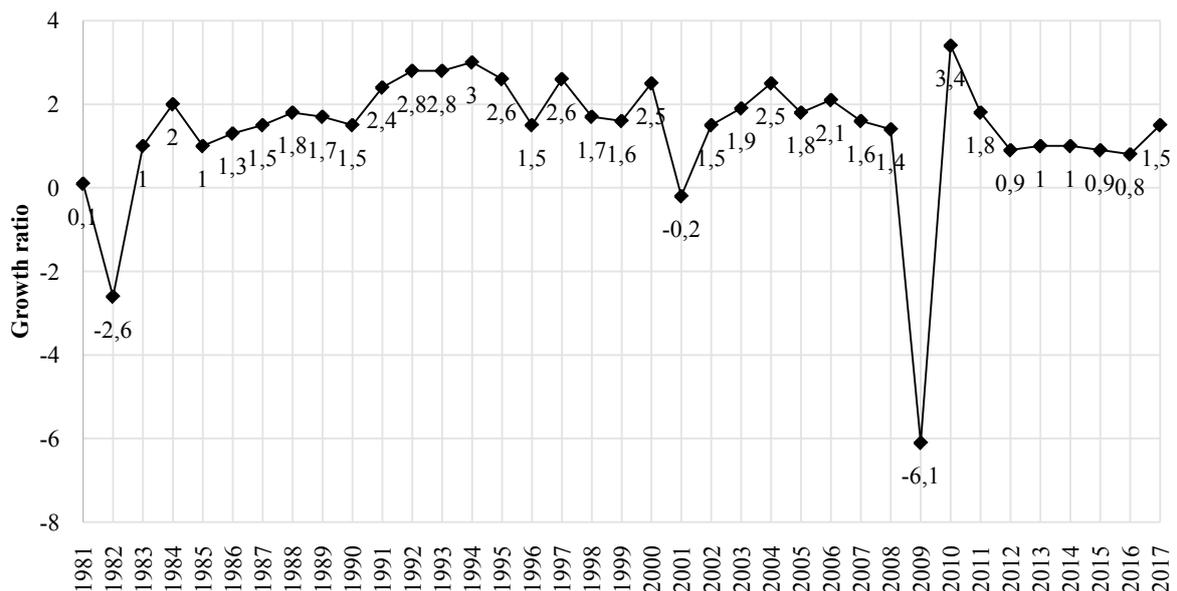


Fig. 1. Ratio of world merchandise trade volume growth to world real GDP growth, 1981–2016

Source: prepared by the author based on data in (WTO, 2017).

Since 2008, the value of announced FDI greenfield projects (an indicator of future FDI flows) has been on a consistent decline. By 2017, FDI has reached the bottom level of \$720 billion, which was lower compared to the decade before. During the entire post-crisis period, FDI rates of return continued to decline in the developed and the developing nations alike (UNCTAD, 2018).

A small recovery growth of 2010 excepting, for the entire post-crisis period of 2009–2017 the volume of global capital flows has remained flat at 5–7 per cent of global GDP. One should note that, in the period before the crisis, the threefold growth of cross-border capital flows against the global GDP (namely, from 7.5 per cent in 2002 to 21.4 per cent in 2007) owed largely to the outrunning growth of bank loans (UNCTAD, 2018).

According to UNCTAD, stagnation of international production and global production networks during 2010s was only “the quiet before the storm”. Along with replication and diversification, the currently emerging trends of reshoring and regionalization “point to a retreat of international production”, meaning “dramatic transformation” over the coming decade (UNCTAD, 2020: 156).

There is a tone anxiety in what the representatives of international financial and economic institutions are saying today about the expanding crisis of globalization⁹. For example, Agustín Carstens, General Manager of the Bank for International Settlements (aka “central bank of central banks”), has voiced alarm over “recent measures to reverse globalization and to retreat into protectionism”. As Carstens has put it, various “real and financial risks” associated with such measures “could amplify each other, creating a perfect storm and exacting an even higher price” (Carstens, 2018: 1).

The failure of talks on the WTO Doha Round may evidence that supranational institutions are becoming increasingly obsolete, i.e., they no longer possess the ability to steer the global economy by adjusting the mechanisms of international economic relations. For example, in his televised remarks to the 2019 World Economic Forum in Davos, U.S. Secretary of State Mike Pompeo has openly declared that trade talks between his country and others should occur within a bilateral framework rather than a multilateral one (like WTO, IMF, or WB). He added that “this disruption (to economic globalization) is a positive development ... No international body can stand up for a people as well as their own leaders can” (Pompeo, 2019).

A spike of protectionism and emergence of trade wars both have aggravated the post-crisis “new normalcy”. During 2017 G20 imposed over 1,200 non-tariff measures; this was a four-time increase compared to 2010 (Carstens, 2018: 2). Global Trade Alert data confirms this global protectionist trend: from 2010 to 2018 the number of protectionist measures implemented by national governments in the fields of trade, investment, and migration, has grown twice (see Fig. 2).

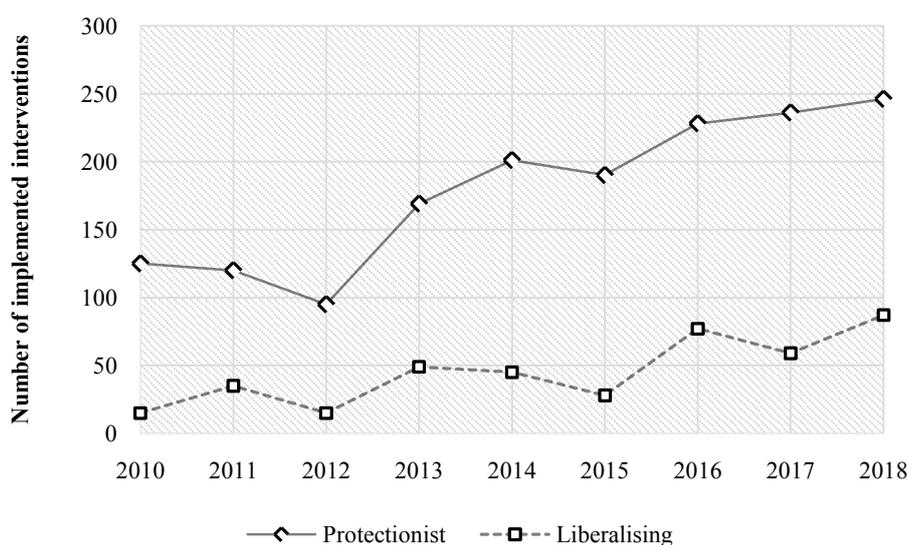


Fig. 2. New interventions implemented by governments in global trade, investment and migration, 2010–2018

Source: prepared by the author based on data in (Global Trade Alert, 2019).

In our view, the most distinguishing feature of deglobalization today is the splitting and fragmentation of the geo-economic space. One can observe a dramatic rise in competition among “the blocks of countries whose combined economic potential makes it easier for them to affect the conditions of global economy” (Hubiev, 2017: 63). For example, when China moved to redraw the global economic and trade routes by introducing “One Belt One Road” initiative in 2013, US and EU responded by actively promoting their own projects, most notably the Trans-Pacific Partnership and the Transatlantic Trade and Investment Partnership.

⁹ As a result of the neoliberal version of globalization, these institutions have successfully built themselves into independent “supra-national” structures whose main job, in the final run, is to serve the interests of the global corporate and bureaucratic elite, the representatives of a so-called “transnational capitalist class” (Sklair, 2016).

A new redivision of the world?

It is noteworthy that the ultra-low wages were not the only determining factor for the inclusion of the developing countries of the periphery into the TNCs production processes. Another key factor was the ability of national comprador bourgeoisie supported by government bureaucracies to maintain, during a foreseeable period of time and by repressing class and social protests, low wages and to ensure significantly low, if compared to imperialist nations, social security, labor safety and environmental standards. It is for this reason that export-oriented industrialization based on labor-intensive technologies worked in the economies with strong authoritarian rule and disciplined labor-power (the countries of South and South East Asia, in particular).

Specifically, a combination of the above factors enabled the rise of China. With the start of the project of “reform and openness”, the leadership of China steered the transition to capitalism by facilitating the integration of the Chinese economy into world capitalist system (Li, 2008. P. 107)¹⁰.

During the last forty years, the mature imperialist powers with USA at the top have been the main beneficiaries of the free trade globalization wave. However, today these nations are increasingly resisting further liberalization of the global economy as they rightly fear the continuing strengthening of the geo-economic position of China as well as some other fast-growing economies. Jagdish Bhagwati, one of the best-known apologists of the neoliberal version of globalization¹¹, argued that, in the aftermath of WWII, the most sensitive blow to the multinational global trade system has come from none else but USA and EU (Bhagwati, 2013: 11).

The sharpening of a contradiction between the increasing role of China and other semi-peripheral nations that are attempting to flex their economic muscles globally on the one hand and their enforced subordination to the finance monopoly capital of the mature imperialist powers on the other, pushes for a new redivision of the world, with a deglobalization under way being its symptom. The principal manifestations of deglobalization, as we have already shown, are the split of the geo-economic map, creeping degradation of supranational institutions, and in particular the current spike of protectionist U.S.-Sino trade war, which superficial observers still frequently regard as a mere consequence of Trump’s populist internal politics and of certain xenophobia in the United States. Contemporary global imperialism is thus in no way “a system of control of the world economy without substantial inter-imperial contradictions” (Screpanti, 2014: 52).

One should remember that the economic and political redivision of the world in the early twentieth century resulted in two world imperialist wars, which appeared to be a “natural” way of resolving inter-imperialist contradictions. Deepening conflicts between leading economies are trailed by the growing military spending (see Fig. 3). It is noteworthy that, during the boom phase of globalization in 1990s, the total global military spending saw a decrease of over 30 per cent when compared to numbers at the peak of Cold War (mid-1980s); the historical minimum was reached in 1998 (\$994 billion). One can explain this dramatic decrease not only by the plummeting military spending across the countries of the former Soviet Union following its collapse in 1991¹², but by a drastic cut in US military spending as well (namely, by 32 per cent).

Nonetheless, during the following decade of 1999–2008, the total global military spending rose 1.5 times, to \$1.6 trillion, which was 10 per cent higher than in 1988. While the recent global economic crisis witnessed a drop across the entire range of economic indicators, it in no way affected military spending figures; in 2009, these figures rose by \$100 billion. Also, while the total global military spending remained more or less flat during the entire post-crisis decade, the share of the US in that spending decreased by 10 per cent, from 45 per cent in 2007 to 35 per cent in 2017. This evidences that military spending of other geopolitical actors, especially China, have bloated up. China’s military spending rose sevenfold in the period from 1998 to 2017, up to \$228 billion, or 13.5 per cent of the total global military spending in 2017.

¹⁰ In 2013, global production networks employed 453 million people and 39.2 per cent were workers in China (Foster, 2015).

¹¹ See, for example, (Bhagwati, 2004).

¹² In 1998, the military spending of the former USSR countries dropped nearly 15 times compared to 1988.

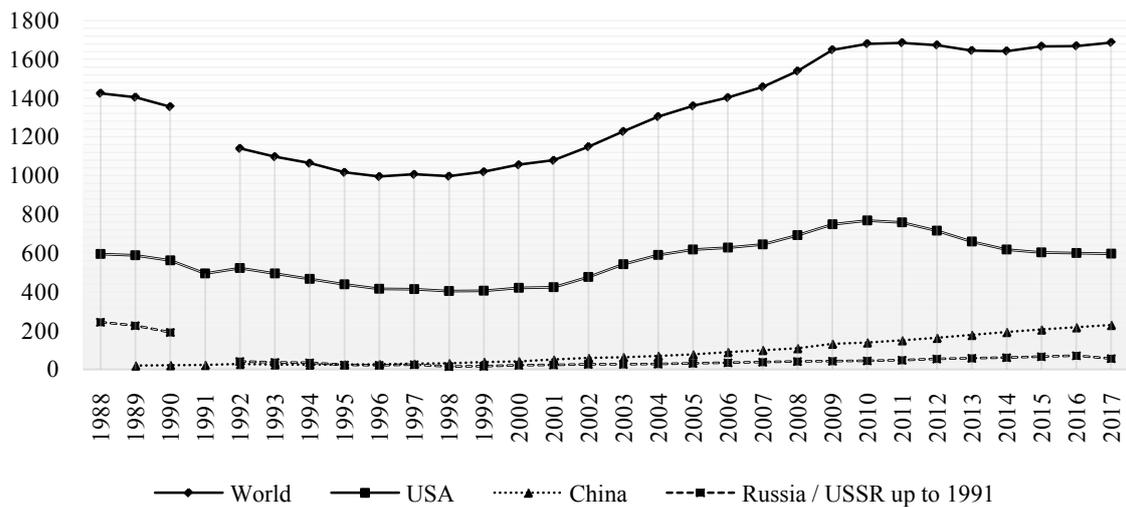


Fig. 3. Military spending (\$ billion), 1988–2017

Source: prepared by author based on data in (SIPRI, 2019).

Note: the data for the world and USSR/Russia military spending for 1991 were not available.

Today, the flood of publications and media discussions voicing a threat of a new global war is a major source of concern¹³. Leading nuclear-armed states have added a nuclear strike option to their national defense doctrines and other such documents, be it a limited nuclear strike option or a comprehensive one (Erästö, Cronberg, 2018).

Conclusion

In his analysis of the mid-nineteenth-century capitalism, Marx noted that “(t)he capitalist mode of production is ... a historical means of developing the material forces of production and creating an appropriate world-market and is, at the same time, a continual conflict between this its historical task and its own corresponding relations of social production” (Marx, 1961: 274).

As the monopoly capital expanded during the last quarter of the twentieth century, with neo-liberal globalization having accelerated this process multiple times, individual economic localities came together and formed a discordant global market. At the same time, science became a productive force of direct nature. Nevertheless, the objective logic of late-capitalist development has created a situation when, similar to one hundred years ago, one finds global market conquered and carved by the largest multinational corporations whose hegemony is based on their “economic power merged with the political power of the state” (Hubiev, 2017: 66).

Global capitalism thus continues to reproduce the center-periphery model of power-driven exploitation and oppression of weaker nations, which was a dominant feature of the imperialist relations of production one century ago. As Lenin wrote at that time, “Domination, and the violence that is associated with it ... has resulted from the formation of all-powerful economic monopolies” (Lenin, 1974: 207). One can hardly overestimate the continuing relevance of this statement.

The slowdown of globalization and the unfolding redrawing of the geo-economic map both point to the historical and geographic limits that the late capitalism has reached in terms of growth and development. What has been specifically exhausted is continuing accumulation of capital by means of including new “indigenous lands” into the purview of the world capitalist economy. As a result, global economic space is currently reshaping, and the “national imperialisms” are beginning to compete and struggle with one another, similarly to what we witnessed at the start of the twentieth century.

¹³ For example, in April 2017, Google searches for “World War 3” have spiked to a record high (available at: <https://ria.ru/20170414/1492279438.html>).

References

- Amin, S. (2010). *The Law of Worldwide Value*. New York: Monthly Review Press.
- Bhagwati, J. (2004). *In Defense of Globalization*. Oxford: Oxford University Press.
- Bhagwati, J. (2013). Dawn of a New System. *Finance and Development*, 50(4), December, pp. 8–13.
- Buzgalin, A. V., Kolganov, A. I. (2015). *Global Capital*, vol. 2. *Theory: Global Hegemony of Capital and Its Limits ('Capital' Reloaded)*. Moscow: LENAND Publ. (In Russian.)
- Buzgalin, A., Kolganov, A., Barashkova O. (2016). Russia: A New Imperialist Power? *International Critical Thought*, 6(4), 645–660.
- Carstens, A. (2018). Global Market Structures and the High Price of Protectionism. Overview panel remarks. *Bank of International Settlements* (<https://www.bis.org/speeches/sp180825.pdf>).
- Cope, Z. (2012). *Divided World Divided Class, Global Political Economy and the Stratification of Labour Under Capitalism*. Montreal: Kersplebedeb.
- Desai, R. (2013). *Geopolitical Economy: After US Hegemony, Globalization and Empire*. London: Pluto.
- Erästö, T., Cronberg, T. (2018). Opposing trends: The renewed salience of nuclear weapons and nuclear abolitionism. *SIPRI Insights on Peace and Security* (<https://www.sipri.org/publications/2018/sipri-insights-peace-and-security/opposing-trends-renewed-salience-nuclear-weapons-and-nuclear-abolitionism>).
- Foster, J. (2015). The new imperialism of globalized monopoly-finance capital. *Monthly Review* (<https://monthlyreview.org/2015/07/01/the-new-imperialism-of-globalized-monopoly-finance-capital/>).
- Global Trade Alert*. New Interventions per Year (https://www.globaltradealert.org/global_dynamics/day-to_0417/flow_all).
- Harvey, D. (2014). *Seventeen Contradictions and the End of Capitalism*. New York: Oxford University Press.
- Hilferding, R. (1981). *Finance Capital: A Study of the Latest Phase of Capitalist Development*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Hobson, J. A. (1902). *Imperialism. A Study*. London: James Nisbet & Co.
- Hubiev, K. (2017). Contemporary trends in the world economic development: Political economy approach. *Problemy Sovremennoy Ekonomiki*, (1), 62–67. (In Russian.)
- Kotz, D. M. (2015). *The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism*. Harvard University Press.
- Krugman, P. (2009). *The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008*. New York: W.W. Norton and Company.
- Lenin, V. I. (1974). Imperialism, The Highest Stage of Capitalism / In: *Collected Works*, vol. 22. Moscow: Progress Publishers.
- Li, M. (2008). *The Rise of China and the Demise of the Capitalist World-Economy*. London: Pluto Press.
- Marx, K. (1961). Capital, vol. III / In: Marx, K., Engels, F. *Collected Works*, vol. 25, part 1. Moscow: Politizdat Publ. (In Russian.)
- Milberg, W., Winkler, D. (2013). *Outsourcing Economics: Global Value Chains in Capitalist Development*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Panitch, L., Gindin, S. (2013). *The Making of Global Capitalism: The Political Economy of the American Empire*. Verso.
- Patnaik, P., Patnaik, U. (2017). *A Theory of Imperialism*. New York: Columbia University Press.
- Pompeo, M. (2019). Remarks to the World Economic Forum. *US Department of State* (<https://www.state.gov/remarks-to-the-world-economic-forum/>).
- Porokhovskiy, A. A. (1985). *Big Business: Path to Domination (Imperialism and Commodity Relations)*. M.: Mysl Publ. (In Russian.)

- Porokhovskiy, A. A. (2016). Political economy in the XXI century: System approach to the problem solving in the contemporary economy. *Voprosy Politicheskoy Ekonomii*, (4), 8–22. (In Russian.)
- Ryazanov, V. T. (2015). Capitalism and crises. Genesis and development of political economy approach. *Voprosy Politicheskoy Ekonomii*, (1), 48–53. (In Russian.)
- Screpanti, E. (2014). *Global Imperialism and the Great Crisis: The Uncertain Future of Capitalism*. Monthly Review Press, 288 p.
- SIPRI Military Expenditure Database. *Stockholm International Peace Research Institute* (<https://sipri.org/databases/milex>).
- Sklair, L. (2016). The transnational capitalist class, social movements, and alternatives to capitalist globalization. *International Critical Thought*, 6(3), 329–341.
- Smith, J. (2016). *Imperialism in the Twenty-First Century: The Globalization of Production, Super-Exploitation, and Capitalism's Final Crisis*. Monthly Press Review.
- Suwandi, I., Jonna, J., Foster, J. (2019). Global Commodity Chains and the New Imperialism. *Monthly Review*, 70(10) (<https://monthlyreview.org/2019/03/01/global-commodity-chains-and-the-new-imperialism/>).
- UNCTAD (2000). *World Investment Report* (http://unctad.org/en/docs/wir2000_en.pdf).
- UNCTAD (2013). *World Investment Report* (https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdf).
- UNCTAD (2017). *World Investment Report* (https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf).
- UNCTAD (2018). *World Investment Report* (https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf).
- UNCTAD (2020). *World Investment Report* (https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2020_en.pdf).
- WTO (2017). *World Trade Statistical Review* (https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2017_e/wts17_toc_e.htm).

Economic impacts of Covid-19 on the labor market and human capital

Marek Dvořák

Czech University of Life Sciences Prague, Prague, Czech Republic, e-mail: dvorakmarek@pef.czu.cz

Patrik Rovný

Slovak University of Agriculture in Nitra, Nitra, Slovak Republic, e-mail: patrik.rovny@uniag.sk

Veronika Grebennikova

Kuban State University, Krasnodar, Russia, e-mail: vmgrebennikova@mail.ru

Marina Faminskaya

Russian State Social University, Moscow, Russia, e-mail: faminskaya@mail.ru

Citation: Dvořák, M., Rovný, P., Grebennikova, V., Faminskaya, M. (2020). Economic impacts of Covid-19 on the labor market and human capital. *Terra Economicus*, 18(4), 78–96. DOI: 10.18522/2073-6606-2020-18-4-78-96

This paper tackles the economic impacts of COVID-19 pandemic on the labor markets and human capital. Specifically, it looks into the issues the pandemic brought upon the human resources and personnel during coronavirus lockdowns. Our results identify that in spite of all the adverse effects of the pandemic such as the excessive burden on the healthcare system, great economic losses and disruptions on the labor market (such as the loss of human capital and widening gaps in gender inequality) due to the lockdowns in many countries intended to slow down the spread of the infection with the purpose of flattening the curve representing the numbers of the COVID-19 patients, the current situation had many positive economic effects. For instance, we find that the recent pandemic helped to increase the financial inclusion and enabled broader access to financial system. In addition, during the past few months, digitalization and the use of information technology deepened and progressed in both large and small enterprises as well as in the higher education institutions. Moreover, COVID-19 pandemic helped to develop the awareness about the climate change among many people by demonstrating how the decrease in economic activity can have a profound effect on cutting CO2 emissions. Furthermore, we find that COVID-19 pandemic contributed to optimizing work load and cutting unnecessary work in many large and small business companies and public institutions. It is likely that most of them will continue with this optimization and digitalization of work after the pandemic is over. Last but not least, we note the enhanced family life and interpersonal relations that would without any doubt contribute to the quality of human capital and the level of happiness. Our results might be useful for public officials and labor market specialists who would want to grasp the consequences of the COVID-19 pandemic and to find ways how to smoothen its impacts.

Keywords: labor market; COVID-19; human capital; economic impact; pandemic; personnel security

Acknowledgement: The study was funded by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) and the Krasnodar Territory of the Russian Federation, project No. 19-413-230017.

JEL codes: J20; J24; M45; P36

Экономическое воздействие Covid-19 на рынок труда и человеческий капитал

Марек Дворжак

Чешский университет естественных наук в Праге, г. Прага, Чехия, e-mail: dvorakmarek@pef.czu.cz

Патрик Ровны

Словацкий сельскохозяйственный университет в Нитре, г. Нитра, Словакия, e-mail: patrik.rovny@uniag.sk

Вероника Гребенникова

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия, e-mail: vmgrebennikova@mail.ru

Марина Фаминская

Российский государственный социальный университет, г. Москва, Россия, e-mail: faminskaya@mail.ru

Цитирование: Dvořák, M., Rovný, P., Grebennikova, V., Faminskaya, M. (2020). Economic impacts of Covid-19 on the labor market and human capital. *Terra Economicus*, 18(4), 78–96. DOI: 10.18522/2073-6606-2020-18-4-78-96

В нашей статье рассматриваются экономические последствия пандемии COVID-19 для рынков труда и человеческого капитала. Наши результаты показывают, что, несмотря на все неблагоприятные последствия пандемии, такие как чрезмерная нагрузка на систему здравоохранения, ощутимый экономический ущерб и сбои на рынке труда (например, потери человеческого капитала и увеличение разрыва в гендерном неравенстве), обусловленные локдауном во многих странах, направленным на замедление распространения инфекции с целью сглаживания кривой, отражающей количество пациентов с COVID-19, нынешняя ситуация имела множество положительных экономических эффектов. Например, мы обнаружили, что недавняя пандемия способствовала расширению финансовой инклюзии. Кроме того, за последние несколько месяцев цифровизация и использование информационных технологий стали интенсивнее развиваться как на крупных, так и на малых предприятиях, а также в высших учебных заведениях. Более того, пандемия COVID-19 помогла повысить осведомленность об изменении климата среди многих людей, продемонстрировав, как снижение экономической активности может влиять на сокращение выбросов CO₂. Кроме того, мы обнаружили, что пандемия COVID-19 способствовала оптимизации рабочей нагрузки и сокращению ненужной работы во многих крупных и малых компаниях и государственных учреждениях. Вероятно, большинство из них продолжат эту оптимизацию и цифровизацию работы после того, как пандемия закончится. И последнее, но не менее важное: мы отмечаем улучшение семейной жизни и межличностных отношений, которые, без сомнения, будут способствовать повышению качества человеческого капитала и уровня счастья. Наши результаты могут быть полезны государственным служащим и специалистам по рынку труда, которые хотели бы понять последствия пандемии COVID-19 и найти способы смягчить ее последствия.

Ключевые слова: рынок труда; COVID-19; человеческий капитал; экономическое влияние; пандемия; безопасность персонала

Благодарность: Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Краснодарского края Российской Федерации, проект № 19-413-230017.

1. Introduction

In spring 2020, the World Health Organization (WHO) announced that the world was facing a new pandemic – an unprecedented spread of the new coronavirus known as SARS-CoV-2 or COVID-19. Even though various infectious diseases already appeared many times before in human history and inflicted a varying degree of damage (e.g. the Spanish flu caused by the H1N1 influenza A virus that killed between 17 and 50 million people worldwide in 1917–1918 (Short et al., 2018)), the COVID-19 pandemic became a unique precedence (see e.g. Abbott et al., 2020; Besenyő et al., 2020; Sahin et al., 2020; or Rezk et al., 2020). Thanks to the spread of Internet and information and communication technologies (ICT), it became the first pandemic to be followed, reported on and commented upon in real time (Ye, 2002; Ndiaye et al., 2020). It was due to the wide media coverage and information flow that it soon began influencing consumer behaviour by bringing fear and uncertainty and therefore deteriorating markets. Labor market and human capital were the first to feel these effects due to the rising unemployment, job insecurity and the shrinking career opportunities due to the spread of COVID-19 all around the world (Costa Dias et al., 2020; Lemieux et al., 2020).

The unprecedented impact of COVID-19 on the economic and social relations all around the world as well as on the labor markets was to in many ways due to the ongoing globalization that made the transmission of the virus across continents a matter of weeks and days. Globalization might be viewed as a useful feature of the progress but it also has its adverse effects that might result in job loss, deprivation, and economic downturns, as many examples show (Kalyugina et al., 2020). In fact, many researchers now express the idea that COVID-19 pandemic might be the factor that halted or even stopped the ongoing globalization, a process of an unprecedented scale we were facing in the 21st century (see e.g. Gruszczynski, 2020; or Bhusal, 2020; or Razif et al., 2020).

It is becoming apparent now that the consequences of COVID-19 pandemic for the labor market are going to be long-running. This is the fact many researchers can agree upon (Foss, 2020; Al-Fadly, 2020). Even assuming that the economic contraction comes to an end, an economy such as the United States would need several months to return to pre-contraction economic performance and to regain stable labor demand. It is estimated that it could take up to two years for the country to return to the level of unemployment before COVID-19, and that full recovery from its current state could take much longer (Cutler, Summers, 2020). Job losses caused by the COVID-19 pandemic are expected to be a long time coming, with the number of unemployed likely to more than double by 2020. Since April 2020, when the order of residence – at home – was set, 23.1 million Americans have been unemployed, an increase of 1.2 million from the previous month¹. The U.S. labor market recovered in the first months of the coronavirus pandemic, but has since recovered and is beginning to recover. The rise in infections in recent weeks could cause a major shock in job losses. As the number of COVID-19 infections levelled off and home orders were lifted, that number fell by 5.3 million (Bartik et al., 2020a). The shops closed in March and April 2020 have resumed operations and the shops open in April and May. Some authors are currently working on a study to examine how the employer shutdown affects the U.S. economy. According to some evidence employers are cutting and skipping each other's pay raises. These events could cause employers to lay off workers which would prolong the labor market's recovery from these events. After an initial poor start, they often get stuck in low-paying, low-quality jobs. If jobs are destroyed, it will take time for workers to find good jobs they want to keep. Even as the economy strengthens, it will be difficult for workers to catch up with their pre-recession cohorts. Bartik et al. (2020b) found that employment rates of graduates entering the U.S. labor market after 2010 persisted for many years, rather than fading. Compared with time – adjusted employment rate – they had an employment rate that was higher than the one we are seeing in 2019, but not nearly as high as otherwise predicted.

Our paper focuses on the issues caused by the COVID-19 pandemic to the labor market, human resources, and personnel security. It argues that in spite of all the adverse effect and the increased death toll, the pandemic has a number of positive outcomes. Section 2 discusses the state of the

¹ White House (2020). Proclamation suspending entry of aliens who present a risk to the U.S. labor market following the coronavirus outbreak (<https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/> – accessed on 28.11.2020).

human resources and personnel security during coronavirus lockdown. Section 3 contemplates upon the gender inequality on the labor market in the times of COVID-19. Section 4 discusses the effect of COVID-19 on the financial inclusion and the broader access to the financial system. Section 5 provides the examples how the recent pandemic helped to increase digitalization and the use of information technology. Section 6 describes the effect for the enhanced awareness about the climate change. Section 7 relates how COVID-19 pandemic helped to cut redundant and unnecessary work. Section 8 explain how the pandemic changed the patterns of excessive travel and endless business meetings. Section 9 describes the positive effects of the enhanced family life due to COVID-19. Finally, section 10 comes with the closing remarks as well as conclusions and implications.

2. Human resources and personnel security during lockdowns

Recent pandemic contracted a devastating blow to the labor market and personnel security worldwide. Many people lost their jobs but most importantly the sense of insecurity and helplessness was even worse. In spring 2020, when no one knew anything about COVID-19 virus including its effects, mortality rates, features and peculiarities, there was no better option other than to lock oneself at home and work remotely. While this was acceptable for many professions including the office workers, teachers and lecturers, as well as IT specialists, hairdressers, bartenders, cooks, and assembly line workers could hardly do the same (Schlenz et al., 2020; Dobrowolski, 2020).

In general terms, competitiveness that constitutes an important element of any business environment suffered which might have long-term consequences (Abrham et al., 2015; Segota et al., 2017). As a result of the pandemic and lockdown some professions experienced more than a 100% boost, among them e-marketing and delivery services. E-marketing in particular proves to be an important element of the new business relations (Anser et a., 2020; Janšto et al., 2019) and it showed itself as very useful during the recent crisis.

Governments worldwide made enormous efforts to make the impact of social distancing and national lockdowns in an attempt to prevent the spread of the coronavirus infection as small as possible. Various supporting programs, payments, subsidies and funds were deployed in order to keep many employees afloat. This can explain quite low numbers of unemployment in many countries (see Fig. 1 that follows).

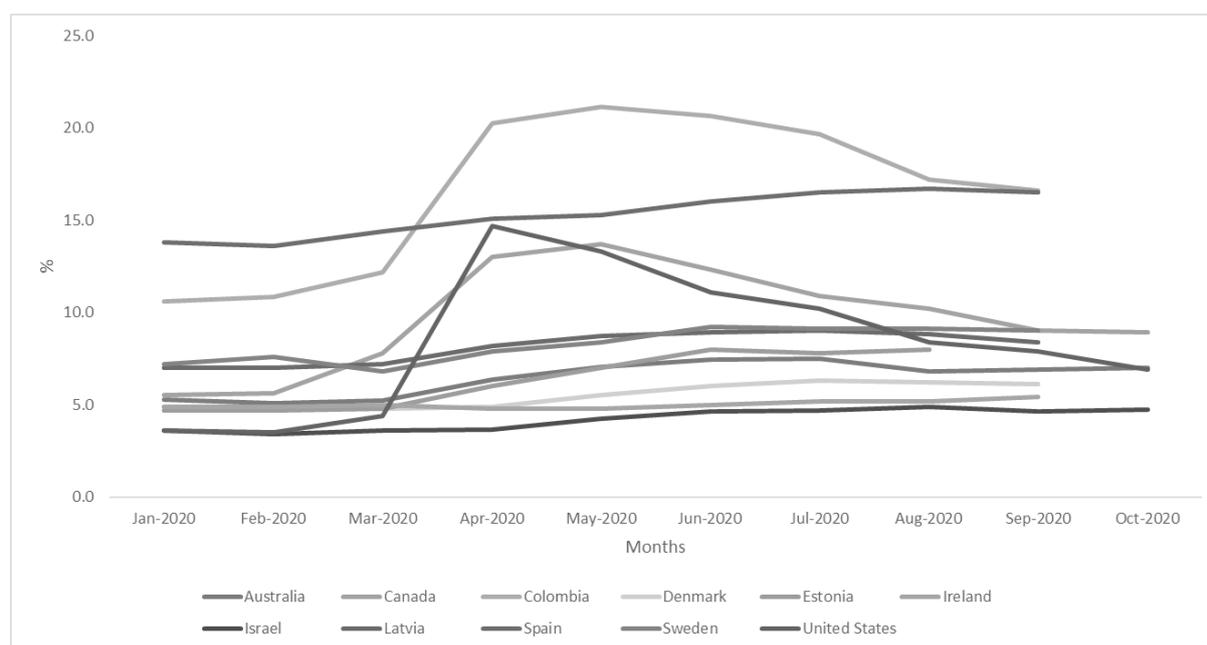


Fig. 1. Monthly unemployment rates in selected OECD countries (2020)

Source: Own results based on OECD (2020).

One can see that the highest spikes were recorded in Colombia, Canada and the United States, while the steadily high rate of unemployment in Spain followed the same trend from the previous year. Many European countries such as Ireland or Denmark did not yield high changes in the unemployment rate and the path remained more or less the same.

With regard to the above, it becomes obvious that information to employees about their employer's status during a government shutdown due to the COVID-19 should remain the focus of all employers. Human Resources (HR) specialists are to be made responsible for managing the day-to-day tasks of personnel in an emergency and have proven to be the means of unifying function in a crisis. As the lockdown situation changes in many countries (such as the trends in Russia, Poland, or the Czech Republic where the relatively calm period of easing restrictions occurred between the first and the second wave of coronavirus) and the restrictions unlock, the task for HR managers is to remain a trusted HR consultant while taking the lead on issues such as flexible working hours, sometimes in the face of pushbacks. Now more than ever, it is important to work with leaders and human resources experts as a first steps to ensure that we get back on our feet when the immediate threat of coronavirus is collectively contained. Many organizational and design professionals believe that this time of quickly forced work from home will change the working world indefinitely (Raisiene et al., 2020; Waizenegger et al., 2020). In view of the high-profile situation of the lockout and the potential for forced office closures, COVID-19 placed the remote working in the foreground of the political discussions on personnel policy.

Although remote work is already relatively common in many industries, not all companies are prepared for the sudden shift to a completely remote workforce. Since COVID-19 began, more and more companies have been working to protect their employees from domestic violence by performing emergency work. It is important that all employers have the right technical tools for the remote team now, but they also need to involve everyone and focus on their work. Most families have been quarantined, while staff are now being quarantined for much longer than they would normally be. Thence, it appears crucial that human resources chiefs must introduce fair hiring practices that can help prioritize hiring of those most affected by the effects of the COVID-19 pandemic (McGuire et al., 2020). Company leaders and human resources teams create change within the organization, as well as strong team structures. HR chiefs who should be used to achieve business continuity goals should remember that the threat posed by COVID-19 is still great. Managers, staff and administration must work closely together to reduce overheads and operating costs. To ensure the long-term sustainability of the business, business travel plans, resources and expenses are limited to reduce their expenditures. Managers will also have to make important decisions about future tasks, balancing the risks for employees with the need to continue to run business and provide services to customers. This sounds like a simple task, but monitoring every employee hourly around the world can be overwhelming.

On a practical level, the key is always to know where the staff are and where they are going. Alternatives to planned trips to affected areas should be considered, such as postponing trips or holding meetings via teleconferences. The most successful companies are switching to social media such as Facebook, Twitter, LinkedIn and other social networks to communicate with remote employees (Wang et al., 2020). They convey messages that show empathy, build trust and connect with workers who are now in a different working climate. The main job of HR managers at the moment is to keep their staff informed, calm down and build trust. While previous tactics and strategies will continue to be part of the human resources manager's toolkit for efficiently managing employees. However, we can now observe a major shift in the wake of the coronavirus that will fundamentally change the role of HR managers. The HR teams need to go to the top and be more attentive and competent about what to do while the staff are not in the office. Employees are trained to ensure seamless business operations by imparting knowledge of the importance of maintaining social distance. When employees enter and leave the office directive, they will also understand better when and how they leave the office directive and comply with it. While lives can be saved by limiting the transmission of COVID-19, it will put the well-being of employees, their well-being, at considerable risk. Industry workers might experience high levels of anxiety and stress, as they are at risk for the health of everyone else.

All in all, it is important to enhance and improve the practices that companies apply and promote to improve employee well-being. All of these can improve employee health and well-being and support them mentally.

3. COVID-19 and gender inequality on the labor market

The United Nations (UN) very clear policy guidance sets out what governments and their populations need to do to ensure that the crisis of gender inequality does not worsen (Orzes et al., 2018). When the COVID-19 pandemic stroke, it rapidly started wiping out the limited and precious progress the world has made in gender equality over the past few decades (Power, 2020). The current predicament will exacerbate this persistent situation, and, although previous reports suggest that men are more likely to succumb to it, women around the world will have to pay the social and economic toll (Papadopoulos et al., 2020). Therefore, we argue in this paper that due to the recent situation should call for the protection of women's rights worldwide and to make sure that this pandemic does not destroy progress towards gender equality on the labor market. This includes building an equal future for women despite the pandemic, and ensuring that the socio-economic impact of COVID-19 is addressed, promoting transformative change and equality by addressing the care industry (paid and unpaid) and targeting women to address paid and unpaid care services in the economy.

One has to give some credit to the UN in trying to mitigate the situation. In responding to gender inequality through COVID-19, the United Nations have focused on many different areas, many of them in collaboration with the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). They are working to raise awareness of this issue and to support the collection and evaluation of data in the areas of gender inequality, gender discrimination, sexual violence and equality (Ryan, Ayadi, 2020). Crucially, there is evidence that greater equality in a society helps to increase resilience to various challenges. While conflict focuses on prevention, risk and grievance management is about empowering women and closing gender gaps, including in health, education, and economic opportunities, while societies with greater equality tend to be more resilient to violence and conflict. Combating gender inequality is therefore an important part of extending this work, not only for women, but also for men and children. Women's access to sexual and reproductive health has been hindered by the shift in funding for pandemic interventions. This has helped to keep girls out of school, improve sexual and reproductive health in adolescents, and facilitate their social and economic participation.

In addition, the fact that more people are working from home also means that the burden of unpaid care and domestic work has increased, pushing some to the brink of being resilient. Violence against women increased, as far as widespread orders to stay at home forced women to seek refuge in their own homes rather than with family members, friends or colleagues (Sharifi et al., 2020).

As already stated above, the majority of the research on the impact of pandemics on women's health focused on their different effects on men and women. Women in the labor market are more affected than men, as they are more likely to work outside the home, reduce their working hours and become unemployed. In particular, there is a difference in unemployment probability: women are 19% more likely than men to be unemployed (Kulik, 2000). The risk of unemployment for men and women varies considerably, even taking into account individual employment characteristics, which points to gender inequalities resulting from differences in the number of hours worked, part-time work and unpaid hours. Labor market dynamics vary from country to country, as do labor market conditions in various parts of the world, such as Africa, Asia, and the Middle East. There are several critical areas where COVID-19 affects women and these need to be addressed immediately. In addition, it appears that women account for less than a third of the workforce in some sectors affected by COVID-19. Hospitality, catering and health services will be the worst affected by the pandemic, as women make up the majority of workers in these sectors.

Many policy responses to pandemics involve gender planning, but not all policies address gender inequality. These include prevention and response to gender-based violence, gender equality and the right to stay at home. Not surprisingly, there are concerns that technological progress in the home sector could also affect progress toward gender equality. Women continue to carry the bulk of the burden of care work. At a time of rising unemployment and increasing competition for low and unskilled jobs which particularly affect women, new employment opportunities are being created in the care sector. In addition, reducing the number of women in paid work can increase the time spent doing unpaid work and reduce the incentive for men to take on an equal share of care in the home. Women have fought for gender equality for countless years, but these efforts could be undone by COVID-19 pandemic. Women are disproportionately burdened by the economic downturns caused by pandemics, and it is estimated that 47 million more women will be pushed into poverty by COVID-19 (Alon et al., 2020). The more women become unemployed, the greater the gender gap is going to increase and widen.

In general, it appears that while women have the lower risk to succumb to COVID-19, they are the ones who are most threatened by it on the labor market. Steps need to be taken to solve this issue and to reinstall the balance.

4. Financial inclusion and broader access to financial system due to COVID-19

Access to finance and financial inclusion are of growing interest worldwide, particularly in emerging and developing countries (Jones, Knaack, 2019). Partly this is due to the recent efforts to prevent money laundering, financing terrorism or stopping corruption that is notorious in, for example, Central and Eastern European countries (CEEC), Russia, Ukraine, or some countries in Latin America, Africa and Asia (Koudelkova et al., 2015; Arewa, 2019). Policymakers are concerned about the spread of the benefits of financial intermediation and markets across a wide range of sectors, including health, education, employment, health care and education.

Another well-known issue is that the financial system's assets are concentrated in the hands of a small number of people with limited access and financial literacy (Kramer, 2016; Yuesti et al., 2020). Financial inclusion allows individuals and businesses to seize business opportunities, invest in education, save for retirement, hedge against risk, and access financial services. Financial inclusion aims to remove barriers that prevent people from participating in the financial sector and from using services to improve their lives. Financial inclusion refers to the ability to make financial services available to all people, regardless of race, ethnicity, religion, gender, sexual orientation or gender identity, at a reasonable cost. It is about providing people of all income levels with access to financial products and services at a reasonable cost. Although barriers to financial inclusion have long been a problem, a number of forces are helping to expand access to the types of financial services that many wealthy consumers take for granted. Advances in fintech, such as digital transactions, might help to achieve these goals (Breidbach et al., 2019).

For its part, the financial industry is constantly developing new ways to provide products and services to the world's population, often at a profit. For example, the increased use of financial technology or fintech provides innovative tools to address the issue of financial services inaccessibility, and creates a new way for individuals and organizations to obtain the services they need at a reasonable cost (Cai, 2018). Financial inclusion is crucial to economic growth and poverty reduction, though it acknowledges that the empirical evidence linking access to financial services to development outcomes is fairly limited. For example, it appears that there is evidence that access to financial services or formal accounts can enable individuals and companies to increase their investments (Gomber et al., 2018). Financial constraints lead to imperfections in financial markets, often reflected in information asymmetries and high transaction costs. The lack of data at the overall budget level often exacerbates the gap between those who have access to financial products and those who do not. Financial inclusion of women also

has good and reliable (documented) side effects, such as the extending financial inclusion in a broader sense. Although the study on financial inclusion is still ongoing, understanding of how the formal financial system affects poor households remains inadequate. In addition, it appears that the access to the financial products might not be equal. It turns out that women's access to financial products and services, such as bank accounts, also plays an important role in the overall development of the financial system.

Additional research reinforces the notion that financially empowered women are able to improve the well-being of their families (Nordstrom, Jennings, 2018). Indeed, the countries and case studies in which women have used bank accounts to save a larger share of income, invest more in their businesses, and spend more on things that benefit the entire household are known (Friedson-Ridenour, Pierotti, 2019). This is intended to have a positive impact on the overall health and well-being of women and children. With regard to the above, one useful approach to increasing financial inclusion is to motivate banks to make loans to poor and creditworthy households that do not pay enough attention to repaying loans. As a result, the banking system's credit standards could deteriorate or be affected.

Moreover, there is evidence that systemic risks increase when financial inclusion and access to financial products and services, such as bank accounts, are linked. For example, the ability to withdraw money can be reduced, which leads to the bank taking in customers with poor credit ratings. Improvements in financial inclusion could trigger the growth of unregulated institutions in the financial sector. Financial stability is an essential policy element for achieving sustainable economic growth, as most transactions in the economy are conducted through the financial system. Financial inclusion aims to entice people without a bank account into formal financial systems, where they have access to financial services such as credit cards, bank accounts and other financial products and services. Despite the relatively new and thin structure of financial institutions in many countries, the number of banks and financial intermediaries is still relatively small.

One thing that COVID-19 pandemic improved about the access to financial products and financial institutions is that less people carried on using cash transaction and more shifted towards online payments. Quite a considerable number of customers opened bank account with a purpose to obtain a credit or debit card. On top of all that, virtual cards as well as Google Pay and Apple Pay payment systems became a little bit less of the items from a sci-fi movie and more a part of the daily routine. All of the above was reinforced by the fear of transmitting the COVID-19 virus through paper banknotes which also increase the number of contactless card payments. For all the inconveniences it caused, COVID-19 can be praised for its quick effect on the financial literacy and the use of the new technologies in banking and finance.

5. Digitalization and the use of information technology during pandemic

Digitalization is not aimed at optimizing the data process, but rather at benefiting from efficiency advantages when digitalized data is used to automate processes and facilitate better accessibility (Abrham, Wang, 2017). Rather than simply turning existing data into digital, digitization includes the data collected by digital technologies, the trends they establish, and the ability to make better business decisions by using advanced technological approaches and data analysis such as, for example, fuzzy logic (Novák et al., 2020). By using digital information technology to change business processes, to evaluate, redesign or rethink our business, digitization brings us closer to our ultimate goal: the transformation of the business process.

There is no doubt that the link between technology and digital transformation is strong, but it is worth examining the nature of this relationship to understand what digital transformation is, what drives it, and what it means for businesses and organizations in today's digital age. Some researchers even speak about the "digital divide" between more developed and less developed (or advanced) regions (Kupriyanova et al., 2019). Truly, regional differences mean a lot in this distinction (Fursova et al., 2018).

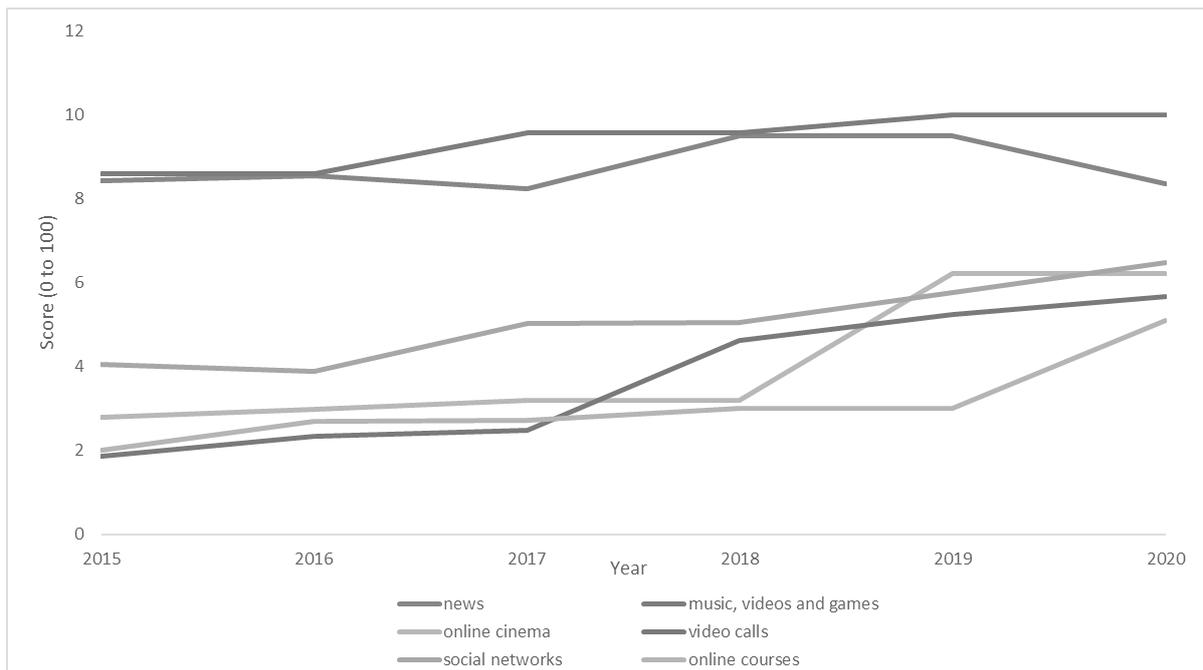


Fig. 2. Online activities and digital competitiveness in EU Member States

Source: Own result based on DESI (2020).

Activities online (<https://digital-agenda-data.eu/> – accessed November 29 2020).

Figure 2 shows the online activities and digital competitiveness in European Union Member States between 2015 and 2020. One can see the clear changes due to the COVID-19 pandemic in the 2020. It appears that online courses, video calls, and social networks rapidly increased while the news decreased and music, video and games remained at the steady pace. This clearly demonstrates that while the new elements were introduced into the digital behaviour as a result of the COVID-19 restrictions, home office and lockdowns, the ongoing trend for the digitalization remained the same in spite of the pandemic.

Obviously, digitization is necessary for many companies to survive in the digital age, but that does not mean that these changes are not necessary and beneficial. Companies and organizations create e-commerce websites, develop apps and platforms, move their document storage to the cloud storage servers and make everything faster and more accessible. It is important to be able to share documents with colleagues, to collaborate on projects and to make the use of mobile devices and technologies more accessible to the workforce in the 21st century. It also means that our workforce deals with technologies that make them mobile, using a unified communication platform that is a digital system and allows them to work more digitally. It has long been the case that supply chains can be digitized, leading to a digital supply chain, but how does that lead to the use of information technology? Digitization and digital transformation are therefore used interchangeably by many people. It is generally seen as a process of transition to a digital enterprise or “digital transformation” and the use of information technology. Attackers and technology companies see them as a threat to retail which is really just digital.

Generally, the reinvention of IT functions for providing digital information can give incumbents a new competitive advantage. These are just some of the opportunities that the digital transformation of the economy in today’s world offers. The digital enterprise of the 21st century is a technology that is highly integrated into new operational processes, policies, and organizations that unleash its transformative capabilities. This merger has become one of the most important aspects of digital transformation in today’s business environment. Tomorrow’s digital businesses are built on technology – companies that are able to create continuous value through the integration of information technology, business intelligence, analytics, data science and analytics. There is a difference be-

tween digital transformation and digitization, and it does not simply mean digitalizing business processes, but generating revenue, improving business, digitalizing data and creating an environment where digital information is at the heart of digital business.

Digital transformation, as we use it today, is the way digital companies move. It is also a way to change the way business is done, business models, processes and even the organization itself. Unambiguously defining these concepts is not only a semantic task, but it is also a question of understanding the difference between digital transformation and digitalization and the use of information technology in business processes. To do this, we need to build many more bridges to develop a digital transformation strategy. One can distinguish a difference between digital transformation and digitalization and the use of information technology in business processes. Digitization is the transition from analogue to digital, digitization of data, influencing the way work is done, the way customers and businesses engage and interact and new sources of digital revenue. It was argued that a digital company is a “digital supply chain” (i.e. the digitization process goes from supply chains to digital supply chains).

6. COVID-19 and awareness about the climate change

According to some recent estimates, about 75 percent of Americans say climate change will affect future generations, but less than 50 percent believe it will affect them personally (Ross et al., 2019). The reason is simple: the temporal extent of climate change is difficult for the public to understand, although today’s greenhouse gas emissions will continue to affect the climate for a long time to come. The time span of the human life is very short and many people simply do not care about what is going to happen to our planet once they are no longer there. In short, the principles of the sustainable development sometimes contradict our human short-sightedness and opportunistic behaviour.

In the same time, it is technology that can create the new opportunity to raise awareness of its impact and address one of the most pressing issues of our time – the impact of global warming on the environment (Hernandez, 2019). Global climate change which affects both human and natural systems, is predicted to be severe and requires strategic action by individuals, both in the private and public sectors, to prevent harmful consequences of climate change for individuals and society as a whole. As greenhouse gas emissions continue to accumulate from human activities such as fossil fuel burning, it has become clear that many of the causes of climate change are anthropogenic, as our lifestyles and consumption choices pollute resources in an unsustainable way. In order to address these problems effectively, it is essential to assess public awareness of climate change and its impact on society (Van Valkengoed et al., 2019). Focusing on the various phenomena at stake in climate change, from individual actions such as the vote on a carbon tax can be a good strategy that would raise the awareness among people who are not necessarily well acquainted with the subject. One of the most interesting attempts how to make climate change an understandable topic for everyone was the Al Gore’s documentary about global warming entitled “An Inconvenient Truth”. Released in 2006, it was one of the triggers that raised public awareness of global warming and climate change in the U.S. (Meyer, 2006). The information depicted in the film usually includes answers to the most frequently asked questions about global warming and climate change. Moreover, the information in the documentary is very relevant today, especially in light of recent events in the U.S. and around the world, such as the Paris Agreement signed in 2015. The survival situations that could be caused by global climate change in the future, including pollution and rising sea levels. Users are trained in how to survive in such situations and what they can do to prevent them from becoming reality.

All of that in mind, one can see how COVID-19 pandemic broadened our perspectives and gave everyone the opportunity to participate in the reversal of climate change by raising awareness and monitoring renewable options in the real world. Even though the coronavirus news surpassed those on the global environmental damage, greenhouse effects and global warming, one can assess the magnitude of the climate change by looking at the effects of the lockdowns and limited economic activity. For example, it was reported that COVID-19 helped to reduce greenhouse gases and pollutants in many countries such as China or the United States (Forster et al., 2020).

COVID-19 pandemic might therefore increase the public interest for the Climate Change Education (ECC) which promotes the use of education as a tool to support the implementation of sustainable development goals, climate adaptation and adaptation strategies. A common question about climate change is what we can do to help in any way, and what can we do about it? Global warming has become one of the most important environmental problems humanity has ever faced. Understanding environmental awareness is a widely discussed concept, but it is an attitude that is concerned with protecting and improving the environment. Awareness of the environment in which we live has become particularly important in recent years, as the scientific community has found that human activities have a direct negative impact on the atmosphere and the environment, as well as on human health (Monroe et al., 2019). In film and media, a great deal of focus is placed on environmental issues, such as climate change and the effects of global warming, but also on human health and environmental protection. The Oscar-winning documentary “Climate Change”, presented by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) and directed by Davis Guggenheim, is one of the most highly-regarded. Other notable films include “Hot Water”, which examines how the issue of global climate change affects the oceans, and “The Great Barrier Reef”, a documentary about the impact of climate change on the Great Wall of China. Film and media have done a lot of research on global warming in different parts of the world. “The Day After Tomorrow” is a 2004 science fiction film that describes the catastrophic effects of the global warming and features high-quality special effects that blur the line between science fiction and science fiction. The film demonstrates the impact of climate change on the Great Wall of China and other parts of the world. Moreover, the film depicts the effects of the global superstorm that would destroy most of the Earth cities and kill the majority of its population (Pandve, 2008).

Hence, COVID-19 pandemic confirmed once again that sustainable development constitutes an important part of the economic and social strategy for the development of regions and countries that is carefully envisaged and followed by many governments (Lisin et al., 2018; Akeel, Khoj, 2020). After the pandemic is over, the climate change and global warming agenda is likely to return to the news and occupy its first lines. The pandemic might last for a year or two but the climate change is long-going and irreversible.

7. Cutting redundant and unnecessary work during quarantine

Another important issue that COVID-19 pandemic made us realize is how redundant some jobs might be. An anthropologist from the London School of Economics and Political Sciences (LSE) David Graeber claims that about half of all social work is useless which can be psychologically destructive in the absence of education, social support, and access to health care (Richards, 2019). He uses a term “bullshit job” to describe a form of employment so meaningless that not even the employees can justify their existence (Graeber, Cerutti, 2018). It is such a meaningless job that no one notices that the person who has the job is gone. A good example of this might be a notorious Spanish civil servant who was out of work for at least six years and used this time to become increasingly dependent on his employer².

In 2013, Graeber wrote an article about so-called “bullshit jobs” that received so much attention that many people wrote to him with their stories and investigated the phenomenon (Graeber, 2013). It criticized the capitalist system that rewards the exploitation of workers and the abuse of their labor in the service of corporate interests. A recent survey in the United Kingdom found that 37% of full-time workers are too busy with their work to make a meaningful contribution to the world. Even the Netherlands was surveyed, and 40% of them found their own jobs useless and redundant (Romeo, 2018). It seems that the category of redundant jobs is self-explanatory and internally homogeneous. This poses an interesting question: how and why pointless work is increasing in the modern world, and what can we do to reverse this trend?

Adopting the “traditional” ethnology of a redundant job would be quite difficult for obvious reasons. Unnecessary jobs in statistics are special cases in which, first, the many difficult and coun-

² BBC (2016). *Spanish civil servant off work unnoticed for six years* (<https://www.bbc.com/news/world-europe-35557725> – accessed October 20 2020).

terintuitive concepts of the subject mask the futility, and, second, because statisticians sometimes literally work with paper and pen on tasks that make no sense. In business, at least, pointless employment is only a little more difficult to find than in other professions, but in business it is as much a part of the job as in any other profession, if not more so. If you do, join a small group of initiates, often including managers who are very good at keeping things under wraps. If so, then redundant jobs inevitably require a lack of knowledge of the work, or at least an inability to understand it. Some jobs are useless because the person doing them believes it, because they can be assumed to know the workers best, and because otherwise they would be too complex to judge. But one thing is clear – some jobs are really redundant jobs, and they are all forms of paid employment that are so bad that not even the employees can justify their existence. The vast majority of the work that the working population does every day could be considered pointless. One can see how the same free-market policies that have made people work in recent decades have also produced millions of higher-paid managers, lawyers, accountants, and lawyers who do nothing useful every day.

COVID-19 pandemic might save us from the redundant and unnecessary Graeber-type jobs. With the strict lockdowns and social distancing people no longer have to commute to their offices and have to work from home. All of a sudden, it becomes very clear which jobs are relevant and which can be eliminated without any serious harm for the economy. All this might be a good impulse for the clearing of the labor market which will be described later in this paper.

8. Pandemic, excessive travel, and business meetings

With all kinds of travel (both business and tourist) being stopped due to the COVID-19 pandemic, telecommunications being rolled out on a large scale, and companies trying to cut costs and balance their budgets, many experts believe that business travel as we know it will be a thing of the past (Urazbaeva et al., 2020; Mheidly et al., 2020). The combination of changing consumer preferences, the rise of mobile devices and the advent of video meetings will permanently reduce the volume of business travel and limit its use for the foreseeable future. Over time, companies will learn that business trips are not only unnecessary, but can also be done by video.

As far as organizations try to make up for their pandemic – the losses it entails – travel budgets are likely to be cut (Wilson, Chen, 2020). Recent COVID-19 pandemic showed that employers should and could rely on video conferencing and other workplace tools to replace face-to-face meetings, which are often the basis for business travel. In addition, employers considering resuming business travel face competing obligations, including the safety of their employees and compliance with a number of evolving laws on return to work and promoting economic growth.

With the outbreak of the pandemic, employers are more reliant on teleconferencing and remote work, he says, but they should remain cautious. Employees still make important business trips and often face a dilemma as to whether to implement their plans or not. Business travel is inevitable, but employers should consider whether long-distance conferencing is really essential when deciding whether to travel. Many organizations are better prepared than they used to be, and 55% of those surveyed said that their companies have introduced new authorization procedures for travel. According to a survey of more than 1,000 business leaders in the United States and Canada, 62% of these organizations said they had changed travel policies and procedures for business meetings and business travel³.

In reality, business travel is a trip specifically for work and does not include daily commutes, leisure trips or vacations. Business travel shows no signs of slowing down, but it is wise to be on the side of caution. Some employers are tightening up the permits for business travel, as business is one of the most important aspects of a company's overall business strategy. Due to the pandemic, non-essential business travel can be restricted in a variety of ways, such as travel to and from work, meetings and events. Business travel is as necessary and beneficial as ever, but it is not without drawbacks such as travel costs, travel delays and travel restrictions. If those savings are reinvested and set aside to build a better relationship, so will it be. A handshake followed by a face-to-face con-

³ Zoho (2020). *Business travel in the time of COVID-19: All you need to know* (<https://www.zoho.com/expense/articles/business-travel-during-covid-19-all-you-need-to-know.html> – accessed on November 29 2020).

versation is still the best way to meet someone and get to know them for many people, rather than reading dozens of emails and text messages, even though COVID-19 might change that too. Tighter agreements offer a return by increasing their conversion rate. Some people preferred to spend 2–3 days meeting colleagues, customers and prospects in the same time zone and space, trying out local food, learning more about culture than participating in several Zoom phone calls even though the costs are not comparable. For workers who feel the need to meet again in the office after a coronavirus pandemic, a virtual meeting can be a great way to connect with colleagues and customers in real time. It is easy to see that even if one sinks into COVID-19, business travel will continue to play an important role in anyone's company's growth strategy. When the COVID-19 pandemic brought global travel to a standstill, business travellers had to change and business travel will return more slowly than leisure.

With regard to the above, one can examine how the industry has recovered from previous disruptions, which segments could return first, how they will differ, why they will differ, and what technologies could replace them permanently. While pandemics continue and travel industry players hope for recovery, our research shows that it will take years for recovery from the crisis to materialize and that business travel will return at the slowest pace as leisure travel. We are also exploring the first major markets to be revisited and seeing how countries with different schedules such as the United States, Canada, Germany, Japan, Australia, New Zealand, and South Africa have fared. One can see that travel companies have fully embraced this reality, as many still predict a return to business travel in the next few years or even decades.

The normalization of video conferencing due to COVID-19 made us more independent of location, but it also means that we are paying a price. Since video communications are becoming an accepted alternative, we can expect fewer "must-do" business trips, as many meetings would be held in person. This option allows us to connect with our suppliers, customers, colleagues and managers wherever they are. Whether one is promoting new business, managing logistics orders for one's supplier, or sharing operational reports, one can immediately participate in a video call and manage logistics, orders and suppliers. Such calls also help to reduce the costs and the more people are using them, because they have to, the more ubiquitous and socially acceptable they become.

9. Enhanced family life due to COVID-19

One of the positive effects of COVID-19 pandemic is that family life is getting more enhanced while the whole families tend to spend more time together during lockdowns (Walsh, 2020). The effects of family bonding, reunification, and closeness are priceless. However, this is only one side of the coin and this works for happy and balanced families. When the family atmosphere is tight and the relationships are not very well, being locked together under one roof might lead to domestic violence and other social problems (Kofman, Garfin, 2020).

Another issue is the relationships between parents and children which also depends on the social status, income, as well as many psychological factors. Moreover, in the 21st century children tend to get independent in the early age and want their own privacy (even though most have to stay with their parents until their 20s due to the high prices of accommodation). One would probably agree that close contact with the virus and its effects might not have a decisive effect on the well-being of parents and children (Ghosh et al., 2020). Moreover, the effects of the pandemic and the associated increased risk can last a lifetime. If one lives in more dangerous areas of infection, her or his chances of contracting and increasing their risk will decrease over time, which will last longer than if they live more in the "risk zone". The relevance of positive affectivity to stress – that is, growth associated with it – was demonstrated, and it is suggested that intrinsic religiosity could help to find meaning in a crisis (Weiss et al., 2019). Negative childhood experiences are known to affect the lives of survivors and their lifespans. Long-term effects include increased risk of death, reduced quality of life, mental health problems, anxiety and depression. In the acute phase of the COVID-19 pandemic, the focus is initially on economic problems (as described above) and possibly the loss of family members and friends. Although their starting point is in the early stages, they are recognized in the long term.

One of the main consequences will be the impact on the health and well-being of children and young adults and their families. At the family level, the pandemic is leading to a reorganization of everyday life. Family members cope with the stress of quarantine and social isolation, and the loss of friends and family members leads to a reduction in social interaction and quality of life for children. A special aspect is online education in which parents have to help their children to use online tools for learning which might be a difficult task. Quarantine is a great burden on parents' shoulders, which means that the time that can be shared with their relatives is extended and parents are called upon to take on educational roles while trying to manage their own lives and their daily professional obligations. Parents face increased pressure to keep jobs and businesses running while caring for school-age children at home while working from home and limiting the resources of caregivers, including grandparents and the larger family, which is constrained. This situation increases the stress and negative emotions that parents experience, with potentially cascading effects on the child's well-being. The restrictions on mobility and social isolation associated with quarantine are a major problem for the psychological well-being of families, although the number of new infections has decreased. This is linked to the fragile health situation in the country which highlights the lack of access to basic health care, especially for pregnant women and children.

All of the above can lead to them experiencing more stress, depression, anxiety and depression in adulthood, as well as depression and anxiety later in life. When children do not find appealing answers to their concerns from adults, they show more suffering, as their higher levels of anxiety, depression and anxiety later in life (Yeasmin et al., 2020). One can only speculate that stressed parents are more likely to find appropriate ways to address their children's questions and fears.

There are many interesting implications that need to be addressed in countries involved in pandemics, especially if we are to promote children's well-being and prevent the spread of diseases such as autism and other mental health problems in children. Parents are concerned that they are not performing at their best at the moment and that their job security and career growth will be affected by the crisis at COVID-19. In addition, many parents are concerned about the impact of the pandemic-related quarantine on their children's health and the reopening of schools. They use their personal resources to deal with the fears and worries of everyday life. Many parents also face great personal challenges during the coronavirus crisis, including grief over the loss of life.

Thence, the pandemic might both ameliorate family life and worsen it, depending on what are the current family terms and values. Nevertheless, living our hectic and busy lives in the information era of the 21st century we might not be used to spending lots of time with our loved ones. COVID-19 put this under strict test and the results are not always satisfactory.

10. Conclusions and implications

Overall, one of the most positive effects of COVID-19 pandemic might be the clearing of the markets including the labor market. Even though the current economic situation is far from the perfect competition, the pandemic might create enough stimuli to induce some profound changes that are likely to remain for long time. The market clearing price is simply the price at which an item can be sold and it is the quantity delivered that corresponds to the quantities required, also called the equilibrium price. In a market where goods are constantly produced and sold, the theory predicts that the market will move at a price where the quantities delivered over a longer period of time correspond to the quantities required. Supply is one thing - the temporary sale of a commodity, but the "market-adjusted price" is a measure of the amount of supply that causes it to be higher than the quantities that are in demand at that time. This can be measured over a period of weeks, months or years to eliminate irregularities caused by the delivery schedules for the production of batches. If the product is always available for retail, the seller has a buffer of inventory.

Market adjustment is by definition the assumption that the quantity offered consistently matches the demand. The equilibrium price is called the market clearing price because at that price the exact quantity that the manufacturer puts on the market is bought by the consumer and nothing is left. If there is an oversupply, wasted production or a shortage, it is not efficient to clean up the

market efficiently. The difference is explained by the fact that we consider a single seller to be a very small part of the market. This is because it is considered a small part of a much larger market with a large number of buyers and sellers. Of course, one could argue that the selling company is willing to keep the price below its average cost in order to generate a positive economic profit. However, if it is clear that no company is able to maintain this cost-price pact, price competition will drive prices to the point where the company will end up making zero economic profit. The same logic can be applied to the labor market where human labor is bought and sold instead of goods. With the effects of COVID-19 described above, there is a reason to believe that the pandemic might cause the market clearing on the labor market. Redundant jobs will be eliminated, incompetent workers will be dismissed, and qualified and motivated workforce will profit from all this situation.

Although the humanity could hardly anticipate the economic impact of the COVID-19 pandemic which has led to a dramatic increase in the number deaths worldwide and to the worsening economic situation, but we have provided preliminary evidence of the impact of policy responses. The impact of policies and measures on outbreaks, as well as the response of government agencies and the private sector to the outbreak presents a very challenging task. Almost all the declines in employment and the changes to the human capital structure and state occurred in the first three quarters of 2020 right after the outbreak, with the exception of a small decline in the second half of the year. Even though younger workers have had a difficult time in a weak labor market of 2020, they have the potential to see huge benefits if the overall unemployment rate is very low and remains so for a long time. But, given the long-term effects of the recession they have endured and what we know about their effects, young workers are likely to suffer negative consequences in the years ahead. If we return to low unemployment, it is vital to allow the labor market to develop in order to help those who have been left behind all too often. This positive trend will only be consolidated if workers' skills and ties to the world of work diminish and long periods of unemployment can have long-term effects.

Various researchers who measure the labor market since the beginning of the COVID-19 crisis often note that the reopening of companies is primarily reminiscent of former employees and new ones, but only some of them. This prevents new hires, forces firms to lay off or suspend workers, and makes them less likely to return to work.

There are still many unknowns in the aftermaths of the COVID-19 pandemic and we are yet to grasp its whole consequences on the human race. Nevertheless, it is clear that one has to consider both its negative and positive effects by trying to find something good in something bad. The recent pandemic will surely prepare the world's markets for the future similar events and the labor force and human resources for being able to adapt quickly and react promptly if needed. Should some other disease or catastrophe of that magnitude strike again, the humankind would know how to react and what algorithms to follow. Moreover, our economic response is going to be adequate and balanced in order not to harm our economies and not to send ripples on the labor market. This is probably the best lesson one can learn from the recent economic and social turmoil.

References

- Abbott, S., Hellewell, J., Munday, J., Funk, S. (2020). The transmissibility of novel Coronavirus in the early stages of the 2019–20 outbreak in Wuhan: Exploring initial point-source exposure sizes and durations using scenario analysis. *Wellcome Open Research*, 5. <https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.15718.1>
- Abrham, J., Strielkowski, W., Vosta, M., Slajs, J. (2015). Factors that influence the competitiveness of Czech rural SMEs. *Agricultural Economics*, 61(10), 450–460. <https://doi.org/10.17221/63/2015-AGRICECON>
- Abrham, J., Wang, J. (2017). Novel trends on using ICTS in the modern tourism industry. *Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics*, 6(1), 37–43. <https://doi.org/10.24984/cjssbe.2017.6.1.5>
- Akeel, H., Khoj, H. (2020). Is education or real GDP per capita helped countries staying at home during COVID-19 pandemic: cross-section evidence? *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(1), 841–852. [http://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.1\(56\)](http://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.1(56))

- Al-Fadly, A. (2020). Impact of COVID-19 on SMEs and employment. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(2), 629–648. [http://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2\(38\)](http://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(38))
- Alon, T. M., Doepke, M., Olmstead-Rumsey, J., Tertilt, M. (2020). *The impact of COVID-19 on gender equality*. NBER Working Paper No. 26947. <https://doi.org/10.3386/w26947>
- Anser, M. K., Yousaf, Z., Usman, M., Yousaf, S. (2020). Towards strategic business performance of the hospitality sector: Nexus of ICT, e-marketing and organizational readiness. *Sustainability*, 12(4), 1346. <https://doi.org/10.3390/su12041346>
- Arewa, A. (2019). Corruption, money laundering and Nigeria's crisis of development. *Journal of Financial Crime*, 6(4), 1133–1145. <https://doi.org/10.1108/JFC-08-2018-0082>
- Bartik, A. W., Bertrand, M., Cullen, Z., Glaeser, E. L., Luca, M., Stanton, C. (2020a). *The impact of COVID-19 on small business outcomes and expectations*. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(30), 17656–17666. <https://doi.org/10.1073/pnas.2006991117>
- Bartik, A., Bertrand, M., Lin, F., Rothstein, J., Unrath, M. (2020b). *Measuring the labor market at the onset of the COVID-19 crisis*. NBER Working Paper No. 27613. DOI: 10.3386/w27613
- Besenyő, J., Kármán, M. (2020). Effects of COVID-19 pandemic on African health, political and economic strategy. *Insights into Regional Development*, 2(3), 630–644. [https://doi.org/10.9770/IRD.2020.2.3\(2\)](https://doi.org/10.9770/IRD.2020.2.3(2))
- Bhusal, M. K. (2020). The world after COVID-19: An opportunity for a new beginning. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 10(5), 735–741. <https://doi.org/10.29322/IJSRP.10.05.2020.p10185>
- Breidbach, C. F., Keating, B. W., Lim, C. (2019). Fintech: research directions to explore the digital transformation of financial service systems. *Journal of Service Theory and Practice*, 30(1), 79–102. <https://doi.org/10.1108/JSTP-08-2018-0185>
- Cai, C. W. (2018). Disruption of financial intermediation by FinTech: a review on crowdfunding and blockchain. *Accounting & Finance*, 58(4), 965–992. <https://doi.org/10.1111/acfi.12405>
- Costa Dias, M., Joyce, R., Postel-Vinay, F., Xu, X. (2020). The challenges for labour market policy during the Covid-19 pandemic. *Fiscal Studies*, 41(2), 371–382. <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12233>
- Cutler, D. M., Summers, L. H. (2020). The COVID-19 pandemic and the \$16 trillion virus. *Jama*, 324(15), 1495–1496. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.19759>
- Dobrowolski, Z. (2020). After COVID-19. Reorientation of Crisis Management in Crisis. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(2), 799–810. [http://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2\(48\)](http://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(48))
- Forster, P. M., Forster, H. I., Evans, M. J., Gidden, M. J., Jones, C. D., Keller, C. A., Lamboll, R., Le Quéré, C., Rogelj, J., Rosen, D., Schleussner, C. F., Richardson, T.B., Schleussner, C. F. (2020). Current and future global climate impacts resulting from COVID-19. *Nature Climate Change*, 10(10), 913–919. <https://doi.org/10.1038/s41558-020-0883-0>
- Foss, N. J. (2020). The impact of the Covid-19 pandemic on firms' organizational designs. *Journal of Management Studies* (article in press). <http://doi.org/10.1111/joms.12643>
- Friedson-Ridenour, S., Pierotti, R. S. (2019). Competing priorities: Women's microenterprises and household relationships. *World Development*, 121, 53–62. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.04.008>
- Fursov, V., Krivokora, E., Strielkowski, W. (2018). Regional aspects of labor potential assessment in modern Russia. *Terra Economicus*, 16(4), 95–115. <https://doi.org/10.23683/2073-6606-2018-16-4-95-11>
- Ghosh, R., Dubey, M. J., Chatterjee, S., Dubey, S. (2020). Impact of COVID-19 on children: Special focus on psychosocial aspect. *Minerva Pediatrica*, 72(3), 226–235. <https://doi.org/10.23736/S0026-4946.20.05887-9>
- Gomber, P., Kauffman, R. J., Parker, C., Weber, B. W. (2018). On the fintech revolution: Interpreting the forces of innovation, disruption, and transformation in financial services. *Information Journal of Management Systems*, 35(1), 220–265. <https://doi.org/10.1080/07421222.2018.1440766>

- Graeber, D. (2013). *On the phenomenon of bullshit jobs: A work rant* (<https://www.strike.coop/bullshit-jobs/> – accessed November 15 2020).
- Graeber, D., Cerutti, A. (2018). *Bullshit Jobs*. New York: Simon & Schuster.
- Gruszczynski, L. (2020). The COVID-19 Pandemic and International Trade: Temporary Turbulence or Paradigm Shift? *European Journal of Risk Regulation*, 11(2), 337–342. <https://doi.org/10.1017/err.2020.29>
- Hernandez, A. A. (2019). An empirical investigation on the awareness and practices of higher education students in green information technology: Implications for sustainable computing practice, education, and policy. *International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (IJSESD)*, 10(2), 1–13. <https://doi.org/10.4018/IJSESD.2019040101>
- Janšto, E., Polakovič, P., Hennyeyová, K., Slováková, I. (2019). Analysis of the current support of e-marketing activities in selected enterprises of the wine sector in Slovakia. *AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics*, 11(4), 31–37. <https://doi.org/10.7160/aol.2019.110403>
- Jones, E., Knaack, P. (2019). Global financial regulation: Shortcomings and reform options. *Global Policy*, 10(2), 193–206. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12656>
- Kalyugina, S., Pyanov, A., Strielkowski, W. (2020). Threats and risks of intellectual security in Russia in the conditions of world globalization. *Journal of Institutional Studies*, 12(1), 117–127. <https://doi.org/10.17835/2076-6297.2020.12.1.117-127>
- Kofman, Y. B., Garfin, D. R. (2020). Home is not always a haven: The domestic violence crisis amid the COVID-19 pandemic. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 12(S1), S199–S201. <http://dx.doi.org/10.1037/tra0000866>
- Koudelkova, P., Strielkowski, W., Hejlova, D. (2015). Corruption and system change in the Czech Republic: Firm-level evidence. *DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review*, 6(1), 25–46. <https://doi.org/10.1515/danb-2015-0002>
- Kramer, M. M. (2016). Financial literacy, confidence and financial advice seeking. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 131, 198–217. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2016.08.016>
- Kulik, L. (2000). Jobless men and women: A comparative analysis of job search intensity, attitudes toward unemployment, and related responses. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 73(4), 487–500. <https://doi.org/10.1348/096317900167173>
- Kupriyanova, M., Dronov, V., and Gordova, T. (2019). Digital divide of rural territories in Russia. *AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics*, 11(3), 85–90. <https://doi.org/10.7160/aol.2019.110308>
- Lemieux, T., Milligan, K., Schirle, T., Skuterud, M. (2020). Initial impacts of the COVID-19 pandemic on the Canadian labour market. *Canadian Public Policy*, 46(S1), S55–S65. <https://doi.org/10.3138/cpp.2020-049>
- Lisin, E., Shuvalova, D., Volkova, I., Strielkowski, W. (2018). Sustainable development of regional power systems and the consumption of electric energy. *Sustainability*, 10(4), 1111. <https://doi.org/10.3390/su10041111>
- McGuire, D., Germain, M. L., Reynolds, K. (2020). Reshaping HRD in light of the COVID-19 pandemic: An ethics of care approach. *Advances in Developing Human Resources*, 1523422320973426. <https://doi.org/10.1177/1523422320973426>
- Meyer, J. M. (2006). Another inconvenient truth. *Dissent*, 53(4), 95–96. <https://doi.org/10.1353/dss.2006.0046>
- Mheidly, N., Fares, M. Y., Fares, J. (2020). Coping with stress and burnout associated with telecommunication and online learning. *Frontiers in Public Health*, 8, 672. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.574969>
- Monroe, M. C., Plate, R. R., Oxarart, A., Bowers, A., Chaves, W. A. (2019). Identifying effective climate change education strategies: A systematic review of the research. *Environmental Education Research*, 25(6), 791–812. <https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1360842>

- Ndiaye, M., Oyewobi, S. S., Abu-Mahfouz, A. M., Hancke, G. P., Kurien, A. M., Djouani, K. (2020). IoT in the wake of COVID-19: A survey on contributions, challenges and evolution. *IEEE Access*, 8, 186821–186839. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3030090>
- Nordstrom, O., Jennings, J. E. (2018). Looking in the other direction: An ethnographic analysis of how family businesses can be operated to enhance familial well-being. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 42(2), 317–339. <https://doi.org/10.1177/1042258717749236>
- Novák, V., Pavlík, J., Stočes, M., Vaněk, J., Jarolímek, J. (2020). Welfare with IoT technology using fuzzy logic. *AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics*, 12(2), 111–118. <https://doi.org/10.7160/aol.2020.120210>
- OECD (2020). *Short-term labour market statistics* (<https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=36324> – accessed November 29 2020).
- Orzes, G., Moretto, A. M., Ebrahimpour, M., Sartor, M., Moro, M., Rossi, M. (2018). United Nations Global Compact: Literature review and theory-based research agenda. *Journal of Cleaner Production*, 177, 633–654. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.230>
- Pandve, H. T. (2008). Awareness regarding global warming: Popular media like films need to contribute. *Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 12(1), 41. <https://doi.org/10.4103/0019-5278.40817>
- Papadopoulos, V., Li, L., Samplaski, M. (2020). Why does COVID-19 kill more elderly men than women? Is there a role for testosterone? *Andrology* (early view paper). <https://doi.org/10.1111/andr.12868>
- Power, K. (2020). The COVID-19 pandemic has increased the care burden of women and families. *Sustainability: Science, Practice and Policy*, 16(1), 67–73. <https://doi.org/10.1080/15487733.2020.1776561>
- Raisiene, A. G., Rapuano, V., Varkuleviciute, K., Stachova, K. (2020). Working from home – Who is happy? A survey of Lithuania’s employees during the COVID-19 quarantine period. *Sustainability*, 12(13), 533. <https://doi.org/10.3390/su12135332>
- Razif, M., Miraja, B. A., Persada, S. F., Nadlifatin, R., Belgiawan, P. F., Redi, A. A. N. P., Lin, S-Ch. (2020). Investigating the role of environmental concern and the unified theory of acceptance and use of technology on working from home technologies adoption during COVID-19. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(1), 795–808. [http://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.1\(53\)](http://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.1(53))
- Rezk, M.R.A., Piccinetti, L., Radwan, A., Salem, N.M., Sakr, M.M., Khasawneh, A. (2020). Egypt beyond COVID-19, the best and the worst-case scenarios. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(2), 147–162. [http://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2\(9\)](http://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(9))
- Richards, H. (2019). Bullshit Jobs. *Journal of Critical Realism*, 18(1), 94–97. <https://doi.org/10.1080/14767430.2019.1572942>
- Romeo, N. (2018). *Nearly half of your reading this have bullshit jobs* (<https://www.thedailybeast.com/nearly-half-of-you-reading-this-have-bullshit-jobs> – accessed November 18 2020).
- Ross, A. D., Rouse, S. M., Mobley, W. (2019). Polarization of climate change beliefs: The role of the Millennial Generation identity. *Social Science Quarterly*, 100(7), 2625–2640. <https://doi.org/10.1111/ssqu.12640>
- Ryan, N. E., El Ayadi, A. M. (2020). A call for a gender-responsive, intersectional approach to address COVID-19. *Global Public Health*, 15(9), 1404–1412. <https://doi.org/10.1080/17441692.2020.1791214>
- Sahin, A. R., Erdogan, A., Agaoglu, P. M., Dineri, Y., Cakirci, A. Y., Senel, M. E., Okyay, R., Tasdogan, A. M. (2020). 2019 novel coronavirus (COVID-19) outbreak: a review of the current literature. *EJMO*, 4(1), 1–7. <http://doi.org/10.14744/ejmo.2020.12220>
- Schlenz, M. A., Schmidt, A., Wöstmann, B., Krämer, N., Schulz-Weidner, N. (2020). Students’ and lecturers’ perspective on the implementation of online learning in dental education due to SARS-CoV-2 (COVID-19): A cross-sectional study. *BMC medical education*, 20(1), 1–7. <https://doi.org/10.1186/s12909-020-02266-3>

- Segota, A., Tomljanovic, M., Hudek, I. (2017). Contemporary approaches to measuring competitiveness—the case of EU member states. *Journal of Economics and Business*, 35(1), 123–150. <https://doi.org/10.18045/zbefri.2017.1.123>
- Short, K. R., Kedzierska, K., van de Sandt, C. E. (2018). Back to the future: Lessons learned from the 1918 influenza pandemic. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, 8, 343. <https://doi.org/10.3389/fcimb.2018.00343>
- Urazbaeva, A. R., Voytenkov, V. A., Groznykh, R. I. (2020). The analysis of COVID-19 impact on the internet and telecommunications service sector through modelling the dependence of shares of Russian companies on the American stock market. *R-Economy*, 6(3), 162–170. <https://doi.org/10.15826/recon.2020.6.3.014>
- Van Valkengoed, A. M., Steg, L. (2019). Meta-analyses of factors motivating climate change adaptation behaviour. *Nature Climate Change*, 9(2), 158–163. <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0371-y>
- Waizenegger, L., McKenna, B., Cai, W., Bendz, T. (2020). An affordance perspective of team collaboration and enforced working from home during COVID-19. *European Journal of Information Systems*, 29(4), 429–442. <https://doi.org/10.1080/0960085X.2020.1800417>
- Walsh, F. (2020). Loss and resilience in the time of COVID-19: Meaning making, hope, and transcendence. *Family Process*, 59(3), 898–911. <https://doi.org/10.1111/famp.12588>
- Wang, B., Liu, Y., Qian, J., Parker, S. K. (2020). Achieving effective remote working during the COVID-19 pandemic: A work design perspective. *Applied Psychology* (early view paper). <https://doi.org/10.1111/apps.12290>
- Weiss, N. H., Nelson, R. J., Contractor, A. A., Sullivan, T. P. (2019). Emotion dysregulation and posttraumatic stress disorder: A test of the incremental role of difficulties regulating positive emotions. *Anxiety, Stress, & Coping*, 32(4), 443–456. <https://doi.org/10.1080/10615806.2019.1618842>
- Wilson, M. E., Chen, L. H. (2020). Re-starting travel in the era of COVID-19: preparing anew. *Journal of Travel Medicine*, 27(5), taaa108. <https://doi.org/10.1093/jtm/taaa108>
- Ye, J. (2020). The role of health technology and informatics in a global public health emergency: practices and implications from the COVID-19 pandemic. *JMIR Medical Informatics*, 8(7), e19866. <https://doi.org/10.2196/19866>
- Yeasmin, S., Banik, R., Hossain, S., Hossain, M. N., Mahumud, R., Salma, N., Hossain, M. M. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on the mental health of children in Bangladesh: A cross-sectional study. *Children and Youth Services Review*, 117, 105277. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105277>
- Yuesti, A., Rustiarini, N. W., Suryandari, N. N. A. (2020). Financial literacy in the COVID-19 pandemic: pressure conditions in Indonesia. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(1), 884–898. [http://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.1\(59\)](http://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.1(59))

Камерализм и философия естественного права

Ирина Геннадьевна Чаплыгина

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия, e-mail: igch@yandex.ru

Цитирование: Чаплыгина, И. Г. (2020). Камерализм и философия естественного права // *Terra Economicus*, 18(4), 97–110. DOI: 10.18522/2073-6606-2020-18-4-97-110

В статье представлена попытка описать интеллектуальную среду, в рамках которой развивался камерализм в XVIII веке. Основной тезис заключается в том, что в этот период оформляются два самостоятельных источника развития экономической мысли: один восходит к схоластике и развивается в русле юриспруденции и моральной философии; другой берет начало от науки государственного управления, отличающейся прикладными задачами и отсутствием теоретической системы. Для сравнения этих двух тенденций главный акцент в исследовании ставится на анализе традиции естественного права и ее эволюции (схоластическая, рационалистическая (Дж. Локк и др.) и социологическая (Д. Юм и др.) школы). Сопоставление разных течений осуществляется по трем ключевым для развития экономической мысли этого периода тезисам: 1) методологический (априоризм – антиаприоризм); 2) антропологический (принятие – перевоспитание естественной природы человека); 3) политический (либерализм – регуляционизм в области экономики). При исследовании проводятся параллели с развитием экономической мысли России в XVIII веке.

Ключевые слова: камерализм; естественное право; априоризм; экономический либерализм; регуляционизм; русская экономическая мысль XVIII века; экономика как научная и учебная дисциплина

Благодарность: Автор выражает благодарность РФФИ за выделение гранта № 19-010-01080 «Камерализм в России XVIII–XIX веков: экономическая практика и академическая дисциплина», позволившего осуществить научное исследование, результаты которого представлены в статье.

Cameralism and the tradition of natural law

Irina G. Chaplygina

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, e-mail: igch@yandex.ru

Citation: Chaplygina, I. G. (2020). Cameralism and the tradition of natural law. *Terra Economicus*, 18(4), 97–110. DOI: 10.18522/2073-6606-2020-18-4-97-110 (In Russian)

The article presents an attempt to describe the intellectual context in which cameralism developed in the 18th century. The main thesis is that during this period two independent sources of economic thought were formed: one goes back to scholasticism and developed in the frame of jurisprudence and moral philosophy; the other one takes its origins in the "science of public administration", which is distinguished by practical goals it set and the absence of a theoretical system. During our investigation, we made a focus on the tradition of natural law and its evolution (the scholastic, rationalist (J. Locke and others) and sociological (D. Hume and others) schools are compared). The comparison of thoughts is carried out by three points, which were essential for the development of economic thought of this period: 1) methodological (apriorism/anti-apriorism); 2) anthropological (acceptance/improvement of the natural properties of man); 3) political (liberalism/regulationism in economics). The study draws parallels with the development of economic thought in Russia in the 18th century.

Keywords: cameralism; natural law; economic liberalism; apriorism; Russian economic thought of XVIII century; economics as a science and as a discipline

Acknowledgements: The study was funded by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) within the framework of the research project № 19-010-01080 "Cameralism in Russia in XVIII–XIX centuries: Economic practice and academic discipline".

JEL codes: B11, B19, B30, B31

Идея обратиться к детальному анализу интеллектуальной среды, в которой развивался камерализм, а конкретнее исследовать, как камерализм соотносится с традицией естественного права, возникла в связи с работой над историей экономической науки в Московском университете во второй половине XVIII века (Чаплыгина, 2019). В литературе, посвященной этому периоду, особенно советской, подчеркивалось противостояние двух тенденций в развитии экономической мысли России. Одна была привнесена немецкими профессорами, приглашенными в российские университеты (Московский, Петербургский, Харьковский)¹. Элементы экономических знаний преподавались в рамках юридических наук (Ф.Г. Дильтей, а затем И.А. Третьяков, С.Е. Десницкий) или исторических (И.Г. Рейхель, который в 1765 году активно участвовал в разработке нового устава Московского университета, по которому должна была быть создана кафедра камералистики). Другая была в значительной степени связана с запросом государства (начиная с эпохи Петра I и далее при Екатерине II) на конкретные знания, которые позволили бы лучшим образом обустроить экономику страны (проекты М.В. Ломоносова, В.Н. Татищева, И.К. Кирилова). Здесь экономическое знание в большой степени рассматривалось как прикладная отрасль естественных наук, чуждая абстрактным теоретическим рассуждениям и нацеленная на сбор информации и практическую направленность знаний (Чаплыгина, 2019).

В Московском университете получили развитие обе эти традиции. Впоследствии это выразилось в структуре учебных курсов, отраженной в Уставе 1804 года. На отделении нравственных и политических наук действовала кафедра дипломатики и политической экономии. В то же время на отделении физических и математических наук существовали две кафедры: минералогии и

¹ По вопросу мобильности и влияния камерализма на Академию наук и Московский университет см.: (Raskov, 2020).

сельского домоводства; технологии и наук, относящихся к торговле и фабрикам. Но и в конце XVIII века существовала эта двойственность: вернувшиеся из Глазго И. Третьяков и С. Десницкий читали на юридическом факультете право; параллельно на факультете медицины курс естественной истории и основ земледелия читался М. Афониним, вернувшимся из Университета Упсалы, где им был успешно прослушан курс экономики Эммануэля Экмана².

В университете периодически возникали конфликты, которые в том числе были вызваны критикой «умозрительности» и отвлеченности знаний, которые преподавались немецкими профессорами. Д.С. Аничков, заменивший И.Г. Фроммана в должности профессора философии, критиковал как своего предшественника, так и упомянутого выше Ф.Г. Дильтея, «поколику основания и начала, на коих они утверждают свои мнения, суть неизвестные, сомнительные и произвольные» (Белявский, 1955: 229). В ответ Рейхель выступил резко против диссертации Аничкова, который призывал отделить знание от веры.

Против априоризма выступал и Третьяков, который критиковал аристотелевскую традицию, продолжавшую развиваться в современных ему работах иностранных профессоров. В частности, он критикует Гейнеция (на которого в том числе опирался в своих лекциях Ф. Дильтей), называя его и других натуральных философов «несносными схоластиками» (Третьяков, 1768: 21) за абстрактность и отвлеченность: «Их натуральная философия состояла в рассуждении одних пустословных атомов и в вымышленных некоторых взаимных вещей состраданиях (*Sympathia*), через которые существо вещей не может изъяснено быть. Она не была наподобие нынешней физики столько основана на математике, столько опытами доказываема и столь к художествам и к механике прилагаема. Вся их математика заключалась в одних остроумных доказательствах, без всякого употребления в коммерции, в мореплавании, астрономии, артиллерии и в механике» (Третьяков, 1768: 25).

При этом Третьяков считается учеником Адама Смита и должен быть приверженцем аналитического метода, в то время как Рейхель, например, был одним из инициаторов создания кафедры камералистики, что на первый взгляд должно означать его приверженность прикладным практическим наукам.

Десницкий также выступал против «схоластической традиции последователей Пуфендорфа» в лице Дильтея, Ланге и Шадена (Белявский, 1955: 237). Сам же старался опираться на материалы этнографических экспедиций, в частности – С. Крашенинникова о Камчатке. Конфликт возник и у Афонина с «реакционными профессорами Конференции Университета», из-за которого он вынужден был покинуть университет в 1777 году (Документы, 1961: 336–337).

Поскольку в этих дискуссиях упоминается и камерализм, и схоластика, и натуральная философия, а позиции диспутантов с трудом поддаются однозначной классификации, возникла необходимость более подробно исследовать интеллектуальный фон, на котором формировалась экономическая наука XVIII века, а также ответить на вопрос о том, насколько камерализм связан или противостоит традиции естественного права.

Камералисты и философы естественного права: принцип демаркации

Как известно, Й. Шумпетер в своей «Истории экономического анализа» разделял авторов XVII–XVIII веков на две автономные группы: схоластов и философов естественного права он объединял в одну группу, а другую назвал «консультантами-администраторами». Шумпетер исходил из того, что это две разные интеллектуальные традиции. Философы естественного права продолжают традицию «школы», схоластов. Даже если они стараются отчаянно с ней бороться, полученное ими классическое образование неизбежно формирует их дискурс. Вторая группа авторов, которую Шумпетер не называет камералистами лишь потому, что не хочет ограничиваться только исследованием германских авторов, объединяет тех, кто на практике занимался управлением экономикой. «Большая их часть не принадлежала к духовенству, поэтому неудивительно, что их книги, доклады, записки значительно отличаются от трудов схоластов и фило-

² Афонин был вынужден покинуть университет, после чего с 1784 по 1788 год он состоял «директором экономии» в Екатеринбургском наместничестве и в Крыму (Документы, 1961: 337).

софов естественного права. Равно как, впрочем, и от профессорских сочинений» (Шумпетер, 2001: 203).

Шумпетер отделяет камералистов от философов естественного права именно в силу различия метода анализа: «Практики не владели приемами систематизации материала и не обладали эрудицией университетских преподавателей, зато они хорошо знали факты и отличались новизной подхода» (Шумпетер, 2001: 203). Исключение здесь составляет только фон Юсти: «в его интеллектуальный арсенал входила вся современная и предшествующая философия естественного права, обогащенная практическим опытом», сочетание «весьма редкое» (Шумпетер, 2001: 217)³.

Также различие двух традиций видно и по структуре экономического образования. Представители традиции естественного права преподавали экономику на кафедрах моральной философии и права⁴. Таким образом, экономика рассматривалась как раздел науки о поведении человека и общества, что согласуется с аристотелевской традицией деления наук. Экономические кафедры в Англии и Шотландии возникнут только в XIX веке⁵.

Камерализм возникает совсем на другой основе, а именно – как наука о государственном управлении. Как пишет Зиг, «камералистика была не новой наукой, а представляла собой ответвление от традиционных учений о государственном управлении (Зиг, 2017: 128). Система подготовки чиновников возникает задолго до появления камерализма, еще в XIII веке. В XVI веке «в Марбурге, Кенигсберге, Вюрцбурге и Граце подготовка чиновников уступала по важности лишь подготовке священнослужителей» (Шумпетер, 2001). По мнению Бэкхауза, наука «о государственном управлении» возникла после Тридцатилетней войны, т.е. в XVII веке (Backhaus, 2009). Первые кафедры камералистики появляются в 1727 году в Пруссии при Фридрихе Вильгельме I. В университете Галле ее возглавил Саймон Петер Гассер⁶, во Франкфурте-на-Одере – Юстус Кристоф Дитмар⁷. Кафедры наук о госуправлении появляются в 1740 году в Университете Упсала⁸, в 1752 году – в Вене⁹, в 1754 – в Неаполе¹⁰. С 1755 года фон Юсти начинает читать лекции по политической экономии в Геттингенском университете.

В то же время строго отделить камерализм от традиции естественного права невозможно, так как целый ряд авторов был тесно связан с этой традицией. Чтобы разобраться в сложных отношениях двух интересующих нас течений, мы выделили три точки демаркации, три теоретических вопроса, и попытались проанализировать взгляды разных авторов по этим вопросам.

Априоризм

Кажется очевидным, что традиция естественного права опирается на априоризм как минимум в большей степени, чем камерализм, многие представители которого, по оценке Й. Шумпетера, даже не умели систематизировать знания, опираясь на детальное знание фактов экономической жизни (Шумпетер, 2001).

Традиция естественного права Новой Европы берет свое начало в схоластике, опирающейся на рационализм и тесно связанной с наследием античных философов, их методами анализа. При этом данная традиция серьезным образом трансформируется в работах Т. Гоббса и Дж. Локка, Г. Гроция и С. Пуфендорфа, которые всячески стремились преодолеть умозрительность и метафизичность схоластической традиции, придать ей основательность с помощью эмпирических методов (Smith, 2012: 6). Реализовать этот «эмпирический уклон» в наибольшей степени полу-

³ Юсти получил образование в австрийской гимназии Терезианской академии, созданной в 1746 году Марией Терезией, в которой готовили чиновников и дипломатов из отпрысков аристократических семей.

⁴ В Болонском университете отдельная кафедра моральной философии существовала уже в XIV веке.

⁵ Правда, с конца XVIII века в Эдинбурге (1792) и Оксфорде (1796) действовали кафедры сельского хозяйства.

⁶ Simon Peter Gasser, 1676–1745.

⁷ Justus Christoph Dithmar, 1677–1737.

⁸ Профессором практической экономики там был Эмануэль Экман. Именно в этот шведский университет в 1761 году будут отправлены из Кенигсберга М.И. Афонин и А.М. Карамышев, где они слушали не только курс К. Линнея, но и «семинары по экономике», за что получили весьма положительный отзыв от Экмана (Документы, 1962: 28–29).

⁹ С 1763 года в Венском университете начнет читать Зонненфельс, но как профессор политических наук (politischen Wissenschaften).

¹⁰ Кафедра коммерции и механики (commercio e meccanica), Антонио Дженовези (см. подр.: Дженовези, 2016).

чится у Юма, который благодаря скептицизму и «ньютоновскому методу» создаст новую версию теории естественного права (Westphal, 2016), ее еще называют социальной теорией естественного права (Smith, 2012; Chernilo, 2013).

И тем не менее априоризм сохранится: в универсальном характере прав, пусть и актуализирующихся в историческом процессе изменения институтов в версии Юма; в позиционировании их первенства, а значит, неизменной данности по отношению к истории и воле суверена. Это то, что сложно найти в текстах камералистов, особенно тех авторов, чьи идеи не смешаны с концепцией естественного права. Тянется эта традиция вплоть до Адама Смита¹¹ и всей классической политэкономии, проявляясь в приверженности априорным методам познания и поиску универсальных, естественных, т.е. совершенно не подвластных ни прихотям истории, ни воле человека законов.

Насколько действительно сохранилась априорность методов познания в рамках новой «рациональной», в терминологии Хабермаса, теории естественного права?

Одним из самых яростных противников схоластической традиции был Томас Гоббс. Его механицизм боролся против телеологизма схоластической мысли, что выразилось в последовательной замене любых упоминаний о внутренних мотивах (интенций) наблюдаемыми причинно-следственными связями. Его материализм боролся против умозрительности и абстрактности схоластических понятий: знания должны опираться только на чувственный опыт.

Но в области политики, в частности в его концепции блага, в его теории государства, материалистический метод неизбежно принял форму сенсуализма. Гоббс выводит социальное из индивидуальных ощущений. Он борется в первую очередь против общих понятий, в частности *finis ultimus* и *summum bonum*. В этом и состоит его борьба с умозрительностью. И это единственное, что действительно удалось разрушить Гоббсу из схоластического наследия, – общие понятия. Его теория общества последовательно индивидуалистична.

Но далее вся концепция Гоббса строится на основе логических выводов из этих первооснов. В результате и концепция государства, и природное состояние «войны всех против всех» приобретают весьма умозрительный характер. В этой связи любопытна цитата Гоббса: «...наука о естественном праве является единственной наукой, необходимой для суверенов и их главных служителей, потому что искусство строительства и сохранения государств, подобно арифметике и геометрии, основано на известных правилах» (Гоббс, 2018: 227). Фактически «теория о естественном праве» играет роль аксиоматики для «искусства строительства государства», подобно базовым принципам, на которых строится арифметика и геометрия. И эти базовые принципы выводятся не чисто эмпирическим методом, а скорее методом интроспекции.

Локк, также стремившийся порвать со схоластикой и опереться на эмпиризм, в области экономической и политической теории не смог этого сделать (Шумпетер, 2001). Его выводы относительно устройства общества являются результатом логических рассуждений (*ratio recta*) из априорных представлений о природе человека.

Пуфендорф, оказавший большое влияние на экономическую мысль как Англии (Backhaus, 2009), так и континента, включая Россию¹², воспроизводил теорию права Гроция¹³, а также опирался на метод Томаса Гоббса (Hont, 1990). Он также стремился бороться со схоластической казуистикой и видел в теории естественного права возможность опереться на очевидные факты человеческих поступков (Smith, 2012). Таким образом, Пуфендорф, так же как и Гоббс, видел в методе индивидуализма возможность преодолеть умозрительность схоластов. В частности,

¹¹ Здесь нужно говорить не только о влиянии философии Д. Юма, но и всего шотландского Возрождения. В частности, на взгляды Ф. Хатчесона, учителя А. Смита, оказала влияние философия Дж. Локка, а также Гершом Кармайкла, Гроция и Пуфендорфа (Smith, 2012). Гершом Кармайкл (Gershom Carmichael, 1672–1729) – первый профессор созданной в 1727 году кафедры моральной философии в университете Глазго, учитель Хатчесона, перенявшего впоследствии у него управление этой кафедрой. На его взгляды в том числе повлиял Дж. Локк. Также под его редакцией и с его комментариями была издана работа Пуфендорфа *De Officio Hominis et Civis*.

¹² На Пуфендорфа опирался Ф. Дильтей в своих лекциях по юриспруденции, а затем и Лангер.

¹³ Сам Гроций опирался на теорию международного права схоластов университета Саламанки.

сравнивая природу человека и животных, он объяснял различие между цивилизацией и варварством. По мнению И. Хонта, этот метод перенял А. Смит для формирования своей концепции развитого общества (Hont, 1990: 253).

Но кто действительно преодолевает априоризм схоластической традиции естественного права – это Дэвид Юм и другие представители шотландского Возрождения. Они попытались применить к общественным наукам «ньютоновский метод», который предполагал наблюдение за реальной природой и раскрытие на основе этих наблюдений простых и общих законов. Используя этот метод для анализа общественной жизни, Дэвид Юм и Адам Фергюсон создали метод социологического объяснения политических и правовых институтов. Именно этот подход получил название «натуральной истории». Он отличался от традиционной теории естественного права тем, что был основан на эмпирических наблюдениях и процедуре обобщения, а не на дедукциях из априорных первопринципов (Smith, 2012).

В теории Юма естественные законы – это правила, которые создаются эволюционно, в ходе приспособления человека к объективным обстоятельствам. В этой связи Юм даже выступает против понятия «естественный закон», но лишь в том смысле, что законы человеческого общества не являются природными, они создаются самими людьми в ходе истории. Тем не менее эти законы носят естественный характер в том плане, что, поскольку они приняты большей частью человечества, из этого следует, что они соответствуют истинной природе человека: «Когда какое-то нововведение является очевидным и абсолютно необходимым, можно с уверенностью сказать, что оно является таким же естественным, как то, что вытекает непосредственно из первоначальных принципов, не прибегая к анализу или рассуждениям» (Smith, 2012).

Опирались ли камералисты на априорный метод, разрабатывая свои системы устройства общества? Сложно давать однозначные оценки по двум причинам: во-первых, большой разнородности авторов, которых относят к камерализму; во-вторых, прикладного характера текстов, а также ассоциирования камерализма не только с теорией, но и с практикой. Априорные первопринципы необходимы при построении стройных логичных теорий. Для практиков критерием отбора является функциональность и эффективность конкретных мер.

Как пишет А. Канха, камерализм впитывал в себя прежде всего успешные практики, причем самые разные, какие только находил вокруг себя, не задумываясь над тем, какие теории лежат в основе этих практик и согласуются ли эти теории между собой. «Конкретные идеи отбирались потому, что они были связаны с конкретными интересующими темами или конкретными проблемами... Этот процесс в первую очередь представлял собой распространение “конкретных камералистских идей”, а не всеобъемлющей системы знаний» (Cunha, 2020: 218). Таким образом, в силу прикладных целей, порождавших эклектизм, камералисты не интересовались фундаментальными основами тех идей, которые они заимствовали. Таким образом, знания носили опытный, прикладной характер. Там редко встречается теория как таковая.

Следствием (и косвенным доказательством) отсутствия теории является невозможность создания единой системы знания в рамках камералистской традиции, которая подчеркивалась еще современниками. Сам Юсти писал о своих предшественниках Гассере и Дитмаре, что их учебники создают впечатление, будто в камеральных науках «абсолютно невозможен по-настоящему взаимосвязанный учебный комплекс... Так, даже камералистика Дарьева состояла исключительно из перечня технических приемов сельского хозяйства и городского ремесла, функционирования полицейского порядка и административных ведомств... Попытки Рюдигера систематизировать камералистику имели своим результатом появление обширного списка всевозможных сфер, которые охватывал предмет: финансы, управление, военное дело, сельское хозяйство, торговля и промышленность, горное дело, математика, право, история, общественный порядок и коммунальное хозяйство, медицина, воспитание, обычаи и религия» (Зиг, 2017: 132).

Л.Г. Якоб¹⁴ также отмечал, что тот объем специализированных знаний, который должны были изучить студенты в рамках камеральных наук, был слишком обширен. Сам он видел единственный путь систематизировать экономическое знание в том, чтобы в основу науки положить теорию политической экономии, а всем специализированным знаниям придать статус дополнительных дисциплин (Зиг, 2017: 132).

В рамках камерализма существовали системы знаний. Ярким примером такой системы являются работы фон Юсти (Nokkala, 2019; Расков, 2019). При этом, как уже говорилось, Шумпетер отмечает необычный симбиоз теории естественного права и практического опыта, характерный для Юсти. В частности, сказывается влияние Вольфа и его концепции естественного права.

Природа человека

Еще одним пунктом, отличающим взгляды камералистов и сторонников естественного права, является степень принятия естественной человеческой природы и формы управления поведением людей.

Камералисты очевидно обеспокоены моральным обликом граждан. Причем как степенью их добродетельности, так и степенью их разумности и трудолюбия. В проектах государственного управления XVIII века, причем широкого круга авторов, часто фигурирует образование и воспитание граждан (Зеккендорф и фон Юсти, Вольф и Дженовези¹⁵): развитие начального, специального и высшего образования, обеспечение добродетельных нравов всех категорий населения, от детей до государственных служащих. Дженовези пишет о том, что это обязанность государственных деятелей – насаждать «этические принципы, которые касаются справедливости и честности сделок, и в особенности цен на вещи и труд, ростовщичества, валютных обменов и проч.» (Дженовези, 2016: 6).

Сложно отделаться от ощущения, особенно при чтении работы Дженовези, получившего теологическое образование и претендовавшего на заведование кафедры теологии, что он отвержен схоластической традиции. Как известно, схоласты большое внимание уделяли морали. Но это было в первую очередь следствием неэкономических задач, которые они ставили перед собой. В текстах экономистов XVIII века мораль в большей степени рассматривается не как самостоятельная цель, а как средство достижения экономического богатства и преуспевания нации. «Бессмысленно пытаться преобразовать ремесла, торговлю, правительство, если нет речи о том, чтобы преобразовать нравственность», – пишет Дженовези (2016: XXXIV).

Правда, у Фомы Аквинского этот аргумент тоже присутствует. Добродетельное поведение служит гарантией установления справедливых цен, а значит, защищает от возможных убытков при совершении обменных сделок. Но эта выгода рассматривается на микроуровне, в рамках золотого правила морали, как защита от «эффекта бумеранга»: не поступай так, как ты не хотел бы, чтобы поступали с тобой (Фома Аквинский, 2004). Мораль не рассматривалась схоластами как фактор экономического развития общества, и в первую очередь потому, что это развитие их не очень интересовало. У камералистов она предстает именно в такой роли.

Можно говорить и о том, что внимательное отношение к вопросам воспитания населения – в целом характерная черта не только камерализма, но и всей доклассической экономической мысли. Например, в древневосточных трактатах авторы писали о взаимосвязи экономики и морали, в первую очередь указывая на влияние разных видов хозяйственной деятельности на моральный облик граждан (Шан Ян, 1993). Поскольку целью государства в первую очередь было укрепление власти и стабильность, то и мораль интересовала как средство для решения вопросов социального мира, патриотизма и лояльности власти. В Новое время, когда с развитием национальных государств и новым политическим укладом начинает формироваться экономическая

¹⁴ Якоб оказал сильное влияние на развитие русской экономической мысли. Он преподавал в Харьковском университете и считался крупнейшим специалистом в области политической экономии. Ученик Канта, профессор университета в Галле, трижды избиравшийся там ректором, автор популярных руководств по философским и политическим наукам. Автор первого в России сочинения по полицейскому праву. В 1809 году был привлечен в качестве эксперта по государственному хозяйству к разработке финансовой реформы Сперанского (Феофанов, 2011).

¹⁵ В России – Рейхель.

политика, т.е. экономическое развитие становится самостоятельной задачей государства (Фуко, 2010), моральный облик становится фактором не только укрепления власти, но и процветания экономики. В частности, у авторов, которых традиционно относят к меркантилистам или «критикам меркантилизма», можно встретить такое же серьезное отношение к «моральному облику» населения. Только у них на первый план выходят чисто экономические добродетели: трудолюбие (А. Серра, Т. Ман, У. Петти) или бережливость (Д. Юм). Другое дело, что у большинства упомянутых авторов не ставится вопрос о сознательном воспитании этих качеств. Тем не менее, акцент на поведении как важном экономическом факторе кардинальным образом отличает и камерализм, и меркантилизм от классической политэкономии, в которой не рассматриваются эти вопросы¹⁶.

Возвращаясь к Дженовези, мы видим, что в его работе воспроизводится и характерное для схоластов двойственное отношение к природе человека, противоречивость этой природы. Он пишет, что человеком управляют две «исконные силы»: сила расточающая (*diffusiva*) и сила концентрирующая (*concentriva*)» (Дженовези, 2016: XVII–XVIII). Забота о том, чтобы эти силы были уравновешены, лежит на государе, который должен с помощью законов сплотить людей в единое социальное тело.

Кажется, что эти идеи переключаются с идеями схоластов, которые никогда не забывали о двойственности природы человека, несущей в себе как отпечаток Бога, так и след первородного греха. Также вспоминаются идеи Гоббса о том, что человеческая природа, предоставленная сама себе, приводит к социальным конфликтам. Из чего делается вывод, что человека нужно контролировать и воспитывать.

Чтобы понять отличия, нужно проанализировать, каким именно образом с точки зрения этих разных авторов необходимо контролировать и преобразовывать природу человека. Но прежде посмотрим, как относятся к человеку сторонники философии естественного права Нового времени.

Традиция естественного права исходит из «естественной природы» человека. Ключевым тезисом, отличающим этих авторов, является идея о том, что эта природа не может быть изменена. Об этом пишет Д. Юм (2004). Это становится ключевым тезисом классической политэкономии и основой ее экономического либерализма (Петти, 1997; Буагильбер, 2004). По всей видимости, это связано с применением метода естественных наук, которые не предполагают воздействие на силы природы с целью их изменения. Не даром эгоизм Гельвеций сравнивал с законом всемирного тяготения. Его нельзя изменить. Поэтому и эгоизм нельзя перевоспитать. Идти против природы – это дорогостоящее и тщетное занятие (Юм, Буагильбер)¹⁷.

Но, как и в естественных науках, силами природы можно пользоваться себе во благо. В этом, как нам кажется, и кроется существенное различие между позицией камералистов и философов естественного права, стремившихся применять «эмпирический метод» естественных наук к социальной реальности: первые заботятся о воспитании человека, вторые – о создании такого правового механизма, который позволит естественные свойства человеческой натуры обернуть на пользу обществу и самому человеку.

Любопытно, что, по мнению Иштвана Хонта, благодаря Гроцию¹⁸ для европейцев Нового времени стало стандартным разделение между двумя типами отношений: основанных на милосердии и доброжелательности или основанных на строгом соблюдении контрактов. Хонт подчеркивает, что знаменитая фраза Смита «...не от милости мясника ожидаем мы...» является проявлением именно этой дихотомии, стандартной для пост-Гроциевой социальной мысли.

¹⁶ Лишь в работе Дж.С. Милля вновь вернутся эти темы, но Милль – не типичный представитель классической политэкономии. На его мировоззрение существенным образом повлияла немецкая философия, в частности И. Кант. В его теории зарождаются элементы будущего институционализма, альтернативного классике направления экономической мысли, берущего свое начало в Германской исторической школе. Отдельная тема – работы Г. Торнтона, где доверию уделяется очень важная роль (Ананьин, 2002). Но его подход кажется нам механистическим – Г. Торнтон видит в финансовых институтах ключ к решению проблемы доверия. Это вполне вписывается в традицию естественного права, о которой будет сказано ниже.

¹⁷ Среди русских экономистов XVIII века Третьяков говорил о невозможности идти против природы: «Во многих обществах от несправедливости рассуждений и от враждебного несогласия между людьми высшего и низшего состояния происходят установления, препятствующие такому натуральному течению; однако оные действительными нигде не бывают; поелику они совсем противны самой натуре человеческой» (Третьяков, 1768: 13).

¹⁸ Гроций оказал непосредственное влияние на Пуфендорфа, Дж. Локка и на всю английскую общественно-правовую мысль.

Не является ли это ключом к различию между традицией естественного права и камерализмом? Камерализм сохраняет черты патриархального восприятия общественных связей, где личные качества, как и личные отношения, играют важную роль в создании социума и поддержке его жизнедеятельности. Традиция естественного права формирует совсем иной принцип построения общества – установление и следование праву. Человеку не нужно быть хорошим, его не нужно перевоспитывать. Он должен просто соблюдать правила.

Может показаться, что нет разницы между воспитанием человека и требованием соблюдать правила. Формально это так. Но вопрос, какова природа правил? Если правила навязываются разумным правителем и подчиняют природу человека – это перевоспитание. Наглядный пример – естественное право схоластов. Его источник – божественное право, из которого на основе разума выводятся законы управления обществом. Таким образом, право противостоит природе человека и корректирует ее.

По теории общественного договора правила вытекают из природы человека, они являются продолжением этой природы, следовательно – это не перевоспитание. Даже у Гоббса его Левиафан – это логическое следствие естественной склонности человека к самосохранению. Также и у Гроция – человек стремится к самосохранению, но поскольку он слаб, то он стремится к объединению в общество. У Юма – создаваемые институты есть не навязывание людям доброй воли мудрого правителя, а воплощение их собственной естественной природы. Та же самая идея питает либерализм Смита – никто, кроме людей не знает, как лучше поступать. Любой правитель, взявший на себя право решать за людей, обременил бы себя излишней заботой, которую бы все равно не смог осуществлять.

Напротив, в текстах Дженовези сохраняется практически схоластический призыв к изменению мотивации: «...каждая семья и каждый человек обязаны стремиться обеспечить всеобщее благо в той мере, в какой им позволяют их возможности». В свою очередь и государство, вводя законы, «насаждает» этические правила, «преобразует нравственность». В текстах фон Юсти законы также выступают как нечто противостоящее человеку. Это противостояние разрешается лишь признанием людьми разумности этих законов, что превращает необходимость подчинения им в свободу (Шумпетер, 2001).

При этом Дженовези придерживался теории общественного договора. В этой эклектичности рассматриваемой нами литературы скрывается вся сложность формирования однозначных оценок этого направления. Мы можем лишь подчеркнуть одно важное различие между версией общественного договора Гоббса, которой следовал Дженовези, и Дж. Локка. Согласно Гоббсу, люди передают свои права суверену, оставляя себе право на жизнь. У Дженовези они передают часть своих прав, но также именно передают их. Концепция общественного договора Локка иная – в ней человек сохраняет за собой все свои права. Государство лишь уполномочено контролировать соблюдение его прав.

Вмешательство в экономику

Камералисты известны именно своим активным вмешательством в экономику. Начиная с работы Иоагана Иоахима Бехера 1667 года «Политические рассуждения об истинных причинах расцвета и заката городов, стран и республик», которая стала доминировать в германской практике почти на протяжении трех поколений, оказав влияние на таких авторов, как фон Хорник, Гассер, фон Юсти (Backhaus, 2009), идея государственного регулирования широкого круга вопросов – от регулирования торговли и любых других форм обмена до активной поддержки торговых компаний, мануфактур и коммерческих домов – стала главной отличительной особенностью камерализма.

Идея состояла в том, что для эффективного развития экономики необходима рационализация хозяйственной деятельности. Эту рационализацию брало на себя государство. Для этого оно собирало информацию о ресурсах страны, о технических новшествах, о возможностях более эффективной организации рынков и отраслей, более эффективной траты доходов, стимулирования производительности труда и т.д. На основе этих знаний оно старалось увеличить отдачу от тех ресурсов, которыми владело.

Список «забот государевых» по теории фон Юсти, который приводит Й. Шумпетер, включает, помимо уже упомянутых вопросов занятости и достойной заработной платы, усовершенствование методов и организации производства, обеспечение поставок сырья и продовольствия, вплоть до рекомендаций мануфактурам, какие товары лучше производить.

Возникает ощущение, что, по мнению этих авторов, если выпустить из рук мудрого правителя экономическую жизнь населения, она неизбежно начнет деградировать. И если у фон Юсти и присутствует идея экономики как автоматически действующего механизма, вплоть до утверждений, что для развития промышленности и торговли достаточно лишь свободы и безопасности, она смешивается с четким пониманием того, что этот механизм часто дает сбой и потому требует постоянного ремонта. И вот тут необходимо государство. Благодаря этому Шумпетер оценивает его позицию как более мудрую в сравнении со Смитом, благодаря большому вниманию к реальному опыту управления национальными экономиками.

Что касается сторонников естественного права, то именно в рамках этой традиции закладываются основы будущего экономического либерализма. Но их либерализм – это не просто свобода. Важную роль играет система законов, которая создает правила игры. Тогда в чем принципиальное отличие от регуляционизма камералистов?

Ключевой особенностью их взглядов было стремление разработать универсальную систему законов, которая бы могла быть введена однажды и больше не требовала значительных корректировок. Она бы сформировала тот самый социальный и экономический механизм, который бы затем мог работать в автономном режиме, не требуя постоянного управления.

Как пишет Амит Рон, для Смита установление законов – это самоцель. Это не управление людьми, это создание дееспособной системы координации их поступков (Ron, 2008). При этом Рон считает, что эта идея восходит к Гроцию. Отсюда вытекает знаменитый механицизм классической политэкономии и экономический либерализм. Управлять надо правом, тогда экономика сможет сама справляться со своими задачами. Камералистам чуждо это понятие механизма. Их управление носит ручной характер, ярким примером которого является иосифизм.

Нам кажется, что есть две фундаментальные причины таких различий. Первая, по всей видимости, состоит в разном понимании природы законов. Для философов естественного права характерно представление об универсальных и неизменных законах, поэтому и система может быть введена однажды и дальше действовать, не требуя корректив. Для камералистов законы – это инструменты, подбираемые под конкретные ситуации. Поэтому они должны постоянно обновляться и меняться, что требует неусыпного контроля и корректировки.

Представление об универсальных законах восходит к схоластической традиции (а далее к античной). Как пишет Шумпетер, либерализм XVIII века, вплоть до либерализма А. Смита, был рожден философией Локка, а та, в свою очередь, восходит к традициям схоластов. Видимо, тут действительно есть некое противостояние схоластической традиции и политики национальных государств. Во-первых, схоласты выступали за контроль над властью, полагая, что закон выше воли суверена. Во-вторых, они всегда сохраняли наднациональную перспективу и законы понимали как наднациональные и высшие по сравнению с национальными интересами. Этот христианский универсализм стал, по всей видимости, основой универсализма «естественного права».

Представители камерализма, которые занимались разработкой политики национальных государств, в значительно большей степени исходили из национальных интересов, национальной специфики.

И в этом плане противостояние русских и германских профессоров второй половины XVIII века в данном вопросе можно интерпретировать действительно как противостояние схоластики (немецкие профессора) и камерализма (русские профессора). Это было обусловлено как иноземным происхождением германских профессоров, которые объективно не владели российской спецификой, так и методологией, согласно которой есть общие принципы, которые выводятся либо априори (юрист Дильтей), либо из натуральной истории (историк Рейхель), но они универсальны. Российские же профессора настаивали на необходимости изучения российской действительности (Татищев, Ломоносов и т.д.).

Вторая фундаментальная причина кроется в различном понимании общего блага. Для того чтобы идея автоматически действующего механизма координации людей была устойчива, необходимо, чтобы общее благо стало пониматься в утилитаристском плане как пресловутое наибольшее счастье для наибольшего числа людей. Для схоластов такой подход неприемлем. Как пишет Шумпетер, схоластическое понятие «общего блага» близко представлениям А. Пигу, суть которого состоит в том, что между общим и частным благом возможно противоречие, и частный интерес должен отступать перед лицом общего интереса.

Шумпетер пишет, что схоластическое понятие общего блага оказало влияние на итальянских экономистов XVIII века. Но также и понятие Wohlfahrtsstaat («государство всеобщего благосостояния») фон Юсти (как и Карафы) является синтезом схоластической концепции общего блага и «специфически утилитаристского понятия счастья». Тем не менее идея автоматического сложения общего блага как суммы частных вряд ли может быть названа характерной для камералистской литературы.

Мы видим, что камерализм – очень сложное комплексное течение, которое переплетается с другими интеллектуальными направлениями XVIII века – и схоластикой, и философией естественного права. Мы попытались провести три логических водораздела и проследить их теоретические истоки для того, чтобы сформировать некий инструмент, который позволил бы лучше ориентироваться во всем богатстве и многообразии экономической литературы XVIII века. Первым различием является априоризм, который в значительной степени сохранялся в рамках традиции естественного права и в дальнейшем получил развитие в виде аналитических методов классической политэкономии. Этот априоризм противостоит прикладному характеру камеральных наук, отсутствию у них интереса к теории как таковой, к раскрытию общих универсальных законов на основе логических выводов из базовых постулатов. Вторым различием является отношение к естественной природе человека: если камералисты заботились о перевоспитании человека, то сторонники традиции естественного права – о создании системы права, которая бы использовала естественные свойства человеческой натуры на благо всего общества. Это различие можно интерпретировать как различие между патриархальной системой отношений, основанной на добродетельном поведении, и новой системой правовых отношений, не требующих от человека иных моральных совершенств, кроме следования установленному закону. Третье различие касается принципов регулирования экономики. Сторонники традиции естественного права стремились разработать универсальную систему законов, которая бы могла быть введена однажды и больше не требовала значительных корректировок, создав автономно действующий экономический механизм. Камералистам было чуждо это понятие механизма. Их управление носило ручной характер. Причины этого различия кроются в отсутствии у камералистов идеи универсальных законов, а также в разном понимании природы общего блага и его связи с индивидуальным благом.

Литература

- Ананьин, О. И. (2002). Макроэкономика Генри Торнтонна, или О чем знали экономисты еще 200 лет назад // *Вопросы экономики*, (12), 110–126.
- Белявский, М. Т. (1955). *М.В. Ломоносов и основание Московского университета*. Москва: Изд-во Московского университета.
- Буагильбер, П. (2004). Рассуждение о природе богатства, денег и налогов, или Об обнаружении ошибочности того суждения, которое господствует в мире относительно этих трех предметов. С. 185–242 / В кн.: А.Г. Худокормов и др. (ред.) *Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков*, Т. 1. М.: Мысль.
- Гоббс, Т. (2018). *Левифан*. М.: Рипол классик.
- Дженовези, А. (2016). *Лекции о торговле, или О гражданской экономике*. М.-СПб.: Издательство Института Гайдара.

- Документы и материалы по истории Московского университета второй половины XVIII века* (1961): В 3 т., Т. 1. М.: Издательство Московского университета.
- Документы и материалы по истории Московского университета второй половины XVIII века* (1962): В 3 т., Т. 2. М.: Издательство Московского университета.
- Зиг, Г. М. (2017). Экономическая политика, финансовое управление и камералистика в Пруссии в XVIII столетии. С. 109–134 / В кн.: С.И. Невский (ред.) *Экономическая история Германии: от эпохи камерализма до наших дней*. М.: ИНФРА-М.
- Петти, У. (1997). Трактат о налогах и сборах / В кн.: Петти, У. *Избранные работы: Трактат о налогах и сборах, Слово мудрым, Разное о деньгах*. М.: Ось-89.
- Расков, Д. Е. (2019). Камерализм книг: переводы Юсти в России XVIII века // *Terra Economicus*, 17(4), 62–79.
- Третьяков, И. (1768). *Слово о происхождении и учреждении университетов в Европе на государственном иждивении*. М.: Издательство Императорского Московского Университета.
- Феофанов, А. М. (2011). Профессора-иностранцы в российских университетах во второй половине XVIII – первой половине XIX века // *Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева*, (8), 186–195.
- Фома Аквинский (2004). Сумма теологии, Часть IIa-IIae, Вопрос 77, 78, с. 131–140 / В кн.: А.Г. Худокормов и др. (ред.) *Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков*, Т. 1. М.: Мысль.
- Фуко, М. (2010). *Рождение биополитики*. М.: Наука.
- Чаплыгина, И. Г. (2019). Камерализм и экономические дисциплины в Московском университете XVIII века // *Terra Economicus*, 17(4), 8–22.
- Шан Ян (1993). *Книга правителя области Шан*. М.: Ладомир.
- Шумпетер, Й. А. (2001). *История экономического анализа*, Т. 1. СПб.: Экономическая школа.
- Юм, Д. (2004). О торговле. С. 185–242 / В кн.: А.Г. Худокормов и др. (ред.) *Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков*, Т. 1. М.: Мысль.
- Backhaus, J. G. (2009). From Wolff to Justi, pp. 1–18 / In: J.G. Backhaus (ed.) *The Beginnings of Political Economy*. Springer.
- Chernilo, D. (2013). *The Natural Law Foundations of Modern Social Theory. A Quest for Universalism*. Cambridge University Press.
- Cunha, A. (2020). Cameralist ideas in Portuguese enlightened reformism: The diplomat Rodrigo de Souza Coutinho and his circuits of intellectual exchange, pp. 201–223 / In: E. Nokkala, N.B. Miller (eds.) *Cameralism and the Enlightenment. Happiness, Governance and Reform in Transnational Perspective*. Routledge.
- Hont, I. (1990). The language of sociability and commerce: Samuel Pufendorf and the theoretical foundations of the “Four-Stages Theory” / In: A. Pagden (ed.) *The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nokkala, E. (2019). *From Natural Law to Political Economy: J.H.G. von Justi on State, Commerce and International Order*. Zürich: Lit.
- Raskov, D. (2020). Cameralism in Eighteenth-Century Russia. Reform, Translations and Academic Mobility, pp. 274–300 / In: E. Nokkala, N.B. Miller (eds.) *Cameralism and the Enlightenment. Happiness, Governance and Reform in Transnational Perspective*. Routledge.
- Ron, A. (2008). Modern natural law meets the market, the case of Adam Smith // *European Journal of Political Theory*, 7, 117–136.
- Smith, C. (2012). Adam Smith and natural law, pp. 24–37 / In: S. Gregg, H. James (eds.) *Natural Law, Economics and the Common Good: Perspectives from Natural Law*. UK: Imprint Academic.
- Westphal, K. R. (2016). *How Hume and Kant Reconstruct Natural Law. Justifying Strict Objectivity without Debating Moral Realism*. Oxford: Clarendon Press.

References

- Ananyin, O. I. (2002). Macroeconomics of Henry Thornton, or What economists knew about 200 years ago. *Voprosy Ekonomiki*, (12), 110–126. (In Russian.)
- Backhaus, J. G. (2009). From Wolff to Justi, pp. 1–18 / In: J.G. Backhaus (ed.) *The Beginnings of Political Economy*. Springer.
- Belyavsky, M. T. (1955). *M.V. Lomonosov and the founding of Moscow University*. Moscow: Publishing house of Moscow University. (In Russian.)
- Boisguillebert, P. (2004). Reasoning about the nature of wealth, money and taxes, or About discovering the fallacy of the judgment that prevails in the world regarding these three objects, pp. 185–242 / In: A.G. Khudokormov et al. (Eds.) *World economic thought. Through the prism of centuries*, Vol. 1. Moscow: Mysl Publ. (In Russian.)
- Chaplygina, I. G. (2019). Cameralism and economic disciplines in the eighteenth-century Moscow University. *Terra Economicus*, 17(4), 80–94. (In Russian.)
- Chernilo, D. (2013). *The Natural Law Foundations of Modern Social Theory. A Quest for Universalism*. Cambridge University Press.
- Cunha, A. (2020). Cameralist ideas in Portuguese enlightened reformism: The diplomat Rodrigo de Souza Coutinho and his circuits of intellectual exchange, pp. 201–223 / In: E. Nokkala, N.B. Miller (eds.) *Cameralism and the Enlightenment. Happiness, Governance and Reform in Transnational Perspective*. Routledge.
- Documents and materials on the history of Moscow University in the second half of the 18th century* (1961). In 3 vols., Vol. 1. Moscow: Moscow University Publ. (In Russian.)
- Documents and materials on the history of Moscow University in the second half of the 18th century* (1962). In 3 vols., Vol. 2. Moscow: Moscow University Publ. (In Russian.)
- Feofanov, A. M. (2011). Foreign professors at Russian universities in the second half of the 18th – first half of the 19th century. *Vestnik of Volzhsky University after V.N. Tatischev*, (8), 186–195. (In Russian.)
- Foucault, M. (2010). *The Birth of Biopolitics*. Moscow: Nauka Publ. (In Russian.)
- Genovesi, A. (2016). *Lectures on Trade, or About the Civil Economy*. Moscow, St. Petersburg: Gaidar Institute Publishing House. (In Russian.)
- Hobbes, T. (2018). *Leviathan*. Moscow: Ripol classic Publ. (In Russian.)
- Hont, I. (1990). The language of sociability and commerce: Samuel Pufendorf and the theoretical foundations of the “Four-Stages Theory” / In: A. Pagden (ed.) *The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hume, D. (2004). On the trade, pp. 185–242 / In: A.G. Khudokormov et al. (Eds.) *World economic thought. Through the prism of centuries*, Vol. 1. Moscow: Mysl Publ. (In Russian.)
- Nokkala, E. (2019). *From Natural Law to Political Economy: J.H.G. von Justi on State, Commerce and International Order*. Zürich: Lit.
- Petty, W. (1997). Treatise of Taxes and Contributions / In: Petty, W. *Selected Writings: Treatise of Taxes and Contributions, Verbum Sapienti, Quantulumcunque Concerning Money*. Moscow: Os-89 Publ. (In Russian.)
- Raskov, D. (2020). Cameralism in Eighteenth-Century Russia. Reform, Translations and Academic Mobility, pp. 274–300 / In: E. Nokkala, N.B. Miller (eds.) *Cameralism and the Enlightenment. Happiness, Governance and Reform in Transnational Perspective*. Routledge.
- Raskov, D. E. (2019). Cameralism of books: Justi’s translations in the eighteenth-century Russia. *Terra Economicus*, 17(4), 62–79. (In Russian.)
- Ron, A. (2008). Modern natural law meets the market, the case of Adam Smith. *European Journal of Political Theory*, 7, 117–136.

-
- Schumpeter, J. A. (2001). *History of Economic Analysis*, Vol. 1. St. Petersburg: School of Economics Publ. (In Russian.)
- Shang Yang (1993). *The Book of Lord Shang*. Moscow: Ladomir. (In Russian.)
- Smith, C. (2012). Adam Smith and natural law, pp. 24–37 / In: S. Gregg, H. James (eds.) *Natural Law, Economics and the Common Good: Perspectives from Natural Law*. UK: Imprint Academic.
- Thomas Aquinas (2004). The sum of theology, part IIa-IIae, question 77, 78, p. 131–140 / In: A.G. Khudokormov et al. (Eds.) *World economic thought. Through the prism of centuries*, vol. 1. Moscow: Mysl Publ. (In Russian.)
- Tretyakov, I. (1768). *A Word on the Origins and Founding of State-Funded Universities in Europe*. Moscow: Publishing house of the Imperial Moscow University. (In Russian.)
- Westphal, K. R. (2016). *How Hume and Kant Reconstruct Natural Law. Justifying Strict Objectivity without Debating Moral Realism*. Oxford: Clarendon Press.
- Zig, G.M. (2017). Economic Policy, Financial Management, and Cameral Studies in Prussia in the 18th century, pp. 109–134 / In: S.I. Nevsky (ed.) *Economic History of Germany: From the Era of Cameralism to Present Day*. Moscow: INFRA-M Publ. (In Russian.)

Поселково-волостные предприятия КНР: успех реформаторов или эволюция традиционного института?

Мария Семеновна Круглова

Институт экономики РАН, г. Москва, Россия, e-mail: mashakruglova999@gmail.com

Цитирование: Круглова, М. С. (2020). Поселково-волостные предприятия КНР: успех реформаторов или эволюция традиционного института? // *Terra Economicus*, 18(4), 111–125. DOI: 10.18522/2073-6606-2020-18-4-111-125

В представленной статье на примере поселково-волостных предприятий (ПВП) в КНР рассматривается историческая преемственность экономических и социальных институтов. В 1980-х годах поселково-волостные предприятия были «локомотивом» экономического роста в сельской местности в КНР. Автор утверждает, что ПВП явились эволюционным вариантом традиционной для Китая системы сельской обороны и круговой поруки – «баоцзя». В статье дан краткий очерк истории внедрения системы баоцзя не только китайскими властями, но и не китайскими управленцами китайской территорией. Утверждается историческая преемственность между баоцзя и ПВП. Опровергается теория о том, что ПВП были спроектированы «сверху» китайскими властями в начале периода реализации политики «реформ и открытости». Напротив, у истоков практики ПВП стояли разовые неформальные договоры среди китайских крестьян, а сами ПВП долгое время воспринимались государством как угроза государственному сектору. В условиях неопределенности начального периода реформ и невозможности эффективного хозяйствования в рамках официального правового поля крестьяне, основываясь на принципе взаимного доверия, воспроизводили привычные для китайской институциональной среды хозяйственные практики. Деятельность внутри аграрных ПВП велась по принципу круговой поруки, привычной для налоговой системы традиционного Китая. Автор заключает, что именно сильная институциональная традиция в итоге послужила основой для быстрого развития ПВП и способствовала экономическому росту, а многовековые институциональные изменения способствовали удачному воспроизводству традиционного института в момент начала политики «реформ и открытости». Также делается вывод о том, что такого рода институт характерен исключительно для китайского этноса. В статье проанализированы тексты интервью, проведенных автором с сотрудниками трех ПВП Гуанси-Чжуанского автономного района.

Ключевые слова: поселково-волостные предприятия; экономический рост; институциональные изменения; баоцзя; реформы; Китай

Благодарность: Автор выражает благодарность В. Эльснеру за критические замечания, высказанные им при обсуждении доклада по теме статьи на ежегодной конференции Европейской ассоциации эволюционной политэкономии (EAERE) 2020; В.В. Вольчику за комментарии к докладу по теме статьи на конференции виртуальных мастерских Международной ассоциации институциональных исследований «Институциональная трансформация экономики: экономические субъекты современной России» (ИТЭ-ЭССР) 2020; а также А.В. Верникову и А.И. Волынскому за идеи и соображения, позволившие скорректировать направление исследования.

Township and village enterprises in China: Reform success or evolution of a traditional institution?

Maria S. Kruglova

Institute of Economics RAS, Moscow, Russia, e-mail: mashakruglova999@gmail.com

Citation: Kruglova, M. S. (2020). Township and village enterprises in China: Reform success or evolution of a traditional institution? *Terra Economicus*, 18(4), 111–125. DOI: 10.18522/2073-6606-2020-18-4-111-125 (In Russian)

The paper explores the historical continuity of economic and social institutions. We use the example of township-village enterprises (TVE) in China to illustrate this continuity. In the 1980s township-village enterprises became the leaders of economic growth in rural China. We argue that TVEs were an evolution form of “baojia”, the traditional Chinese institution of frankpledge and rural defense. The article outlines a brief historical implementation of the baojia both by the Chinese authorities and Japanese administrators of the Chinese territory. Literature presents a popular theory claiming the TVEs were designed “from above”. We reject this theory. We claim that the TVEs were not created by the Chinese authorities at the beginning of “reform and opening up”. On the contrary, the basis for the TVE formation were informal agreements among Chinese peasants. When enterprises first appeared, authorities prohibited them, accusing of threatening the public sector. Due to political uncertainty in the initial period of reforms and the impossibility of effective official management, the peasants reproduced the economic practices familiar to the Chinese institutional environment. They relied on mutual trust customary for the traditional Chinese tax system. We conclude that it was a powerful institutional tradition which became the basis for the rapid development of the TVEs, strongly affected the Chinese economic growth in the early 80th. We also conclude that the baojia institution works effectively only among the Chinese population. The paper analyzes the interviews we conducted with the employees of three TVEs in Guangxi Zhuang Autonomous Region.

Keywords: township-village enterprises; economic growth; institutional changes; baojia; reforms; China

JEL codes: D02, D19, O43, P32

*Китайцы всегда помнят
свою историю и ее уроки.
В этом их сила
(с) С.Д. Круглов*

Введение

Экономические реформы в КНР, начатые руководством страны в 1978 году, как это стало очевидным впоследствии, привели экономику страны к несомненному успеху. Обстоятельства, послужившие успеху реформ, в противовес многим негативным примерам транзита плановых экономик к институтам рынка, стали предметом широкого изучения. Более того, авторы, работающие в русле теории реформ, ссылаются на опыт Китая как на пример лучших практик (Polterovich, 2006). Значительное число исследователей китайских реформ сходится во мнении, что одним и важнейших двигателей китайского экономического роста в начальный период реформ стали так называемые поселково-волостные предприятия (乡镇企业 сяньчжэнь цие, ПВП) (Ito,

2006; Zheng et al., 2017; Karagiannis et al., 2019). ПВП формально являлись объектом коллективной собственности и в отсутствие сформированного правового поля для частных предприятий в первые десятилетия реализации реформ стали ключевым поставщиком товаров и услуг для формирующегося «рыночного» сектора экономики. Начиная с первых же лет своего существования, ПВП показывали небывалые для того периода китайской истории темпы роста. Так, уже к началу 1990-х годов ПВП обеспечивали 40% всего объема промышленного производства КНР и 40% доходов от китайского экспорта (Lin, Yao, 2001: 146–147). Не утратили своего значения ПВП и сейчас: согласно данным Министерства сельского хозяйства КНР, в середине 2018 года насчитывалось порядка 34 млн ПВП, в работе которых была задействована почти четверть всего сельского населения страны (Zong, Chen, 2018).

Значение ПВП для экономики КНР обуславливает интерес широкого круга исследователей к этой теме. С рассмотрением «феномена» ПВП связан ряд ключевых вопросов:

- (1) каковы исторические истоки и обстоятельства зарождения ПВП как широко поддерживаемой практики хозяйствования (Zhu, 2008);
- (2) какова форма собственности ПВП (Zhu, Elbern, 2002; McDonnell, 2004)¹;
- (3) какова роль ПВП в процессе перехода от плановой к рыночной экономике (Che, Qian, 1998);
- (4) как связаны ПВП с двухколейной моделью ценообразования² (Li, 2005)?

Характерной чертой работ китайских исследователей является игнорирование первого вопроса: коллективная форма собственности для ПВП считается неопровержимым фактом (Che, Qian, 1998; Perotti et al., 2014). Что касается исследований, проводимых за пределами КНР, то значительная их часть посвящена именно вопросу определения формы собственности ПВП (Zhu, Elbern, 2002; McDonnell, 2004). Часть работ сравнивает эффективность и потенциал ПВП и государственных предприятий. Авторы этих работ в основном приходят к выводу, что к началу 2000-х годов большая часть ПВП в связи с процессом их приватизации и дерегуляции потеряла свое конкурентное преимущество перед государственными предприятиями (Perotti et al., 2014). Существуют исследования, указывающие на более высокую эффективность ПВП по сравнению с госпредприятиями (Fu, Balasubramanyam, 2003).

Цель предлагаемой статьи заключается в освещении первой из перечисленных проблем: истоков и обстоятельств становления ПВП. К настоящему времени можно выделить две полярные относительно этого вопроса точки зрения. Дискуссионным является вопрос о том, явились ПВП следствием реализации решений КПК или же стали результатом процессов общественной самоорганизации. Согласно одной точке зрения, ПВП явились прямым следствием реализации принятой стратегии реформ и новым элементом экономической системы (Ito, 2006; Полтерович, 2007). В.М. Полтерович использует ПВП как пример стратегии постепенной реализации реформ и как образец так называемых «промежуточных институтов», которые, согласно авторской концепции, конструируются реформаторами «сверху» и имеют целью постепенную трансформацию институциональной среды (Полтерович, 2007: 15). Другая точка зрения представлена в работе А.И. Волынского (Волынский, 2019), где ПВП рассмотрены как пример институциональной самоорганизации «снизу». Имеет место еще одна точка зрения, согласно которой поселковые и сельские предприятия являются прямыми «потомками» общинно-бригадных предприятий 1960–1970-х годов (Guitian, Mundell, 1995).

¹ Проблема определения типа собственности на ПВП – не единственный предмет спора относительно типа собственности в китайской экономике. Проблему структуры собственности в различных сферах экономики Китая поднимают как западные, так и российские исследователи (см., например: Кондрашова, 1998; Vernikov, 2015; Michie, Padayachee, 2020).

² Двухколейная модель ценообразования (Dual-track Price System, 价格双轨制 цзягэ шуангуэйчжи) – важнейший элемент реформы ценообразования в КНР. Модель предполагала сосуществование планового и рыночного механизмов ценообразования в КНР и может рассматриваться как пример эволюционной стратегии реформирования системы ценообразования в плановых экономиках. Первая колея – инструменты государственного планирования и распределения производственных ресурсов между государственными предприятиями, вторая колея – продажа ресурсов государственными предприятиями частному сектору. В рамках второй колеи сосуществовали легальный сектор торговли ресурсами и черный рынок продажи ресурсов государственными предприятиями частному сектору, в том числе и квазичастному (ПВП). О региональных и секторальных типах функционирования модели см.: (Карпов, 2014: 94–104).

Наша гипотеза заключается в том, что в основу организации поселково-волостных предприятий лег традиционный китайский институт круговой поруки *баоцзя*³ (保甲). *Баоцзя* представлял собой институт административного управления и сбора налогов на местах, официально существовавший в разных формах, документально – начиная с периода династии Сун (960–1279) и вплоть до 1949 года. С течением времени институт *баоцзя* претерпел ряд изменений. Если в средневековом Китае он служил задаче поддержания порядка в общине и удобным способом сбора налога, то в XX–XXI веках он постепенно теряет свою полицейскую функцию и превращается исключительно в институт, служащий эффективному ведению сельского хозяйства.

Статья структурирована следующим образом: в первой части рассмотрена проблема возникновения института *баоцзя* с точки зрения институциональной теории. Во второй части рассматривается традиционная форма института *баоцзя*, дается историческая перспектива. В третьей части представлен случай внедрения *баоцзя* японским правительством в Маньчжурии. В четвертой части изучается происхождение ПВП, определяются причины успеха и проблемы дальнейшего развития. В пятой части подводятся итоги проведенного автором в 2012 году интервьюирования работников трех ПВП. В заключение приведены некоторые выводы.

Баоцзя – институт?

Рассматривая ПВП как институт, восходящий в своих истоках к более старому институту *баоцзя*, мы исходим из следующего понимания. Под институтом мы подразумеваем «систему правил, определяющих структуру и последовательность действий, выбираемых группой участников» (Scharpf, 1997: 38). Для понимания институциональной природы *баоцзя* необходимо установить, кто и для каких целей эти правила устанавливает. Относительно этого вопроса полезно сослаться на нобелевского лауреата Элинор Остром. В своих работах она отстаивала точку зрения, что локальные сообщества способны к самостоятельному созданию правил и норм взаимодействий, зачастую более эффективных, чем институты, предложенные правительственными реформаторами (Ostrom, 1990). Остром исследовала проблему управления общими благами (commons), а также их распределения. Она делала упор на описание механизмов взаимодействия сообществ с экосистемой в пределах локализованных границ проживания изучаемых сообществ. По ее мнению, эти механизмы позволяют конкретным группам населения в долгосрочной перспективе гарантировать поддержание целостности экосистемы и обеспечивать урожайность возделываемых культур на занимаемых территориях (Ostrom, 1990). Особенность формирования института *баоцзя* заключается в том, что сообщества и управленцы в данном вопросе «работали» совместно. Формализуя *баоцзя*, китайские реформаторы частично опирались на уже традиционно сложившиеся в обществе практики управления хозяйством.

Исходя из сказанного выше, выдвинем свою концепцию описания ПВП с точки зрения институциональной теории. Как утверждал основатель институционализма Торстейн Веблен в своей работе «Теория праздного класса», институты работают только потому, что установленные в них правила укоренены в преобладающих в обществе привычках мышления и поведения (Веблен, 1984: 200–202). История ПВП и связь этой практики с *баоцзя* доказывают тезис о том, что институт способен формировать предпочтения индивидов и далее воспроизводиться на каждом следующем этапе исторического развития через реализацию предпочтений индивидами. Практика ПВП вписывается в «нарратив» рассмотрения истории институтов как следствие реализации локальными сообществами (состоящими из индивидов с их предпочтениями) способности к институциональной самоорганизации. В этом смысле мы оспариваем идею представления ПВП как примера реализации стратегии последовательных реформ (Полтерович, 2007). Напротив, на раннем этапе реализации реформ центральное правительство стремилось ограничить развитие ПВП, видя в них конкурентов государственному сектору в борьбе за ресурсы производства и рынки сбыта. Так, в коммюнике третьего пленума XI съезда КПК в 1978 года говорилось: «Запрещается практиковать систему домашнего контракта», производственная бригада «должна оставаться неизменной» (Chen, 2017). Долгое время ПВП критиковались и китайскими властями,

³ Под институтом *баоцзя* мы будем понимать все формы организованной круговой поруки, существовавшие на протяжении всех периодов истории Китая.

и учеными как неэффективный и противоречащий целям социалистического развития страны элемент.

Рассматривая ПВП как исторического наследника *баоцзя*, отдельно уточним определение понятия *баоцзя*. В литературе мы видим словосочетание «система *баоцзя*» (Бреус, 2012; Рувинский, Тарасов, 2020), однако словосочетание «институт *баоцзя*» не встречается. Но к чему ближе *баоцзя* для самих китайцев: к системе или к институту? В китайском языке *баоцзя*, как правило, употребляется в словосочетании *баоцзя чжиду* (保甲制度). Сам «*баоцзя*» переводится на русский язык как «защитный панцирь». Название вполне подходит для изначальной функции *баоцзя*, а именно: формирования деревенского ополчения для защиты крестьян от воров и разбойников. Но возникает проблема с переводом понятия «*чжиду*»: можем ли мы переводить «*чжиду*» как «институт»? В китайско-русском словаре на слово «*чжиду*» находим следующие эквиваленты: «система», «режим», «строй», «установление». Термин «институт» отсутствует. Однако если пойти от обратного и подобрать китайский эквивалент для «института», то «*чжиду*» будет первым и единственным. Китайско-английский словарь переводит «*чжиду*» как «institution»⁴. Например, «институт брака» – «*хуньинь чжиду*». Разумеется, нам не приходит в голову переводить это словосочетание как «система брака» или «режим брака». «Институт брака» или «брачное установление» будет предпочтительней. Для сравнения рассмотрим термин «институционализация»: по-китайски «*чжидухуа*» (制度化). «*Хуа*» здесь имеет значение «процесс». Таким образом, мы можем перевести данное словосочетание как «процесс установления» или «процесс укоренения», но никак не «систематизации». «Систематизация» по-китайски звучит иначе: «*ситунхуа*», где «*ситун*» значит «порядок», т.е. «систематизация» подразумевает «процесс упорядочения», но не «процесс установления» или «процесс укоренения». Из этого можно заключить, что в данном конкретном случае было бы точнее переводить «*чжиду*» именно как «институт» или «установление», но не как «система», что чаще всего встречается в литературе⁵.

Стоит оговорить, что мы не можем в полной мере рассматривать *баоцзя* как общинный институт. Община предполагает самоорганизацию населения. Не все исследователи китайской истории соглашались с мнением о том, что в Китае традиционно вообще существовала община. Общинная организация и круговая порука в рамках института *баоцзя* изначально насаждалась властями «сверху» (Рябинин, Рябинина, 2018; Рябинин, 2020). Наше исследование показывает, что в какой-то мере можно согласиться с этим мнением. Действительно, почти во все периоды реформ власти «сверху» поручали чиновникам проследить за тем, чтобы система *баоцзя* была внедрена в деревнях. Однако в XX веке мы видим, что население само начинает воспроизводить данную систему для удобства охраны территории и сельскохозяйственной деятельности.

Баоцзя в исторической перспективе

Рассмотрим же историю становления *баоцзя* в исторической перспективе. Первый китайский историк Сыма Цянь (ок. 135 г. до н. э. – ок. 86 г. до н. э.) в своих «Исторических записках» сообщает, что еще в IV веке до н.э. реформатор Шан Ян поручил разделить всё сельское население на группы по пять и десять семей, проживающих по соседству: «Было приказано [так]. Народу разделиться семьями на пятерки и десятки, которые должны были заботиться друг о друге, отвечать за поступки соседей. Тот, кто не доносил о преступившем [закон], подлежал обезглавливанию» (Сыма, 1996: 88). К сожалению, других документальных подтверждений этому сообщению мы не находим⁶. Но идеи Шан Яна стали идеологической основой династии Цинь (221 до н. э. – 206 до н. э.), первой китайской империи. Поэтому историю народного самоуправления на местах можно проследить с династии Цинь (Tan et al., 2020). Можно предположить, что подобная система была необходима, так как впервые власти были вынуждены контролировать обширные территории, а ресурсов государственного аппарата уже не хватало.

⁴ См.: Большой русско-китайский словарь (<https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E5%88%B6%E5%BA%A6>).

⁵ При переводе на китайский язык названия работы Л. Девиса и Д. Норта «Институциональные изменения и экономический рост США» (Davis, North, 2019) для передачи термина «институциональные» также был использован термин «*чжиду*».

⁶ Отметим, впрочем, что в «Книге правителя области Шан», автором которой принято считать реформатора-легиста Шан Яна, упоминается система круговой поруки и взаимной ответственности за преступления (Книга правителя..., 1993: 144–145).

Однако данная форма организации была несовершенна и во времена династии Хань (206 до н. э. – 220 н. э.) не применялась. Мы не находим упоминания ни о чем подобном в китайских документах того периода. Можно предположить, что от системы отказались, как от проявления жесткой легистской системы, которая противоречила гуманным конфуцианским нормам.

«Изобретателем» *баоцзя* считается сунский реформатор Ван Аньши. На фоне тяжелого экономического состояния династии⁷ он стремился к снижению расходов казны. Чтобы освободить казну от необходимости нанимать сборщиков налогов, полицейских и охранников, Ван Аньши распорядился ввести *баоцзя*. Сто семей делились на кварталы, или *цзя*. Десять *цзя* составляли *бао*. Это было сделано для обеспечения коллективной ответственности в обществе, а позже было использовано для усиления местной обороны. Основой функционирования института была круговая порука. Лидеры каждой *цзя* сменяли друг друга и отвечали за поддержание местного порядка, надзор за работой общины, обеспечение эффективного сбора налогов, организацию гражданских проектов. Эффективность института для правительства заключалась в исключении такого звена как наемные сборщики налогов, полицейские и охранники амбаров (Mote, 2003: 918–919).

Однако при династии Мин (1368–1644) *баоцзя*, официально введенный в 1548 году, не был обязательным, а представлял собой набор правил и инструкции для чиновников на местах, которые ради снижения расходов хотели развернуть систему в своих округах (Brook, 2005: 36).

Официальные династийные хроники династии Мин «Мин ши» утверждают, что «в районах управления *тусы*⁸ создавались *ли* и *цзя* такого же образца [как и в центре страны], в других варварских районах *ли* и *цзя* не создавались» (Фу, 1966). Южные районы традиционно считались близкими к ханьцам, т.е. коренному населению Китая, а также, по мнению китайских чиновников, не были воинственными и не представляли угрозу власти. Конечно, название у *баоцзя* не всегда было единым. «В 14-м году был издан указ всем областям, округам и уездам Поднебесной составить Желтый реестр налогов и повинностей. 110 дворов объединялись в *ли*, 10 дворов, выставивших на повинности самое большое число тяглых и плативших наибольшее количество налогов, назначались старостами. Остальные 100 дворов составляли 10 *цзя*, объединение из 10 дворов называлось *цюаньту*, если дворов было 4–5 или же 6–7, т.е. меньше 10, называлось *баньту*» (Фу, 1966).

Император династии Цин Канси (1654–1722) в 1670 году опубликовал «Священный указ», который содержал «16 священных заповедей». В них император излагал суть конфуцианства. Канси призывал крестьян полностью уплачивать налоги, участвовать в системе круговой поруки, а для этого «группироваться в десятки и сотни, чтобы положить конец разбоям и воровству» (Ван, 1936, цз. 32: 616). Таким образом, мы видим, что в середине XVII века институт *баоцзя* плотно вошел в жизнь народа и представление управленцев об идеальной системе организации сбора налогов и обороне. А самое главное, стал уже частью конфуцианства, т.е. неотъемлемой частью социальной и экономической жизни средневековых китайцев.

Мы можем видеть, что *баоцзя* сохранился и после падения монархии в 1911 году. Сбор налогов и административное управление продолжало осуществляться. Сначала институт был заимствован республиканским правительством, а затем китайскими милитаристами с 1916 по 1928 год.

Первые задокументированные попытки самостоятельного воспроизводства института *баоцзя* датируются уже началом XX века. В период бойкота японских товаров и антияпонских выступлений, которые происходили в рамках патриотического движения Четвертого мая 1919 года, студенты, в основном в Пекине, формировали отряды по принципу *баоцзя*. Десять человек давали присягу о бойкоте японских товаров. Они следили за тем, чтобы остальные девять членов группы держали присягу. Каждый из группы также должен был завербовать девять новобранцев. Предполагалось создание десяти групп по десять человек, которые затем объединялись в сотни. Далее десять сотен формировали бригаду из тысячи человек. Как и в традиционном *баоцзя*, каждая десятка выбирала себе лидера. Есть свидетельства того, что группы из десяти человек были достаточно эффективны в организации бойкота (Wasserstrom, 1997: 66–67).

⁷ Правительство династии Сун было вынуждено выплачивать дань соседним варварским государствам Ляо и Западное Ся.

⁸ *Тусы* – система названия чиновников в районах проживания национальных меньшинств; назначались из числа местного населения. Такая система действовала на территории провинций Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу и Гуанси.

В 1929 году президент Китайской Республики Чан Кайши снова внедряет *баоцзя* (Тяпкина, 1973: 481). Форма организации за время «Нанкинского десятилетия» несколько поменялась, и в итоге в 1939 году были обнародованы «Основные положения организации на всех уровнях уезда». В *баоцзя*, внедряемом Гоминьданом, произошли некоторые отступления от традиционного формата этого института. Не было строго прописано четкое количество элементов в одном *бао*. Самое маленькое *бао* состояло из 6 *цзя*, самое крупное – из 15 *цзя*. В дальнейшем во время гражданской войны эта система показала свою эффективность в местах сопротивления «коммунистического» крестьянства гоминьдановским властям (Майоров, 1988: 155–156). Таким образом, «послереволюционные» власти Китая не старались заменить показавший свою надежность институт, несмотря на то, что он являл собой наследие монархического строя.

Баоцзя в Маньчжоу-го

С течением времени институт *баоцзя* стал устойчивой формой организации до той степени, что иностранные правительства, получавшие власть над китайскими территориями, прибегали к этой практике. Яркий тому пример – внедрение института в Маньчжоу-го. Безусловно, японцы были не первыми иностранцами, воспользовавшимися традиционным институтом. Португальские власти в Макао еще во времена династии Цин пользовались *баоцзя* для управления и сбора налогов (Tang, Sun, 2016).

Идея внедрения института *баоцзя* в деревнях Маньчжоу-го, по-видимому, возникла из-за опасений сотрудников полицейского управления по поводу «бандитских» инцидентов в сельской местности. Еще в мае 1932 года *баоцзя* был упомянут в директивах полицейского управления относительно формирования полицейских сил Маньчжоу-го. Согласно этим руководящим принципам, для сохранения мира на тот момент не было необходимости спешить с улучшением полицейской системы. Скорее, было важно координировать отношения с местными чиновниками и развивать такие существующие институты, как *баоцзя*. Приведем цитату из доклада одного полицейского участка: «Хотя государство Маньчжоу-го уже было основано, последствия [Мукденского]⁹ инцидента все еще до конца не устранены, финансы скудны, а государственные учреждения неразвиты. В частности, в поддержании порядка, независимо от того, насколько искренне японская армия пытается поддерживать его, учитывая ограниченность их географического положения и финансовые расходы, а также подстрекательство антияпонских элементов, многие люди из-за недовольства превратились в бандитов. Российские коммунисты подстрекали их на этот путь, поэтому государство [Маньчжоу-го] существует только на словах, а не на самом деле. В связи с этим было бы лучше полагаться на *баоцзя*, самоуправляемую организацию по сохранению мира, которая имеет долгую историю» (Tomimaga, 1936: 20).

Данный эпизод, как нам кажется, ярко иллюстрирует пример грамотного подхода к управлению «захваченной» территорией. Японские власти в Китае не стремились внедрить свою систему управления, а прибегли к уже устоявшейся и хорошо знакомой местному населению практике.

Стоит также отметить, что *баоцзя* использовался японскими властями в качестве вспомогательной полицейской системы в колониальной администрации Тайваня и арендованной территории Квантун. Они считали, что *баоцзя* может быть внедрен только на территории, где китайцы составляют подавляющее большинство населения. На Тайване японские власти применили систему *баоцзя* только к китайцам. В местах преобладания коренного населения эта система не внедрялась (Tian, 2016). Были попытки реализовать *баоцзя* в подвластных японцам корейских территориях, а также среди японцев, проживающих на китайской и корейской территориях. Однако институт не прижился (Endo, 2013: 44).

Поселково-волостные предприятия – успех правительства или общества?

Среди исследователей китайского экономического чуда существует мнение о том, что реформы явились непреднамеренным следствием случайных событий и трансформаций (Коуз, Ван, 2013). Примером такого случайного события, возможно, и является образование ПВП.

⁹ Мукденский инцидент (18 сентября 1931 г.) – подрыв железной дороги у города Мукден (современный Шэньян). За этим инцидентом последовал захват Маньчжурии японцами.

Первые поселково-волостные предприятия появились частично на основе созданных еще при Мао Цзэдуне народных коммун. История появления первых ПВП сходна с созданием групп, бойкотирующих японские товары. В ноябре 1978 года крестьяне в провинции Аньхой заключили секретный договор. Из договора следовало, что земля, которая на тот момент принадлежала коммуне и одновременно обрабатывалась всеми крестьянами этой коммуны, делилась на участки и распределялась между семьями. Фактически крестьяне пошли на преступление. Никакой подобный раздел земель по законам о коммунах не был предусмотрен. Также в соглашении оговаривалось, что в случае ареста кого-то из участников договора остальные берут на себя ответственность кормить и заботиться о несовершеннолетних детях арестованных. При этом участники договора согласовали, что будут передавать государству ровно столько урожая, сколько указано в плане на их коммуну. Объем «налога» по плану делился поровну между всеми семьями-участниками, а то, что оставалось, крестьяне оставляли себе. На следующий год объем урожая оказался выше ожидаемого, и соседние деревни переняли этот опыт. Узнав об этом, местные чиновники перестали поставлять в эти деревни удобрения. Однако глава провинциального партийного комитета Вань Ли, видя результат, вступился за крестьян. Изучив ситуацию, центральные власти приняли решение распространить этот опыт на весь Китай (Волынский, 2019: 87–88; Chen, 2017).

Изначально реакция как местных, так и центральных властей в отношении практик ПВП была резко негативной, что находило свое отражение как в партийных документах, так и в научных и газетных публикациях. После признания роли ПВП в поглощении излишков рабочей силы в сельской местности центральное правительство стало поддерживать их, но со значительными оговорками. Вплоть до середины 1980-х годов центральное правительство не признавало, что ПВП стали наиболее динамичной и быстро растущей частью китайской экономики (Chen, 2017). И лишь в 1987 году Дэн Сяопин заявил: «поселково-волостные предприятия появились ниоткуда... показали самый невероятный результат, который полностью вышел за рамки наших ожиданий» (Li, 1993). Учитывая реальные исторические обстоятельства, трудно согласиться с высказыванием, схожим с позицией официальной китайской историографии, согласно которой «вначале был Дэн, который лично... создал рыночную экономику... отдавая предпочтение семейным фермам» (Naisbitt, 1994: 244). Заслуга Дэна была в том, что он не продолжил ограничивать деятельность ПВП, а поддержал ее¹⁰.

Обстоятельства становления и развития ПВП, на наш взгляд, позволяют создать нарратив истории китайских экономических реформ, представляющий их не как плод успешной реализации реформаторских стратегий и намеренного создания тех или иных институтов, но, напротив, как результат спонтанного развития событий, при котором общество и отдельные локальные сообщества, а не только государственная и партийная машина, выступали активными творцами истории. Значительная заслуга реформаторов состояла в способности позволить обществу находить институциональные решения самостоятельно. Связь между одобрением (а не созданием) и неодобрением ПВП партией и развитием ПВП очевидна. Мы наблюдаем резкий рост количества ПВП после признания их центральным правительством в 1984 году. Напротив, когда администрация Цзян Цзэмина стала негативно относиться к китайскому предпринимательству, многим такого рода предпринимателям пришлось бросить дело, примерно 30% ПВП обанкротились (Saich, 2001). Это привело к резкому уменьшению количества ПВП в 1994 году. Предположительно в рамках программы подготовки вступления КНР в ВТО активно шел процесс приватизации (Park, Shen, 2003).

Невзирая на вышеописанные негативные тенденции, фактически в стране образовались предприятия, которые привлекали избыточное безработное сельское население. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства сообщает, что в 2010 году в работе ПВП приняли участие 7,55 млн уволенных и безработных в городах и поселках, что на 1,25 млн больше, чем в 2005 году¹¹.

¹⁰ Во время политики «Большого скачка» Дэн Сяопин, наблюдая колоссальную неудачу тотальной коммунизации в рамках народных коммун, также поддерживал мелкое предпринимательство на местах, чем вызвал недовольство лично председателя Мао.

¹¹ *Nongyebu guanyu yinfu "quanguo xizngzhen qiye fazhan "shi'erwu" guihua" de tongzhi* (2011) (http://www.moa.gov.cn/nybg/2011/dliuq/201805/t20180521_6142697.htm – accessed: May 5 2020). (In Chinese.)

Относительный успех ПВП был связан с тем, что в первые десятилетия реформ правительство медлило с проведением полномасштабной рыночной либерализации, в особенности в двух ключевых направлениях: полномасштабная реформа цен откладывалась вплоть до 1992 года, что выражалось в долгом сосуществовании двухколейной системы ценообразования, низкими темпами шел и процесс приватизации государственных предприятий. Половинчатый характер рыночных реформ способствовал спонтанному развитию ПВП: в условиях, когда государство боялось рынка, «рыночные» отношения развивало само общество, реализуя свое стремление к созданию подобия рынка через знакомые и традиционные формы институциональных решений. На фоне усиленного внедрения рыночных механизмов и развития конкуренции, а также официальной ориентации предприятий на иностранный капитал ПВП оказались неконкурентоспособными (Naughton, 2007). Исследования показывают, что с момента принятия закона о компаниях в 1993 году, открывшего путь к своего рода приватизации государственных предприятий и созданию частных компаний, ситуация изменилась. ПВП стали терять конкурентоспособность, и их развитие затормозилось. Однако, несмотря на падение удельной доли ПВП, китайское правительство продолжает отдавать должное роли ПВП. Как заявлено на официальном сайте Министерства сельского хозяйства КНР, «Поселковые и сельские хозяйства – великое творение наших фермеров». После начала политики «реформ и открытости» городские и деревенские предприятия «обрели новую силу», добились огромных успехов, которые привлекли внимание всего мира, и внесли важный исторический вклад в экономическое и социальное развитие Китая (Zong, Chen, 2018).

«...если это предприятие будет принадлежать кому-то одному, остальные не будут заинтересованы в инвестициях и получении прибыли»

Своего рода полевое исследование в некоторой степени позволило раскрыть проблему восприятия ПВП и принципов их функционирования работниками такого типа предприятий. В 2012 году автором статьи было проведено интервьюирование сотрудников одного ПВП в деревне Хуанло и двух ПВП недалеко от Гуйлина в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. Одно предприятие занимается производством риса, два других производят чай разных сортов. Все три хорошо вписаны в туристическую сферу, что позволяет им давать достаточно высокие показатели роста. Нашей целью было установить, кому, по мнению сотрудников, принадлежат данные предприятия.

Мы задавали три вопроса: «Кто управляет предприятием?»; «Помогает ли предприятию государство? Если да, то почему?»; и «Кто распределяет прибыль?». Некоторые сотрудники отказались отвечать на эти вопросы, а те, которые согласились, не назвали своих имен. Однако нам все-таки удалось получить некоторый результат. В общей сложности нам удалось провести интервью 12 работников. На первый вопрос трое руководителей предприятия однозначно ответили, что предприятием управляет деревенский комитет и совет крестьян, трудящихся на этом предприятии. Пятеро сотрудников дали ответ, сходный с ответом руководителей, т.е. указали на то, что предприятием управляет совет крестьян, деревенский комитет или оба объединения. Четверо других после раздумий ответили, что руководитель предприятия, но принадлежит предприятие всем участникам предприятия, т.е. речь идет о коллективной форме собственности. На второй вопрос все респонденты дали однозначный ответ, что государство помогает, потому что эти предприятия развивают сельское хозяйство в регионе, способствуют развитию туризма. Несколько сотрудников ответили, что также помощь осуществляется благодаря тому, что руководитель – член местного партийного комитета.

На последний вопрос все сотрудники ответили, что прибыль распределяет руководство предприятия, а руководители сослались на совет работников. В дальнейшей беседе выяснилось, что все сотрудники в целом довольны своим положением и работой, и они бы не хотели сами владеть таким предприятием, так как это предполагает вложение своих собственных инвестиций, чего каждый из них по отдельности обеспечить не сможет. Пока предприятие принадлежит всем, инвестируют в него все. В случае если это предприятие будет принадлежать кому-то од-

ному, остальные не будут заинтересованы в инвестициях и получении прибыли. По их мнению, так считают все члены их «общины». Это замечание частично подтверждает тезис о том, что причиной упадка и большого количества банкротств ПВП стала именно приватизация.

Фактически ПВП имеют ограниченный доступ к формальным источникам финансирования (Beck et al., 2015). Они в большей степени самофинансируются за счет собственной прибыли. Часто инвестиции приходят из личных средств работников ПВП, членов семьи или друзей руководителей ПВП (Beck et al., 2015). Исследования показывают, что 80% инвестиций в ПВП приходит из самих домохозяйств участников, оставшиеся 20% – это займы. Только 30% этих займов идет из формальных источников, остальные 70% – это займы у соседних или дружественных домохозяйств (Zhu, Elbern, 2002).

Мы не можем полностью гарантировать объективность и достоверность информации, так как она основана на ответах сотрудников, тем более, на тот момент процесс приватизации ПВП уже шел полным ходом. Однако эти ответы частично отражали общественный настрой и желания работников данных предприятий, а также позволили предположить, что форма собственности ПВП не определена полностью, по крайней мере в глазах самих работников предприятия.

Хотим отметить, что значительно усложняет изучение как распределения обязанностей и прибыли, так и самой схемы работы ПВП тот факт, что большая часть договоренностей происходит в устной, а не закреплённой на бумаге форме. Если существует договор, то чаще всего он неполный и не содержит деталей, необходимых для определения прав и обязанностей сторон (Weitzman, Xu, 1994). Дружба воспринимается как главная гарантия удачного ведения дел, поэтому сначала партнеры развивают дружбу, а только потом начинают деловые отношения (Cai, 1990: 201).

Заключение

За многовековую историю институт *баоцзя* прочно вошел в сознание как китайских управленцев, так и китайского народа. Институт *баоцзя* применялся в разное время китайскими властями для оптимизации административного управления и снижения расходов казны. Он позволял структурировать сбор налогов, организовать деревенское самоуправление и оборону. С помощью установленной в *баоцзя* круговой поруки обеспечивалась ответственность каждого из членов группы. Так как *баоцзя* показал свою эффективность, институт внедрялся японским правительством в Маньчжоу-го и португальским правительством в Макао для управления китайским населением. В XX веке институт *баоцзя* в отсутствие другой эффективной системы управления и организации общества стал воспроизводиться некоторыми группами населения самостоятельно.

В 70–80-х годы XX века *баоцзя* послужил базой для создания в Китае поселково-волостных предприятий. На этом примере мы показали, что традиционный институт, существовавший в стране длительное время, в критический период был самостоятельно воспроизведен населением, а соответствие этого института привычным для локальных китайских сообществ нормам кооперации привело к тому, что поселково-волостные предприятия стали локомотивом экономического роста в сельской местности.

Литература

- Бреус, Е. (2012). Идентификационные документы в Китае: история, структура, национальная идея // *Этнографическое обозрение*, (1), 3–23.
- Ван, Ш. (1936). *Полное собрание [сочинений] Ван Янмина*. Шанхай.
- Веблен, Т. (1984). *Теория праздного класса*. М.: Прогресс.
- Волынский, А. (2019). Мезоэкономика роста: изучая опыт китайских реформ // *Вопросы теоретической экономики*, (1), 84–99. DOI: 10.24411/2587-7666-2019-00007
- Карпов, М. В. (2014). *Замкнутый круг «китайского чуда». Рыночные преобразования и проблема реформируемости партийного государства ленинского типа в Китайской Народной Республике*. М., СПб.: Нестор-История.

- Книга правителя области Шан («Шан цзюнь шу») (1993). М.: Ладомир.
- Кондрашова, Л. И. (1998). Госсектор КНР: приватизация или модернизация // *Проблемы Дальнего Востока*, (4), 47–56.
- Коуз, Р., Ван, Н. (2013). *Как Китай стал капиталистическим*. М.: Новое издательство.
- Майоров, В. М. (1988). Баоцзя в гоминьдановском Китае 30–40-х годов // *Вопросы экономики, истории, внешней и внутренней политики стран Дальнего Востока*, (1), 152–160.
- Полтерович, В. М. (2007). *Стратегии институциональных реформ, или Искусство реформ*. М.: ГУ–ВШЭ.
- Рувинский, Р., Тарасов, А. (2020). «Система социального кредита»: исторические предпосылки и доктринальные основания феномена // *Национальная безопасность / nota bene*, (3), 72–88.
- Рябинин А. (2020). Сельская община в Китае: pro et contra. Часть 1 // *Восточный курьер*, (1–2), 57–80.
- Рябинин А., Рябинина И. (2018). Была ли в Китае сельская община? // *Вестник Института востоковедения РАН*, 5(5), 95–109.
- Сыма, Ц. (1996). *Исторические записки: (Шицзи)*, т. VII. М.: Восточная литература РАН.
- Тяпкина, Н. И. (1973). Местная административная система Китайской Республики после установления гоминьдановского режима // *IV НК ОГК: Доклады и тезисы*, (3), 472–483. М.: Наука.
- Фу, В. (1966). История династии Мин, отрывок из гл. 67 «Описание земель» / В кн.: *Аграрная политика минского правительства во второй половине XIV в.* М.: Наука. (http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XVII/Min_Shi/text1.htm – Дата обращения: 23.05.2020).
- Beck, T., Lu, P., Yang, R. (2015). Finance and growth for microenterprise: evidence from rural China // *World Development*, 67, 38–56.
- Brook, T. (2005). *The Chinese State in Ming Society*. (Illustrated ed.) Routledge.
- Cai, J. (1990). A Study on Legislation on TVEs (Xiangzhen qiye lifa yanjiu), pp. 195–207 / In: *Regional Experiment Office of the State Council, Gaige sikao lu (A Collection of Studies on Reform)*. Beijing: Zhongguo Zhuoyue Publishing Corp.
- Che, J., Qian, Y. (1998). Institutional Environment, Community Government, and Corporate Governance: Understanding China's Township–Village Enterprises // *Journal of Law, Economics and Organization*, 14, 1–23.
- Chen, H. (2017). *The institutional transition of China's township and village enterprises: Market liberalization, contractual form innovation and privatization*. London: Routledge. DOI: 10.4324/9781315211305
- Davis, L., North, D. (2019). *Zhidu bianqian yu meiguojingji zengzhang*. Gezhi chubanshe. (In Chinese.)
- Endo, M. (2013). Manshukoku tochi ni okeru hoko seido no rinen to jittai: 'minzoku kyowa'to hochi kokka toiu futatsu no kokuze wo megutte // *Ajia taiheiyo kenkyu*, 20, 37–51. (In Japanese.)
- Fu, X., Balasubramanyam, V. (2003). Township and Village Enterprises in China // *The Journal of Development Studies*, 39, 27–46. DOI: 10.1080/713869424
- Guitian, M., Mundell, R. (Eds) (1995). *Inflation and Growth in China: Proceedings of a Conference Held in Beijing*. China.
- Ito, J. (2006). Economic and institutional reform packages and their impact on productivity: a case study of Chinese township and village enterprises // *Journal of Comparative Economics*, 34, 167–190.
- Karagiannis, N., Cherikh, M., Elsner, W. (2019). *Growth and development of China: A developmental state 'with Chinese characteristics'*. Forum for Social Economics, 1–19.
- Li, B. (1993). Retrospect and prospect of TVEs during the fifteen years of Reform and Opening Up // *Management World*, (5), 156–165.

- Li, P. (2005). The puzzle of china's township-village enterprises: the paradox of local corporatism in a dual-track economic transition // *Management and Organization Review*, (1), 197–224.
- Lin, J., Yao, Y. (2001). Chinese rural industrialization in the context of the East Asian miracle, pp. 143–197 / In: J. Stiglitz, S. Yusuf (eds.) *Rethinking the East Asian miracle*. N.Y.: Oxford University Press.
- McDonnell, B. (2004). Lessons from the Rise and (Possible) Fall of Chinese Township-Village Enterprises // *Wm. & Mary L. Rev.*, 45.
- Michie, J., Padayachee, V. (2020). Alternative forms of ownership and control in the global south // *International Review of Applied Economics*, 34, 1–10.
- Mote, F. (2003). *Imperial China 900–1800* (Illustrated ed.). Harvard University Press.
- Naisbitt, J. (1994). *Global paradox*. New York: Avon.
- Naughton, B. (2007). *The Chinese Economy: Transitions and Growth*. Cambridge: MIT Press.
- Park, A., Shen, M. (2003). Joint Liability Lending and the Rise and fall of China's Township and Village Enterprises // *Journal of Development Economics*, 71(2), 497–531.
- Perotti, E., Sun, L., Zou, L. (2014). State-owned versus township and village enterprises in China // *China's Economic Development*, 33–59.
- Polterovich, V. (2006). *Institutional Reform Strategies: China and Russia*. University Library of Munich, Germany, MPRA Paper.
- Saich, T. (2001). *Governance and Politics of China*. New York: Palgrave.
- Scharpf, F. (1997). *Games Real Actors Play: Actor-Centered Institutionalism in Policy Research*. Boulder, CO, Westview Press.
- Tan, H., Jia, Y., Li, Y., Hou, W. (2020). *China Neighborhood and Village Committee confront the COVID-19 Pandemic; Cultural history and tracking back review of relevant public health events in last century*. Preprints 2020, 2020040447. DOI: 10.20944/preprints202004.0447.v1
- Tang, W., Sun, C. (2016). Disputes and Trials on Properties of Chinese and Portuguese in Macau during Qianlong and Jiaqing Periods: Based on Investigation of Torre Do Tombo Archives // *China Legal Sci.*, (4), 61–88.
- Tian, M. (2016). The Baojia System as Institutional Control in Manchukuo under Japanese Rule (1932–45) // *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 59, 531–554.
- Tominaga, N. (1936). *Hoko seidoron*. Shinkyō: Manshukoku minseibu keimushi. (In Japanese.)
- Vernikov, A. (2015). Comparing the banking models in China and Russia: Revisited // *Studies on Russian Economic Development*, 26, 178–187. DOI: 10.1134/S1075700715020136
- Wasserstrom, J. (1997). *Student Protests in Twentieth Century China: The View from Shanghai* (Illustrated ed.). Stanford University Press.
- Weitzman, M., Xu, C. (1994). Chinese Township-Village Enterprises as Vaguely Defined Cooperatives // *Journal of Comparative Economics*, 18(2), 121–145.
- Zheng, L., Batuo, M., Shepherd, S. (2017). The Impact of Regional and Institutional Factors on Labor Productive Performance – Evidence from the Township and Village Enterprise Sector in China // *World Development*, 96, 591–598.
- Zhu, Q., Elbern, S. (2002). Economic institutional evolution and further needs for adjustments: Township Village Enterprises in China // *ZEF Discussion Papers on Development Policy*, 56, University of Bonn, Center for Development Research.
- Zhu, Z. (2008). Who created China's household farms and township-village enterprises: the conscious few or the ignorant many? / In: G. Solomon (ed.) *Academy of Management Annual Meeting Best Paper Proceedings*. Washington, DC: George Washington University.
- Zong, J., Chen, J. (2018). *Lishi bu hui wangji xiangzhen qiye de zhongyao gongxian – wei jinian woguo gaige kaifang sishi zhounian er zuo* (http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/201807/t20180731_6154959.htm – accessed: May 5 2020). (In Chinese.)

References

- Beck, T., Lu, P., Yang, R. (2015). Finance and growth for microenterprise: evidence from rural China. *World Development*, 67, 38–56.
- Breus, E. (2012). Identity documents in China: history, structure, national idea. *Etnograficheskoe obozrenie*, (1), 3–23. (In Russian.)
- Brook, T. (2005). *The Chinese State in Ming Society*. (Illustrated ed.) Routledge.
- Cai, J. (1990). A Study on Legislation on TVEs (Xiangzhen qiye lifa yanjiu), pp. 195–207 / In: *Regional Experiment Office of the State Council, Gaige sikao lu (A Collection of Studies on Reform)*. Beijing: Zhongguo Zhuoyue Publishing Corp.
- Che, J., Qian, Y. (1998). Institutional Environment, Community Government, and Corporate Governance: Understanding China's Township–Village Enterprises. *Journal of Law, Economics and Organization*, 14, 1–23.
- Chen, H. (2017). *The institutional transition of China's township and village enterprises: Market liberalization, contractual form innovation and privatization*. London: Routledge. DOI: 10.4324/9781315211305
- Coase, R., Wang, N. (2013). *How China Became Capitalist*. Moscow: Novoe izdatelstvo Publ. (In Russian.)
- Davis, L., North, D. (2019). *Zhidu bianqian yu meiguo jingji zengzhang*. Gezhi chubanshe. (In Chinese.)
- Endo, M. (2013). Manshukoku tochi ni okeru hoko seido no rinen to jittai: 'minzoku kyowa'to hochi kokka toiu futatsu no kokuze wo megutte. *Ajia taiheiyo kenkyu*, 20, 37–51. (In Japanese.)
- Fu, W. (1966). History of the Ming Dynasty, an excerpt from Ch. 67 "Description of land" / In: *Agrarian Policy of the Ming Government in the Second Half of the XIV Century*. Moscow: Nauka Publ. (http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XVII/Min_Shi/text1.htm – accessed: May 23 2020). (In Russian.)
- Fu, X., Balasubramanyam, V. (2003). Township and Village Enterprises in China. *The Journal of Development Studies*, 39, 27–46. DOI: 10.1080/713869424
- Guitian, M., Mundell, R. (Eds) (1995). *Inflation and Growth in China*. Proceedings of a Conference Held in Beijing. China.
- Ito, J. (2006). Economic and institutional reform packages and their impact on productivity: a case study of Chinese township and village enterprises. *Journal of Comparative Economics*, 34, 167–190.
- Karagiannis, N., Cherikh, M., Elsner, W. (2019). *Growth and development of China: A developmental state 'with Chinese characteristics'*. Forum for Social Economics, 1–19. DOI: 10.1080/07360932.2020.1747515
- Karpov, M. (2014). *The vicious circle of the "Chinese miracle". Market transformations and the problem of reformability of the Lenin-type party state in the People's Republic of China*. Moscow, Saint Petersburg: Nestor-Istoriya Publ. (In Russian.)
- Kondrashova, L. (1998). Public sector of the PRC: privatization or modernization. *Problemy Dal'nego Vostoka*, (4), 47–56. (In Russian.)
- Li, B. (1993). Retrospect and prospect of TVEs during the fifteen years of Reform and Opening Up. *Management World*, (5), 156–165.
- Li, P. (2005). The puzzle of china's township-village enterprises: the paradox of local corporatism in a dual-track economic transition. *Management and Organization Review*, (1), 197–224. DOI: 10.1111/j.1740–8784.2005.00009.x
- Lin, J., Yao, Y. (2001). Chinese rural industrialization in the context of the East Asian miracle, pp. 143–197 / In: J. Stiglitz, S. Yusuf (eds.) *Rethinking the East Asian miracle*. N.Y.: Oxford University Press.
- Mayorov, V. (1988). Baojia in Kuomintang China in the 1930s – 1940s. *Voprosy ekonomiki, istorii, vneshnej i vnutrennej politiki stran Dalnego Vostoka*, (1), 152–160. (In Russian.)

- McDonnell, B. (2004). Lessons from the Rise and (Possible) Fall of Chinese Township-Village Enterprises. *Wm. & Mary L. Rev.*, 45.
- Michie, J., Padayachee, V. (2020). Alternative forms of ownership and control in the global south. *International Review of Applied Economics*, 34, 1–10. DOI: 10.1080/02692171.2020.1773635
- Mote, F. (2003). *Imperial China 900–1800* (Illustrated ed.). Harvard University Press.
- Naisbitt, J. (1994). *Global paradox*. New York: Avon.
- Naughton, B. (2007). *The Chinese Economy: Transitions and Growth*. Cambridge: MIT Press.
- Park, A., Shen, M. (2003). Joint Liability Lending and the Rise and fall of China's Township and Village Enterprises. *Journal of Development Economics*, 71(2), 497–531.
- Perotti, E., Sun, L., Zou, L. (2014). State-owned versus township and village enterprises in China. *China's Economic Development*, 33–59. DOI: 10.1057/9781137469960_3
- Polterovich, V. (2006). *Institutional Reform Strategies: China and Russia*. University Library of Munich, Germany, MPRA Paper.
- Polterovich, V. (2007). *Institutional Reform Strategies, or The Art of Reforms*. Preprint WP10 / 2007/08. Moscow: SU HSE. (In Russian.)
- Rouvinsky, R., Tarasov, A. (2020). "System of social credit": Historical background and doctrinal foundations of the phenomenon. *National security / nota bene*, (3), 72–88. DOI: 10.7256/2454-0668.2020.3.33021
- Ryabinin, A. (2020). The Rural Community in China: Pro et Contra. Part 1. *Oriental courier*, (1–2), 57–80. (In Russian.)
- Ryabinin, A., Ryabinina, I. (2018). Was there a rural community in China? *Journal of the Institute of Oriental Studies RAS – Vestnik Instituta Vostokovedeniya RAN*, 5(5), 95–109. (In Russian.)
- Saich, T. (2001). *Governance and Politics of China*. New York: Palgrave.
- Scharpf, F. (1997). *Games Real Actors Play: Actor-Centered Institutionalism in Policy Research*. Boulder, CO, Westview Press.
- Sima, Q. (1996). *Records of the Grand Historian ("Shi Ji")*, vol. VII. Moscow: Vostochnaya literatura RAS. (In Russian.)
- Tan, H., Jia, Y., Li, Y., Hou, W. (2020). *China Neighborhood and Village Committee confront the COVID-19 Pandemic; Cultural history and tracking back review of relevant public health events in last century*. Preprints 2020, 2020040447. DOI: 10.20944/preprints202004.0447.v1
- Tang, W., Sun, C. (2016). Disputes and Trials on Properties of Chinese and Portuguese in Macau during Qianlong and Jiaqing Periods: Based on Investigation of Torre Do Tombo Archives. *China Legal Sci.*, (4), 61–88.
- The Book of Lord Shang ("Shang jun shu")* (1993). Moscow: Lodomir. (In Russian.)
- Tian, M. (2016). The Baojia System as Institutional Control in Manchukuo under Japanese Rule (1932–45). *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 59, 531–554.
- Tominaga, N. (1936). *Hoko seidoron*. Shinkyō: Manshukoku minseibu keimushi. (In Japanese.)
- Tyapkina, N. (1973). *Local administrative system of the Republic of China after the establishment of the Kuomintang regime*. Proceedings of IV Scientific conference "Society and State in China". Moscow: Nauka Publ. (In Russian.)
- Veblen, T. (1984). *The Theory of the Leisure Class*. Moscow: Progress Publ. (In Russian.)
- Vernikov, A. (2015). Comparing the banking models in China and Russia: Revisited. *Studies on Russian Economic Development*, 26, 178–187. DOI: 10.1134/S1075700715020136
- Volynskii, A. (2019). Meso-economics of the economic growth: studying the experience of Chinese reforms. *Voprosy teoreticheskoy ekonomiki*, (1), 84–99. DOI: 10.24411/2587-7666-2019-00007 (In Russian.)
- Wang, C. (1936). *Complete Works of Wang Yangming*. Shanghai. (In Chinese.)

- Wasserstrom, J. (1997). *Student Protests in Twentieth Century China: The View from Shanghai* (Illustrated ed.). Stanford University Press.
- Weitzman, M., Xu, C. (1994). Chinese Township-Village Enterprises as Vaguely Defined Cooperatives. *Journal of Comparative Economics*, 18(2), 121–145.
- Zheng, L., Batuo, M., Shepherd, S. (2017). The Impact of Regional and Institutional Factors on Labor Productive Performance – Evidence from the Township and Village Enterprise Sector in China. *World Development*, 96, 591–598.
- Zhu, Q., Elbern, S. (2002). Economic institutional evolution and further needs for adjustments: Township Village Enterprises in China. *ZEF Discussion Papers on Development Policy*, 56, University of Bonn, Center for Development Research.
- Zhu, Z. (2008). Who created China's household farms and township–village enterprises: the conscious few or the ignorant many? / In: G. Solomon (ed.) *Academy of Management Annual Meeting Best Paper Proceedings*. Washington, DC: George Washington University.
- Zong, J., Chen, J. (2018). *Lishi bu hui wangji xiangzhen qiye de zhongyao gongxian – wei jinian woguo gaige kaifang sishi zhounian er zuo* (http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/201807/t20180731_6154959.htm – accessed: May 5 2020). (In Chinese.)

Влияние социальных сетей на качество жизни молодежи. Экспериментальная проверка

Александр Викторович Шмаков

Новосибирский государственный технический университет
Новосибирский государственный университет экономики и управления
г. Новосибирск, Россия, e-mail: a.shmakov@mail.ru

Цитирование: Шмаков, А. В. (2020). Влияние социальных сетей на качество жизни молодежи. Экспериментальная проверка // *Terra Economicus*, 18(4), 126–148. DOI: 10.18522/2073-6606-2020-18-4-126-148

Современные процессы цифровой трансформации экономики приводят к необходимости оценки их воздействия на качество жизни населения. В рамках исследования проведена экспериментальная проверка влияния социальных сетей, возникающего в том числе вследствие изменения ритуалов межличностного взаимодействия, на субъективную оценку качества жизни студенческой молодежи. В эксперименте приняли участие 256 студентов вузов Новосибирска в возрасте от 17 до 20 лет, в том числе 168 женщин, 88 мужчин. Эксперимент проводился с февраля 2019 года по февраль 2020 года, следовательно, на поведении испытуемых не отразились кризисные явления, связанные со снижением курса рубля и пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Для выявления субъективной оценки качества жизни респондентов использовались элементы методики экспресс-диагностики уровня психоэмоционального напряжения О.С. Копиной. В ходе эксперимента обнаружено, что даже кратковременное использование социальных сетей оказывало воздействие на субъективную оценку качества жизни большинства испытуемых. Причем для большинства испытуемых данное воздействие носило негативный характер. Эксперимент также показал, что пребывание в социальных сетях большее негативное воздействие оказывает на субъективную оценку качества жизни со стороны женщин, чем со стороны мужчин. Вид используемой в ходе эксперимента социальной сети (ВКонтакте или Инстаграм) не оказал значимого воздействия на изменение субъективной оценки качества жизни испытуемых, видимо, в силу небольшого интервала времени, в течение которого происходило воздействие социальных сетей на участников эксперимента.

Ключевые слова: цифровая трансформация; социальные сети; качество жизни; субъективная оценка качества жизни; эксперимент; ритуал; благополучие

Благодарность: Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 19-010-00195/20.

The impact of social networks on the quality of life for youth. Experimental verification

Alexandr V. Shmakov

Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk State University of Economics and Management
Novosibirsk, Russia, e-mail: a.shmakov@mail.ru

Citation: Shmakov, A. V. (2020). The impact of social networks on the quality of life for youth. Experimental verification. *Terra Economicus*, 18(4), 126–148. DOI: 10.18522/2073-6606-2020-18-4-126-148 (In Russian)

Digital transformations of the economy are spreading rapidly, thus making it necessary to measure their impact on the quality of life. In this research, we present the findings of the experiment aimed at measuring the impact of social networks on student's subjective quality of life. The experiment involved 256 university students from Novosibirsk aged 17–20 years. The experiment was conducted between February 2019 and February 2020. Hence, the Russian ruble depreciation and the COVID-19 pandemic in Russia did not affect the behavior of the participants. To measure the subjective quality of life, we apply the methodology for diagnosing the level of psychoemotional stress elaborated by O. Kopina. The results of the experiment demonstrate the impact of short-term use of the social networks on the subjective assessment of the quality of life. Negative for most of the participants, this effect is likely to occur due the active use of social networks which leads to a change in the rituals of interpersonal interaction. This experiment shows that the negative effect of using social networks is greater for women than for men. The type of social network used during the experiment (VKontakte or Instagram) has not impacted on the change in the subjective assessment of the participants' quality of life. This was probably due to the short time interval during which the impact of social networks on the participants in the experiment took place.

Keywords: digital transformation; social networks; quality of life; subjective assessment of quality of life; experiment; ritual; well-being

Acknowledgement: The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) within the framework of the research project № 19-010-00195/20.

JEL codes: C91, D31, D63, D91, I31, O39

Введение

Процессы цифровой трансформации экономики, ставшие на данном этапе общемировой тенденцией, приводят к необходимости оценки их ожидаемых последствий, в том числе оценки их влияния на качество жизни населения. Подобные оценки должны стать основой при разработке мер государственного регулирования процессов цифровой трансформации. Этим обусловлена актуальность совершенствования инструментария, используемого при проведении подобных оценок, а также проведение прикладных исследований, связанных с непосредственной оценкой оказываемого воздействия.

Проблеме цифровой трансформации и оценке ее воздействия на качество жизни населения посвящено множество работ, авторами которых стали М. Кастельс (Castells, 1996), Дж. Стиглиц, А. Сен и Ж.-П. Фитусси (Stiglitz et al., 2009), К. Шваб (Schwab, 2016), О. Ковакс (Kovacs, 2018), Р. Боарини и соавторы (Boarini et al., 2012), П. Глюкман и К. Аллен (Gluckman, Allen, 2018), В. Юбенкс (Eubanks, 2018), Д.С. Витте и С.Е. Маннон (Witte, Mannon, 2010) и многие другие исследователи. Проводится оценка воздействия на качество жизни различ-

ных параметров, претерпевающих изменение в результате цифровизации экономики, таких как состояние трудовой и социальной сферы, развитие физкультуры и спорта, уровень безопасности, уровень образования, состояние природной среды, отношения в семье и т.д. Данная работа посвящена оценке воздействия социальных сетей, развитие которых стало одним из элементов цифровой трансформации, на субъективную удовлетворенность людей уровнем реализации жизненных потребностей. Согласно данным Brand Analytics, на ноябрь 2019 года число активных российских авторов в социальных сетях составило 49 млн человек, написавших 1,3 млрд публичных сообщений (Социальные сети в России, 2019). Следует отметить, что существенно более высокая по сравнению с другими возрастными группами активность в использовании социальных сетей свойственна молодежи (Oberst et al., 2017). Развитие социальных сетей не может не отразиться на субъективном восприятии качества жизни со стороны их пользователей.

Развитие сети интернет в целом и социальных сетей в частности приводит к существенному изменению способов удовлетворения человеческих потребностей, вплоть до базовых, связанных с безопасностью, социальностью и половым инстинктом (Павлов, 1973). Если использовать классификацию потребностей по П.В. Симонову, то изменения происходят на всех уровнях: витальные потребности, зоосоциальные потребности и потребности в саморазвитии (Симонов, 2004). Все большая доля взаимодействий, связанных с удовлетворением данных потребностей, осуществляется через социальные сети. Распространение виртуальных коммуникаций вызывает изменения в повседневных привычках и поведении людей (King et al., 2016). Соответственно, меняется характер взаимодействий, снижается доля живого общения, увеличивается количество контактов, меняются используемые ритуальные формы поведения, динамические стереотипы и т.д.

Отдельно подчеркнем воздействие процессов цифровой трансформации на изменение кодекса ритуального поведения, которое, в свою очередь, также отражается на качестве жизни населения. Ритуалы воздействуют на качество жизни посредством реализации функции социализации индивидов, интегрирующей, воспроизводящей и психотерапевтической функций (Шмаков, 2019). Осуществление данных функций способствует удовлетворению потребностей человека, формированию благоприятной психологической обстановки. Особого внимания в силу распространенности явления заслуживает изучение воздействия ритуалов поведения, характерных для общения в социальных сетях. В работе предполагается, что использование социальных сетей оказывает влияние на субъективную оценку качества жизни населением.

Вопрос оценки эффектов, оказываемых социальными сетями на качество жизни людей, давно интересует исследователей, однако на данный момент не имеет однозначного ответа. Например, Дж. Арнетт утверждает, что использование социальных сетей положительно влияет на формирование социального капитала и удовлетворенность жизнью (Arnett, 2014). Данной позиции придерживаются М. Михинян (Michikyan, Kaveri, 2012), Э. Маццони (Mazzoni, Iannone, 2014), К. Сарах с коллегами (Sarah et al., 2013) и ряд других исследователей. Дж. Твенге утверждает обратное: увеличение времени пребывания в социальных сетях приводит к повышению тревожности, росту количества депрессий (Twenge, 2017). Такие авторы, как Дж. Ванг с коллегами (Wang et al., 2015), С. Райх (Reich, 2010) и другие, разделяют опасения относительно того, что использование социальных сетей ставит под угрозу благополучие молодых людей.

Б. Миллер приходит к заключению, что использование социальных сетей оказывает как положительное, так и отрицательное влияние, однако негативное воздействие преобладает (Miller, Munday, 2020). А. Ким с коллегами также отмечает, что формирование социальных сетей может быть связано как с положительными (здоровье, социальное благополучие и т.п.), так и отрицательными (социальная сегрегация и т.п.) результатами (Kim et al., 2020). Э. Вайнштейн пишет, что эмоциональное воздействие социальных сетей может быть как положительным, так и отрицательным; причем в один день может наблюдаться положительное воздействие, а на следующий день – уже отрицательное (Weinstein, 2018). Преобладающая сила воз-

действия зависит от множества факторов: цели использования социальных сетей (Yang, Brown, 2013), психологических особенностей восприятия и т.п., влияние которых также подлежит изучению.

Целый пласт исследований посвящен рассмотрению психологических заболеваний, связанных с использованием сети Интернет и социальных сетей, которые, несомненно, отражаются на качестве жизни (Kitazawa et al., 2019; Kim et al., 2016). В данных исследованиях подтверждена значимая отрицательная корреляция между проблемным использованием интернета и показателями счастья (Steptoe et al., 2008; Tavernier, Willoughby, 2014). Постоянное использование социальных сетей приводит к сильной зависимости от них и неспособности обойтись без использования в течение длительного периода времени (Shaffer et al., 2004; Ko et al., 2009). Отметим, что появляется все больше исследований, направленных непосредственно на оценку воздействия социальных сетей на субъективное благополучие пользователей. Например, О. Чиркочи пришел к выводу о негативном воздействии использования интернета на благополучие (Çirkici, 2016). Однако и в данной области отсутствует единство мнений. Например, К. Хуанг в своих исследованиях показывает отсутствие связи между использованием сети Интернет и психологическим благополучием (Huang, 2010). При этом нужно отметить, что в преобладающем количестве работ чрезмерное использование социальных сетей рассматривается как фактор развития депрессии и снижения благополучия людей (Baker, Algorta, 2016; Best et al., 2014; Vannucci et al., 2017; Primack et al., 2017).

Э. Вайнштейн также отмечает, что использование социальных сетей молодежью не является по сути вредным; различные аспекты общения могут как положительно, так и отрицательно влиять на благополучие (Weinstein, 2018). Воздействие социальной сети во многом зависит от характера общения. Получение лайков и положительных комментариев может повышать самооценку (Ahn, 2011), а отрицательные комментарии, напротив, ее ухудшают. Демонстративное поведение порождает зависть (Krasnova et al., 2013). Социальные сети могут использоваться для самовыражения, обучения, ухаживаний, формирования чувства принадлежности, выстраивания дружеских отношений (Reich et al., 2012) и т.д., что способствует социализации. Но вместе с тем излишняя вовлеченность в негативные обсуждения может становиться источником депрессии (Underwood et al., 2015). А. Пшибыльский и Вайнштейн пишут о нелинейной зависимости между использованием социальных сетей и благосостоянием: умеренное использование может оказывать положительное воздействие (Przybylski, Weinstein, 2017). Однако чрезмерное или неправильное использование социальных сетей может оказать негативное влияние на благополучие и психологическое состояние молодежи (Brooks, 2015; Rosen et al., 2013).

Мы затронули только часть исследований, освещающих воздействие социальных сетей на показатели качества жизни населения. Но даже этот краткий обзор показывает, что упомянутые связи остаются источником разногласий (Pantic, 2014). Это подчеркивает актуальность изучения всевозможных аспектов воздействия социальных сетей на субъективное восприятие качества жизни. В рамках данного исследования ставится цель – провести экспериментальную проверку влияния социальных сетей, возникающего в том числе вследствие изменения кодекса ритуального поведения, на субъективную оценку качества жизни представителей студенческой молодежи. Поскольку, вероятно, сила данного воздействия может зависеть от характера используемой социальной сети и психофизиологических характеристик пользователей социальных сетей, требуется также отразить влияние данных факторов.

Методология исследования

Проводимое оценочное исследование (контролируемый эксперимент) направлено на установление причинной связи между кратковременным пребыванием в социальных сетях и субъективной оценкой представителями студенческой молодежи качества собственной жизни. Осуществлена попытка ответа на вопрос: действительно ли оказываемое социальными сетями воздействие приводит к изменению субъективной оценки качества жизни, и если да, то каков

характер воздействия, а также какова зависимость оказываемого эффекта от вида социальной сети и биологического пола испытуемых?

Необходимо отметить, что проведенное исследование носит характер пилотажного и направлено на получение статистических показателей, имеющих отношение в основном к представленной в эксперименте выборке. Автор избегает претензии на репрезентативность и не стремится распространить выявленные закономерности на всю генеральную совокупность, поскольку данные, полученные в ходе эксперимента, не дают полной уверенности в надежности такого рода обобщений. Соответственно, в работе больше внимания уделяется внутренней валидности эксперимента, а не его внешней валидности или репрезентативности, что характерно для такого рода контролируемых экспериментов. Однако имеется ряд оснований для распространения результатов на значительно большую совокупность, эти основания также будут представлены к рассмотрению в данном разделе.

Следует пояснить, почему в представленной работе существенное место отводится описанию методологии исследования. Дело в том, что при проведении эксперимента используется неслучайная выборка, применяемая по причине ресурсных ограничений; «Статистический дизайн всегда подразумевает компромисс между желаемым и возможным» (Kish, 1987). Однако нужно учесть, что при проведении подобных контролируемых экспериментов, характерных для исследований поведенческих экономистов, возникает общая для большинства неслучайных выборок проблема: группа испытуемых является малой и нерепрезентативной частью интересующей совокупности. Смещение, связанное с отбором в представленной неслучайной выборке, создает риск, что распределение рассматриваемых переменных в выборке будет сильно отличаться от их распределения в целевой совокупности. Вместе с тем при проведении экспериментальных исследований, в отличие от описательных, особый интерес представляет получение данных, которые наиболее полно представляют концепты, позволяющие тестировать теории, и гораздо менее важны ошибки покрытия (Groves, 1989). Чтобы увеличить уровень доверия к исследованию, теоретиками рекомендуется обеспечить максимальный уровень транспарентности: максимально полно описать допущения, в рамках которых было осуществлено исследование, а также эффекты, возникающие в результате данных допущений, способные повлиять на точность оценок. Подробное описание допущений и применяемых методов в нашем случае является основой для понимания другими исследователями применимости получаемых оценок и позволят им произвести оценку рисков, связанных с использованием полученных в исследовании выводов.

Поставленные в рамках исследования задачи позволяют использовать неслучайную выборку, поскольку в рамках работы не предполагается осуществление оценки характеристик генеральной совокупности; требуется лишь определить, действительно ли различия внутри экспериментальной группы до и после эксперимента отличны от нуля. То есть основной вопрос заключается в том, изменилось ли состояние экспериментальной группы по переменной «субъективная оценка качества жизни» в результате воздействия, оказанного изменением переменной «кратковременное использование социальной сети». Традиционно это проверяется статистическим тестированием. Мы также использовали для проверки гипотез методы параметрической и непараметрической статистики: для проверки соответствия распределения экспериментальных данных нормальному распределению использовался тест Колмогорова – Смирнова; проверка гипотезы о неслучайном характере изменения экспериментальных данных проводилась с использованием t-критерия для парных выборок и критерия знаковых рангов Уилкоксона; для определения степени воздействия сопутствующих переменных использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена, оценка значимости воздействия сопутствующих переменных проведена с использованием теста Манна – Уитни. Все расчеты проведены в пакете SPSS.

Сделаем несколько методологических замечаний относительно возможности распространения результатов эксперимента на большую совокупность. Можно обоснованно предположить, что данные, полученные на основе использованной в исследовании выборки, пригодны для распространения статистических выводов на более широкую совокупность, поскольку валид-

ность данных выводов обеспечивается достоверностью заложенного в исследование допущения о высокой гомогенности генеральной совокупности по признаку «характер протекания базисных психологических процессов». При проведении экспериментов, связанных с изучением психологического восприятия человека, принято отталкиваться от следующей предпосылки: для психофизиологических процессов, затрагивающих восприятие, оценки экспериментов незначительно зависят от смещения, связанного с отбором. Поэтому весьма вероятно, что эффект от просмотра социальных сетей, оказываемый на представителей используемой выборки, будет аналогичным и для генеральной совокупности. Результаты эксперимента, скорее всего, будут внешне валидными, поскольку смещения, связанные с использованием неслучайной выборки, малы.

Ожидание относительно того, что пребывание в социальных сетях должно оказывать влияние на субъективную оценку людьми качества собственной жизни, связано с врожденной склонностью человека к сравнениям, к оценке благополучия не в абсолютных, а в относительных категориях. Свое текущее состояние человек оценивает, сравнивая его с возможными альтернативными состояниями, причем, как правило, с наиболее желательными из представленных альтернатив. Использование социальных сетей расширяет набор альтернатив для сравнения, обладающих большей ценностью по отношению к текущему состоянию. В результате, каким бы ни было сформированное нами качество жизни, всегда найдется лучшая альтернатива для сравнения и появится почва для неудовлетворенности, зависти и недовольства (Krasnova et al., 2013). Социальные сети связаны со сравнением образа жизни и ощущением депрессии (Bharucha, 2018). Пользователи социальных сетей с большей вероятностью верят в то, что другие люди живут лучше (Chou, Edge, 2012). Люди чувствуют себя одинокими и подавленными, когда видят фотографии и видео других людей, которые хорошо проводят время (Bharucha, 2018). «Восходящие сравнения» ухудшают самочувствие людей, вызывают стресс, тревожность и со временем вызывают психические расстройства (Michinov, 2001). Немаловажную роль играют и нейрофизиологические процессы привыкания. Дофаминовые реакции на запланированные раздражители ослабевают после неоднократного воздействия данных раздражителей в 3-4 раза (Schultz, 1998). Привыкание снижает степень удовлетворенности сложившимися жизненными условиями и заставляет акцентировать внимание на альтернативах, во множестве описываемых в социальных сетях. Снижению субъективных оценок людьми качества их жизни способствует и возникающее в результате цифровой трансформации изменение кодекса ритуального поведения. Принятые ритуалы межличностного общения смещаются в сторону характерного для социальных сетей демонстративного поведения, уменьшается роль факторов, препятствующих ложной демонстрации успеха. В результате активные пользователи социальных сетей сравнивают свое текущее положение не с реальными альтернативами, а с ложными образами, создаваемыми в данных сетях, что еще больше усиливает отрицательное воздействие их оценки относительно качества собственной жизни. Однако стоит повторить, что в рамках исследования не ставится задача распространить обнаруженные закономерности на генеральную совокупность.

В эксперименте приняли участие 256 респондентов-добровольцев из числа студентов вузов Новосибирска в возрасте от 17 до 20 лет, в том числе 168 женщин, 88 мужчин. Поскольку в данном исследовании каждой единице воздействия до эксперимента ставится в соответствие та же самая единица воздействия после эксперимента, т.е. в качестве экспериментальной и контрольной групп выступают те же люди, при построении выборки мы не осуществляем процедур выравнивания выборки за исключением выравнивания по сопутствующей переменной пола. Поскольку требовалось оценить влияние пола на изменение субъективной оценки качества жизни под воздействием социальных сетей, чтобы компенсировать потенциальные смещения, было проведено выравнивание выборки по переменной пола с использованием процедуры взвешивания. Пропорция между респондентами мужского и женского пола определялась исходя из соотношения мужчин и женщин в общем количестве студентов представленных вузов.

Из участия в эксперименте также были исключены лица, которые, согласно результатам тестирования, нуждались в получении психологической помощи. Эксперимент проводился с февраля 2019 года по февраль 2020 года, следовательно, на поведении респондентов не отразились кризисные явления, связанные со снижением курса рубля и пандемией коронавируса в России. В ходе эксперимента были минимизированы посторонние внешние воздействия на участников, отсутствовали живые контакты с другими людьми, за исключением контактов с организатором эксперимента, дающим пояснения относительно требуемых действий. Испытание проводилось в закрытом помещении. Контроль за деятельностью испытуемых проводился посредством стороннего наблюдения.

Эксперимент проходил в три этапа.

1. На первом этапе участники заполняли опросник, необходимый для диагностирования удовлетворенности жизненными условиями.

2. На втором этапе участники должны были в течение 60 минут осуществлять веб-серфинг в одной из социальных сетей ВКонтакте или Инстаграм по выбору. Перед испытуемыми была поставлена задача ознакомления с новостной лентой, появляющейся в индивидуальном профиле. Выбор из предложенных социальных сетей осуществлялся студентами самостоятельно, исходя из того, какой сетью они пользуются наиболее часто. Это было сделано, чтобы погрузить испытуемого в привычную для него среду и избежать дополнительных смещений. Выбор социальных сетей ВКонтакте и Инстаграм для проведения исследования обусловлен тем, что данные сети являются наиболее популярными в России по данным Brand Analytics (Социальные сети в России, 2019). Социальной сетью номер один в России признана ВКонтакте (на ноябрь 2019 года зарегистрировано 30,7 млн пользователей), номер два – Инстаграм (27,6 млн пользователей).

3. На третьем этапе участники заполняли копию опросника, предложенного им на первом этапе эксперимента, с целью диагностирования изменения удовлетворенности жизненными условиями.

Поскольку исследование связано с измерением качества жизни, требуется сделать несколько методологических замечаний относительно выбранного в работе способа его измерения. Проведение оценки влияния цифровой трансформации экономики на качество жизни населения подразумевает измерение степени ее воздействия на совокупность условий существования людей. Существует два основных направления в проведении таких измерений. Во-первых, может использоваться набор индикаторов, по мнению эксперта характеризующих уровень удовлетворения потребностей людей. Наибольшее распространение приобрели оценки качества жизни при помощи сводных индексов: коэффициента Джини, коэффициента фондов, индекса человеческого развития (ранее – индекс развития человеческого потенциала), индекса счастья, индекса инклюзивного развития и пр. (Бобков и др., 2017). Не менее распространены статистические методы оценки качества жизни по выбранным исследователями блокам, описывающим отдельные аспекты качества жизни (Gustafsson et al., 2015; Елисеева, Раскина, 2017). Важное место занимают также работы, посвященные объединению информации по отдельным блокам в интегральные индексы, характеризующие качество жизни населения (Литвинцева и др., 2019). Во-вторых, для описания воздействия цифровой трансформации могут применяться методики выявления субъективных оценок жизненных условий самими людьми. Данные методики разрабатываются в основном психологами и социологами, использующими ряд специфических индексов: шкалу удовлетворенности жизнью (Diener et al., 1985; Елшанский и др., 2015), шкалу субъективного счастья (Lyubomirsky, Lepper, 1999; Осин, Леонтьев, 2008), индекс жизненной удовлетворенности (Neugarten et al., 1961) и др.

Для каждого из указанных направлений характерен ряд недостатков. Среди проблем, возникающих при использовании набора показателей-индикаторов, необходимо выделить субъективизм исследователя, проявляющийся как при выборе данных показателей, так и в процессе их агрегирования в сводные индексы, а также трудность оценки связи данных

объективных показателей с субъективной оценкой людьми уровня удовлетворенности их потребностей. Преимущество подхода очевидно: наличие большого массива достаточно полных и сопоставимых статистических данных, характеризующих различные аспекты жизнедеятельности. Ключевой проблемой, возникающей при выявлении субъективных оценок качества жизни самими людьми, становятся сложность получения достаточного объема достоверной информации и распространение полученных выводов на генеральную совокупность. Однако данный подход помогает справиться с обозначенными выше недостатками первого подхода и позволяет выявить реальные предпочтения людей и оценить их удовлетворенность процессами цифровой трансформации. Необходимо акцентировать внимание на том, что качество жизни в конечном счете определяется спектром наших чувств. Формальные ценности, отраженные в объективных показателях, по-разному влияют на чувства различных людей, оказавшихся в различных обстоятельствах. Используя объективные показатели, исследователи отталкиваются от предпосылки, что общество однородно в своих предпочтениях, а также, что предпочтения не зависят от внешних обстоятельств. Однако данная предпосылка является явным упрощением фактического состояния дел. По мнению Б. Мескита, представления о благополучии людей лучше всего определять, изучая субъективные ощущения людей в определенном культурном контексте (Mesquita, 2001). Описываемое в данной статье исследование опирается на субъективные оценки людей относительно степени удовлетворения их жизненных потребностей.

Для выявления субъективной оценки качества жизни респондентов использовались элементы методики экспресс-диагностики уровня психоэмоционального напряжения О.С. Копиной (шкала удовлетворенности условиями жизни) (Копина и др., 1995). Использование российской методики обусловлено желанием учесть влияние культурного контекста на представление о качестве жизни (Kitazawa et al., 2019). Участникам эксперимента предлагалась анкета, в которой они могли оценить влияющие на их самочувствие условия по 13 сферам жизни: жилищные условия; бытовые условия в районе проживания (магазины, услуги, транспорт и т.п.); экологические условия в районе проживания (чистота воздуха, воды, почвы и т.п.); условия труда; деньги, доход; возможности использования денег; медицинское обслуживание; возможности получения информации (радио, телевидение, печать и т.п.); досуг: спорт, развлечения; возможности общения с искусством (кино, музеи, книги и т.п.); политическая ситуация в регионе проживания; социальная и правовая защищенность (чувство безопасности); свобода вероисповедания и политической активности. Состояние каждой сферы участники оценивали, выбирая один из пяти предложенных вариантов ответа, который респонденты сочли наиболее подходящим: очень плохие (1 балл), плохие (2 балла), удовлетворительные (3 балла), хорошие (4 балла), очень хорошие (5 баллов). Субъективная удовлетворенность условиями жизни оценивалась путем суммирования баллов по 13 указанным пунктам. Согласно методике, результат ниже 32 баллов свидетельствует о низком качестве жизни, результат от 33 до 46 баллов – об удовлетворительной оценке испытуемым качества жизни, результат выше 47 баллов является показателем высокого качества жизни.

В ходе эксперимента предполагалась возможность возникновения следующих сложностей. Во-первых, малый интервал времени, в течение которого происходило воздействие социальной сети на испытуемых, мог привести к недостаточно сильному эффекту. Следовательно, в случае выявления отсутствия влияния просмотра социальных сетей на субъективную оценку качества жизни данный результат не может восприниматься как окончательный и требует проверки при более длительном воздействии. Во-вторых, испытуемые гипотетически имели возможность запомнить используемые ими при анкетировании варианты ответов (отсутствие записи контролировалось). При этом использовать другой опросник было нельзя, поскольку в шкале интервалов отсутствует возможность сравнения измеряемых признаков. Это привело к необходимости использования дополнительных статистических тестов, направленных на проверку осмысленности заполнения анкет участниками. Данные тесты в совокупности с замерами времени заполнения анкет до и после использования социальных сетей, а также до-

статочного длительного промежутка времени между двумя анкетированиями позволяют прийти к заключению, что указанная сложность не проявилась.

Закончить данный раздел хочется замечанием П. Розенбаума относительно того, что любые, даже идеально спроектированные исследования, как правило, содержат неопределенности. Следовательно, в большинстве случаев единичного исследования оказывается недостаточно, и требуются повторные эксперименты, направленные на воспроизведение экспериментальных эффектов, без воспроизведения смещений, которые могут влиять на результаты основного исследования (Rosenbaum, 2005). Повторение эксперимента для иначе организованных выборок позволяет также повысить степень внешней валидности результатов, что и планируется осуществить в перспективе. Однако данное исследование изначально направлено на то, чтобы развить дискуссию о воздействии социальных сетей на субъективное восприятие качества жизни, необходимость которой обусловлена изменением психоэмоционального фона под воздействием цифровой трансформации.

Результаты исследования

Представим и проинтерпретируем результаты проведенного эксперимента. Визуальное сравнение гистограмм распределения субъективной оценки качества жизни до и после использования социальных сетей с кривой нормального распределения позволяет предварительно предположить нормальный характер распределения данных (рис. 1).

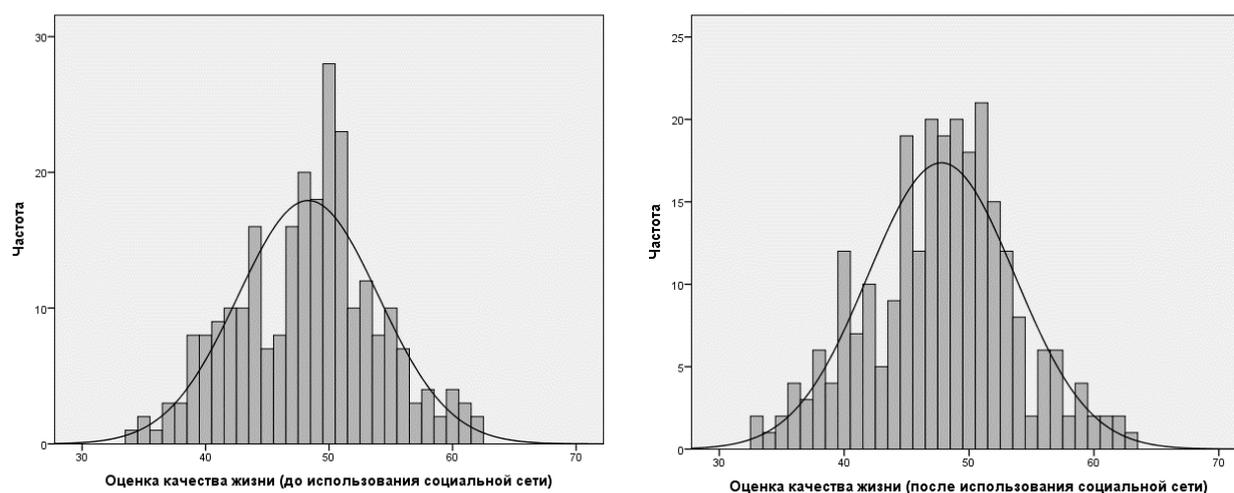


Рис. 1. Гистограммы распределения субъективной оценки качества жизни до и после использования социальных сетей

Источник: расчеты автора

Проведем формальную проверку соответствия полученного в ходе эксперимента распределения оценок качества жизни нормальному распределению, используя тест Колмогорова – Смирнова. Выберем уровень значимости 0,05 и сформулируем нулевую и альтернативную гипотезы.

H_0 : эмпирическое распределение оценок качества жизни не отличается от нормального.

H_1 : эмпирическое распределение оценок качества жизни отличается от нормального.

Результаты расчетов в пакете SPSS приведены на рис. 2. Поскольку асимптотическая значимость в обоих случаях больше 0,05, у нас нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, эмпирические данные достаточно хорошо подчиняются нормальному распределению, и для работы с данными можно применять параметрические тесты. Однако в целях надежности мы будем дублировать параметрические тесты, используя непараметрические статистические методы.

Одновыборочный критерий Колмогорова – Смирнова

		До использования социальной сети	После использования социальной сети
N		256	256
Нормальные параметры ^{a,b}	Среднее	48,31	47,79
	стд. отклонение	5,697	5,881
	Модуль	,080	,072
Разности экстремумов	Положительные	,065	,053
	Отрицательные	–,080	–,072
Статистика Z Колмогорова – Смирнова		1,275	1,146
Асимпт. знч. (двухсторонняя)		,077	,145

^a Сравнение с нормальным распределением

^b Оценивается по данным

Рис. 2. Проверка гипотезы о нормальности распределения субъективных оценок качества жизни до и после использования социальных сетей (гипотеза не отвергается)

Источник: расчеты автора.

Необходимо проверить, не носят ли различия между субъективной оценкой качества жизни до и после использования социальной сети случайный характер. Такая ситуация гипотетически возможна в случаях, если респонденты недостаточно ответственно подошли к процессу заполнения анкет, диагностирующих удовлетворенность жизненными условиями. В этом случае дальнейшая интерпретация результатов эксперимента теряет актуальность. Поскольку мы работаем со случаем двух зависимых выборок, подчиняющихся нормальному распределению, для осуществления проверки используем t-критерий для парных выборок. Выберем уровень значимости 0,05 и сформулируем нулевую и альтернативную гипотезы.

H_0 : различия между выборками носят случайный характер (субъективная оценка качества жизни до и после просмотра социальных сетей не отличается).

H_1 : различия между выборками носят неслучайный характер (субъективная оценка качества жизни до и после просмотра социальных сетей отличается).

Результаты расчетов в пакете SPSS приведены на рис. 3. Поскольку полученная значимость меньше выбранного нами уровня значимости 0,05, нулевая гипотеза отвергается и принимается альтернативная: различия между выборками носят неслучайный характер, т.е. субъективная оценка качества жизни до и после просмотра социальных сетей отличается. Значимый коэффициент корреляции парных выборок 0,932 подтверждает зависимость выборок, т.е. факт осмысленного заполнения анкет респондентами. Субъективная оценка качества жизни изменилась у 76% испытуемых. Таким образом, мы наблюдаем факт изменения субъективной оценки людьми качества собственной жизни под воздействием краткосрочного использования социальных сетей.

Полученные данные позволяют утверждать, что нулевая гипотеза отвергается и для односторонней критической области. Следовательно, можно внести уточнение и в качестве альтернативной принять одну из гипотез:

H_{1a} : различия между выборками носят неслучайный характер (субъективная оценка качества жизни после просмотра социальных сетей повышается).

H_{1b} : различия между выборками носят неслучайный характер (субъективная оценка качества жизни после просмотра социальных сетей понижается).

Для правильного выбора альтернативной гипотезы необходимо определить типичное направление сдвига субъективной оценки качества жизни под воздействием использования социальной сети (табл. 1). Поскольку типичное направление сдвига отрицательное, можно прийти к выводу, что в ходе эксперимента использование социальных сетей привело к понижению субъективной оценки качества жизни большинства респондентов.

Критерий парных выборок								
	Парные разности					t	ст.св.	Значимость (двухсторонняя)
	Сред- нее	Стд. откло- нение	Стд. ошибка среднего	95% доверительный интервал разности средних				
				Нижняя граница	Верхняя граница			
До использова- ния социальной сети – после ис- пользования со- циальной сети	,523	2,149	,134	,259	,788	3,897	255	,000

Рис. 3. Проверка гипотезы о случайном характере изменения субъективной оценки качества жизни под воздействием использования социальных сетей с использованием t-критерия для парных выборок (гипотеза отвергается)

Источник: расчеты автора.

Таблица 1

Определение типичного направления сдвига субъективной оценки качества жизни под воздействием использования социальных сетей

Изменение субъективной оценки качества жизни	Количество человек	Процент от общего количества участников
изменилось, в т.ч.	195	76
улучшилось	67	26
ухудшилось	128	50
не изменилось	61	24
итого	256	100

Источник: расчеты автора.

Проведение альтернативной проверки с использованием метода непараметрической статистики – критерия знаковых рангов Уилкоксона – показало аналогичные результаты. Выберем уровень значимости 0,05 и сформулируем нулевую и альтернативную гипотезы.

H_0 : различия между выборками носят случайный характер (снижение субъективной оценки качества жизни в результате просмотра социальных сетей одних участников компенсируется ростом субъективной оценки качества жизни других участников).

H_1 : различия между выборками носят неслучайный характер (снижение субъективной оценки качества жизни в результате просмотра социальных сетей одних участников существенно превышает рост субъективной оценки качества жизни других участников).

Определенное ранее типичное направление сдвига позволяет нам ограничить альтернативную гипотезу H_1 данным вариантом и перейти к односторонней критической области. Результаты расчетов в пакете SPSS приведены на рис. 4. Полученная асимптотическая значимость (скорректированная для односторонней критической области) будет меньше 0,001, что свидетельствует об очень значимой разнице. Следовательно, мы можем констатировать, что в ходе эксперимента использование социальных сетей привело к существенному понижению субъективной оценки качества жизни большинства респондентов.

Итак, мы выяснили, что использование социальных сетей оказывает влияние на субъективную оценку качества жизни. Причем на большинство испытуемых использование социальных сетей повлияло отрицательно. Рассмотрим отличия в характере воздействия социальных сетей ВКонтакте и Инстаграм (табл. 2), а также во влиянии, оказываемом социальными сетями на представителей разного пола (табл. 3). Всего в эксперименте приняло участие 168 женщин (89 из них использовали систему ВКонтакте, 79 – Инстаграм) и 88 мужчин (55 – ВКонтакте, 33 – Инстаграм).

Ранги		N	Средний ранг	Сумма рангов
До использования социальной сети – после использования социальной сети	Отрицательные ранги	128 ^a	99,10	12684,50
	Положительные ранги	67 ^b	95,90	6425,50
	Связи	61 ^c		
	Всего	256		

^a после использования социальной сети < до использования социальной сети

^b после использования социальной сети > до использования социальной сети

^c после использования социальной сети = до использования социальной сети

Статистики критерия ^a	
До использования социальной сети – после использования социальной сети	
Z	-4,022 ^b
Асимпт. знч. (двухсторонняя)	,000

^a Критерий знаковых рангов Уилкоксона

^b Используются положительные ранги

Рис. 4. Проверка гипотезы о случайном характере изменения субъективной оценки качества жизни под воздействием использования социальных сетей с использованием критерия знаковых рангов Уилкоксона (гипотеза отвергается)

Источник: расчеты автора.

Таблица 2

Определение типичного направления сдвига субъективной оценки качества жизни под воздействием использования социальных сетей ВКонтакте и Инстаграм

Изменение субъективной оценки качества жизни	Количество пользователей ВКонтакте	Количество пользователей Инстаграм	Итого	Процент от общего количества пользователей ВКонтакте	Процент от общего количества пользователей Инстаграм
улучшилось	34	33	67	24	30
не изменилось	35	26	61	24	23
ухудшилось	75	53	128	52	47
итого	144	112	256	100	100

Источник: расчеты автора.

Таблица 3

Определение типичного направления сдвига субъективной оценки качества жизни под воздействием использования социальных сетей для мужчин и женщин

Изменение субъективной оценки качества жизни	Количество мужчин	Количество женщин	Итого	Процент от общего количества мужчин	Процент от общего количества женщин
улучшилось	27	40	67	31	24
не изменилось	26	35	61	29	21
ухудшилось	35	93	128	40	55
итого	88	169	256	100	100

Источник: расчеты автора.

Можно предположить, что характер контента различных социальных сетей должен оказывать неодинаковое воздействие на субъективное восприятие людьми качества жизни. Например, З. Паппачарисси, анализируя поведение пользователей Facebook, LinkedIn и ASmallWorld, отмечает, что нормы социальных сетей оказывают воздействие на поведение их пользователей (Pappacharissi, 2009). Д. Бойд описывает, как появление функции «Топ-8» в MySpace вызвало массу социальных драм среди подростков (Boyd, 2006). Однако в ходе проведенного эксперимента зависимости от характера социальных сетей выявить не удалось, вероятно, в силу относительной идентичности информации, представленной в используемых социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Возможно также, что отсутствие зависимости связано с недостаточно длительным воздействием социальных сетей. Мы видим очевидное негативное воздействие на субъективное восприятие качества жизни испытуемыми в результате их пребывания в обеих социальных сетях (рис. 5). Негативное воздействие сети ВКонтакте было отмечено у 52% испытуемых, сети Инстаграм – у 47% испытуемых. Визуально существенного отличия в воздействии данных социальных сетей обнаружить не удается.

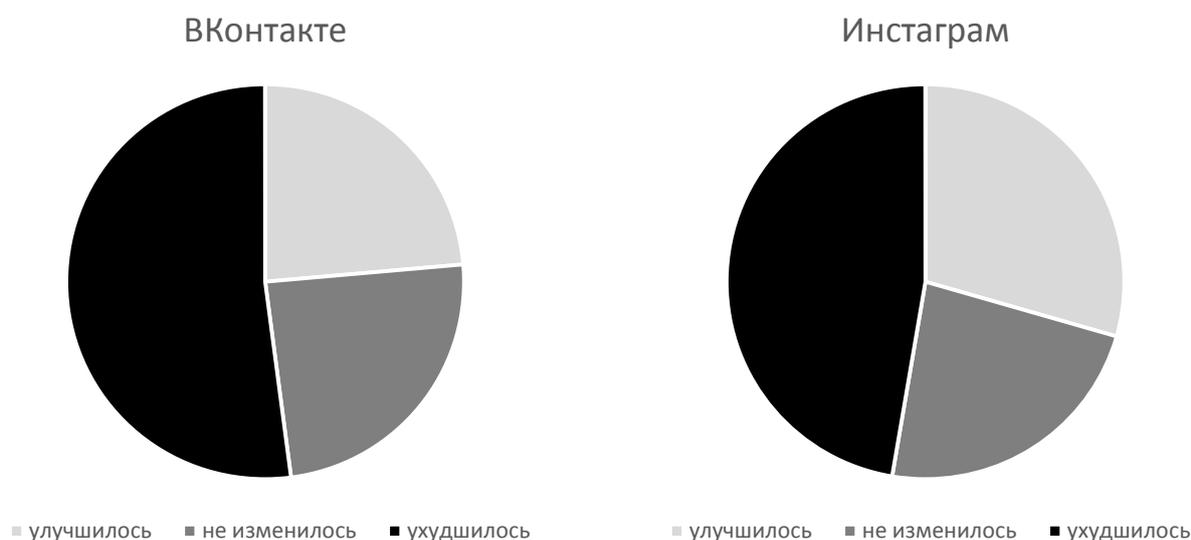


Рис. 5. Изменение субъективного восприятия качества жизни в результате использования социальных сетей ВКонтакте и Инстаграм

Источник: расчеты автора.

Требуется сделать небольшое методологическое отклонение. В дальнейших расчетах в качестве основной изучаемой переменной будет использоваться величина изменения субъективной оценки качества жизни в результате использования социальных сетей (рис. 6). Данная величина получена как разность между субъективными оценками качества жизни до и после использования социальных сетей. Тест Колмогорова – Смирнова показал, что эмпирические данные по этому показателю недостаточно хорошо подчиняются нормальному распределению (рис. 7), поэтому для дальнейших проверок будут использоваться методы непараметрической статистики.

Проведем формальные расчеты и измерим степень воздействия характера социальной сети на изменение субъективной оценки качества жизни. Поскольку одна из проверяемых на наличие корреляции переменных – название социальной сети – задана в шкале наименований, воспользуемся коэффициентом ранговой корреляции Спирмена (рис. 8). В качестве второй переменной используем изменение субъективной оценки качества жизни в результате использования социальной сети. Результаты расчетов показывают незначимость коэффициента корреляции между данными величинами для уровня значимости 0,05 (двухсторонняя). Это подтверждает наше основанное на визуальном восприятии предположение об отсутствии влияния вида используемой в эксперименте социальной сети на изменение субъективной оценки качества жизни.

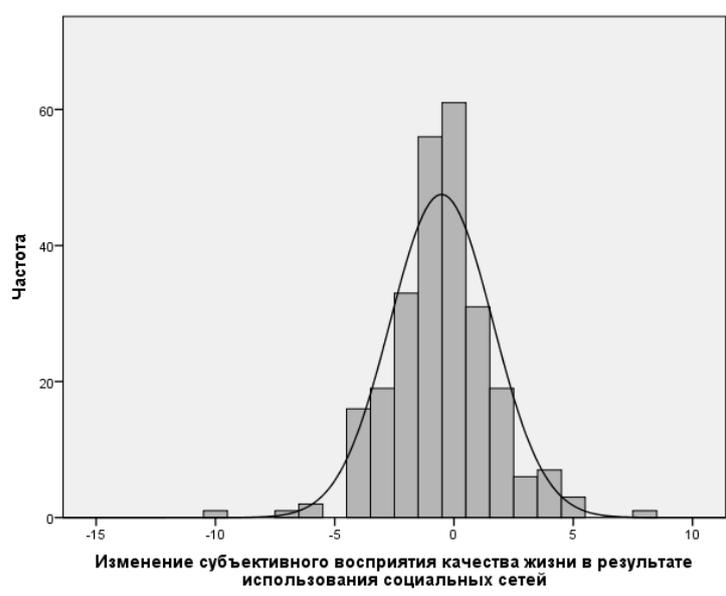


Рис. 6. Гистограммы распределения величины изменения субъективной оценки качества жизни в результате использования социальных сетей

Источник: расчеты автора.

Одновыборочный критерий Колмогорова – Смирнова

		Изменение субъективной оценки качества жизни
N		256
Нормальные параметры ^{a,b}	Среднее	–,52
	Стд. отклонение	2,149
	Модуль	,142
Разности экстремумов	Положительные	,142
	Отрицательные	–,131
Статистика Z Колмогорова – Смирнова		2,273
Асимпт. знч. (двухсторонняя)		,000

^a Сравнение с нормальным распределением

^b Оценивается по данным

Рис. 7. Проверка гипотезы о нормальности распределения величины изменения субъективной оценки качества жизни в результате использования социальных сетей (гипотеза отвергается)

Источник: расчеты автора.

Корреляции

			Название социальной сети	Изменение субъективной оценки качества жизни
r _о Спирмена	название социальной сети	Коэффициент корреляции	1,000	–,058*
		Знч. (двухсторон.)	.	,352
		N	256	256
	изменение субъективной оценки качества жизни	Коэффициент корреляции	–,058*	1,000
		Знч. (двухсторон.)	,352	.
		N	256	256

Рис. 8. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Коррелируемые переменные – наименование социальной сети и изменение субъективной оценки качества жизни

Источник: расчеты автора.

Описывая различия в воздействии, оказываемом социальными сетями на субъективное восприятие качества жизни представителями разного пола, можно предположить, что оно окажется существенным в силу психофизиологических особенностей мужчин и женщин. Визуально видно, что негативное изменение субъективного восприятия качества жизни у женщин выражено сильнее, чем у мужчин (рис. 9). Субъективная оценка качества жизни ухудшилась у 55% женщин и у 40% мужчин.

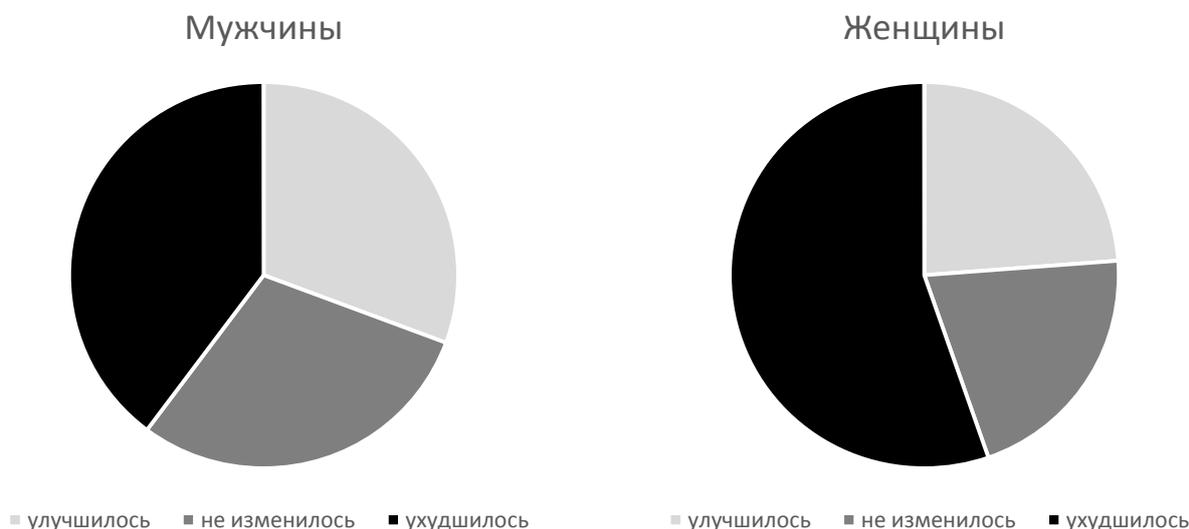


Рис. 9. Изменение субъективного восприятия качества жизни в результате использования социальных сетей у мужчин и женщин

Источник: расчеты автора.

Измерим степень воздействия пола респондента на изменение субъективной оценки качества жизни. Воспользуемся коэффициентом ранговой корреляции Спирмена (рис. 10). В качестве первой переменной зададим пол респондента. В качестве второй переменной – изменение субъективного восприятия качества жизни в результате использования социальных сетей. Результаты расчетов показывают наличие очень слабой корреляционной связи, при том что коэффициент корреляции значим для уровня значимости 0,05 (двухсторонняя). Это подтверждает основанное на визуальном восприятии предположение о некотором влиянии пола респондента на изменение субъективной оценки качества жизни в результате использования социальных сетей. Сила воздействия незначительна, вероятно, в силу кратковременного воздействия социальной сети.

Корреляции			
		Пол	Изменение субъективной оценки качества жизни
r _{sp} Спирмена	пол	Коэффициент корреляции	1,000
		Знч. (двухсторон.)	.
	изменение субъективной оценки качества жизни	Коэффициент корреляции	–,147*
		Знч. (двухсторон.)	,019
		N	256
		N	256

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя)

Рис. 10. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Коррелируемые переменные – пол респондента и изменение субъективной оценки качества жизни

Источник: расчеты автора.

Проведем оценку значимости воздействия биологического пола испытуемых на изменение субъективной оценки качества их жизни в результате просмотра социальных сетей с использованием теста Манна – Уитни. Данный тест использован как непараметрический аналог теста Стьюдента. Выберем уровень значимости 0,05 и сформулируем нулевую и альтернативную гипотезы.

H_0 : изменение субъективной оценки качества жизни в результате просмотра социальных сетей не зависит от пола респондента.

H_{1a} : изменение субъективной оценки качества жизни в результате просмотра социальных сетей зависит от пола респондента (двухсторонняя критическая область).

H_{16} : изменение субъективной оценки качества жизни в результате просмотра социальных сетей выше для женщин, чем для мужчин (односторонняя критическая область).

Результаты расчетов в пакете SPSS приведены на рис. 11. Полученная асимптотическая значимость (скорректированная для односторонней критической области) будет меньше 0,05, что свидетельствует о возможности принятия гипотезы о том, что изменение субъективной оценки качества жизни в результате просмотра социальных сетей выше для женщин, чем для мужчин. Таким образом, мы приходим к выводу о том, что использование социальных сетей оказывает несколько большее негативное воздействие на субъективную оценку качества жизни со стороны женщин, чем со стороны мужчин.

Ранги				
	Пол	N	Средний ранг	Сумма рангов
изменение качества жизни	0	88	143,30	12610,50
	1	168	120,75	20285,50
	Всего	256		

Статистики критерия ^a	
	Изменение качества жизни
Статистика U Манна – Уитни	6089,500
Статистика W Уилкоксона	20285,500
Z	-2,349
Асимпт. знч. (двухсторонняя)	,019

^a Группирующая переменная: пол

Рис. 11. Проверка гипотезы об отсутствии зависимости изменения субъективной оценки качества жизни в результате просмотра социальных сетей от пола испытуемых с использованием теста Манна – Уитни (гипотеза отвергается)

Источник: расчеты автора.

Заключение

Процессы цифровой трансформации экономики приводят, помимо прочего, к изменению преобладающих способов удовлетворения ряда человеческих потребностей. Все большая доля взаимодействий, связанных с удовлетворением потребностей, осуществляется через социальные сети. Активное развитие социальных сетей деформирует характер взаимоотношений между людьми и кодекс ритуального поведения. Ритуалы межличностного общения все больше смещаются в сторону демонстративного поведения, при этом демонстрируемый успех зачастую оказывается ложным. Все это, в свою очередь, отражается на субъективной удовлетворенности людей качеством собственной жизни.

В ходе эксперимента подтверждено предположение о том, что даже кратковременное использование социальных сетей оказывает воздействие на субъективную оценку качества собствен-

ной жизни студенческой молодежи. Для большинства испытуемых это воздействие носит негативный характер. Людям свойственна врожденная склонность к сравнениям, к оценке жизненных условий в относительных категориях. Активное использование социальных сетей предопределяет в качестве альтернативы для сравнения представленных в данных сетях выборочно позитивных и зачастую приукрашенных жизненных обстоятельств. Это приводит к усилению недовольства со стороны людей качеством собственной жизни.

Характер используемых в ходе эксперимента социальных сетей (использовались социальные сети ВКонтакте или Инстаграм) не оказал значимого воздействия на изменение субъективной оценки качества жизни испытуемых. Можно предположить, что причиной этого стали либо относительная идентичность получаемой из данных социальных сетей информации, либо малый интервал времени, в течение которого происходило воздействие социальных сетей на участников эксперимента. Данный результат не может восприниматься как окончательный и требует проверки в условиях более длительного воздействия. Разумно предположить, что изменение характера получаемой информации должно оказывать значимое влияние на степень изменения субъективной оценки качества жизни.

Эксперимент также показал, что пребывание в социальных сетях несколько большее негативное воздействие оказывает на субъективную оценку качества жизни со стороны испытуемых женщин, чем со стороны мужчин. Вероятной причиной обнаруженной закономерности могут стать психофизиологические особенности женского организма, а также социально-культурные факторы, обуславливающие различия. Рассмотрение данных факторов представляет несомненный интерес для дальнейших исследований.

Литература

- Бобков, В. Н., Гулюгина, А. А., Зленко, Е. Г., Одинцова, Е. В. (2017). Сравнительные характеристики индикаторов качества и уровня жизни в российских регионах: субъекты, федеральные округа, Арктика // *Уровень жизни населения регионов России*, (1), 50–64.
- Елисеева, И. И., Раскина, Ю. В. (2017). Измерение бедности в России: возможности и ограничения // *Вопросы статистики*, (8), 70–89.
- Елшанский, С. П., Ануфриев, А. Ф., Камалетдинова, З. Ф., Сапарин, О. Е., Семенов, Д. В. (2015). Психометрические показатели русскоязычной версии Шкалы удовлетворенности жизнью // *Современные исследования социальных проблем*, (9), 444–458. DOI: 10.12731/2218-7405-2015-9-33
- Копина, О. С., Сулова, Е. А., Заикин, Е. В. (1995). Экспресс-диагностика уровня психоэмоционального напряжения и его источников // *Вопросы психологии*, (3), 119–133.
- Литвинцева, Г. П., Шмаков, А. В., Стукаленко, Е. А., Петров, С. П. (2019). Оценка цифровой составляющей качества жизни населения в регионах Российской Федерации // *Terra Economicus*, 17(3), 107–127. DOI: 10.23683/2073-6606-2019-17-3-107-127
- Осин, Е. Н., Леонтьев, Д. А. (2008). Апробация русскоязычных версий двух шкал экспресс-оценки субъективного благополучия // *Материалы III Всероссийского социологического конгресса*. М.: Институт социологии РАН; Российское общество социологов.
- Павлов, И. П. (1973). *Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных*. М.: Наука, 660 с.
- Симонов, П. В. (2004). *Избранные труды. Мозг, эмоции, потребности, поведение*. М.: Наука, с. 339–359.
- Социальные сети в России: цифры и тренды, осень 2019* (<https://br-analytics.ru/blog/social-media-russia-2019/>).
- Шмаков, А. В. (2019). Кодекс ритуального поведения в контексте цифровой трансформации экономики // *Terra Economicus*, 17(4), 41–61.
- Ahn, J. (2011). The effect of social network sites on adolescents' social and academic development: Current theories and controversies // *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 62(8), 1435–1445.

- Arnett, J. (2014). *Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens through the Twenties*. New York: Oxford.
- Baker, D. A., Algorta, G. P. (2016). The relationship between online social networking and depression: A systematic review of quantitative studies // *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, (19), 638–48.
- Best, P., Manktelow, R., Taylor, B. (2014). Online communication, social media and adolescent wellbeing: A systematic narrative review // *Children and Youth Services Review*, (41), 27–36.
- Bharucha, J. (2018). Social network use and youth well-being: a study in India // *Safer Communities*, 17(2), 119–131.
- Boarini, R. et al. (2012). What makes for a better life? The determinants of subjective wellbeing in OECD countries. Evidence from the Gallup World Poll. *OECD Statistics Working Papers*. Paris: OECD Publishing, 2012/03.
- Boyd, D. M. (2006). Friends, Friendsters, and Top 8: Writing community into being on social network sites // *First Monday*, 11(12) (http://www.firstmonday.org/issues/issue11_12/boyd/index.html).
- Brooks, S. (2015). Does personal social media usage affect efficiency and well-being? // *Computers in Human Behavior*, (46), 26–37.
- Castells, M. (1996). *Understanding the Digital Economy: Data, Tools and Research*. Cambridge: MIT Press.
- Chou, H., Edge, N. (2012). They are happier and having better lives than I am: the impact of using Facebook on perceptions of others' lives // *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 15(2), 117–121.
- Çikrikci, Ö. (2016). The effect of internet use on well-being: meta-analysis // *Computers in Human Behavior*, (65), 560–566.
- Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale // *Journal of Personality Assessment*, 49(1), 71–75.
- Eubanks, V. (2018). *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*. New York: St. Martin's Press.
- Gluckman, P., Allen, K. (2018). *Understanding wellbeing in the context of rapid digital and associated transformations: Implications for research, policy and measurement*. Auckland: The International Network for Government Science Advice.
- Groves, R. M. (1989). *Survey Errors and Survey Costs*. New York.
- Gustafsson, B., Li, S., Nivorozhkina, L., Wan, H. (2015). Yuan and roubles: comparing wage determination in urban china and Russia at the beginning of the new millennium // *China Economic Review*, (35), 248–265.
- Huang, C. (2010). Internet use and psychological well-being: a meta-analysis // *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, (13), 241–249.
- Kim, A. C. H., Newman, J. I., Kwon, W. (2020). Developing community structure on the sidelines: A social network analysis of youth sport league parents // *Social Science Journal*, 57(2), 178–194.
- Kim, B., Chang, S. M., Park, J. E., Seong, S. J., Won, S. H., Cho, M. J. (2016). Prevalence, correlates, psychiatric comorbidities, and suicidality in a community population with problematic internet use // *Psychiatry Research*, (244), 249–56.
- King, A. L. S., Valença, A. M., Silva, A. C. O., Baczynski, T., Carvalho, M. R., Nardi, A. E. (2016). Nomophobia: dependency on virtual environments or social phobia? // *Computers in Human Behavior*, 29(1), 140–4.
- Kish, L. (1987). *Statistical Design for Research*. New York.
- Kitazawa, M., Yoshimura, M., Hitokoto, H., Sato-Fujimoto, Y., Murata, M., Negishi, K., Mimura, M., Tsubota, K., Kishimoto, T. (2019). Survey of the effects of internet usage on the happiness of Japanese university students // *Health and Quality of Life Outcomes*, 17(1).

- Ko, C. H., Yen, J. Y., Chen, C. S., Yeh, Y. C., Yen, C. F. (2009). Predictive values of psychiatric symptoms for internet addiction in adolescents: a 2-year prospective study // *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*, 163(10), 937–943.
- Kovacs, O. (2018). The dark corners of industry 4.0 – Grounding economic governance 2.0 // *Technology in Society*, (55), 140–145.
- Krasnova, H., Wenninger, H., Widjaja, T. (2013). Envy on Facebook: a hidden threat to users' life satisfaction? // *Wirtschaftsinformatik*, (92), 1–16.
- Lyubomirsky, S., Lepper, H. (1999). A measure of subjective happiness: preliminary reliability and construct validation // *Social Indicators Research*, 46, 137–155.
- Mazzoni, E., Iannone, M. (2014). From high school to university: Impact of social networking sites on social capital in the transitions of emerging adults // *British Journal of Educational Technology*, 45(2), 303–315.
- Mesquita, B. (2001). Emotions in collectivist and individualist contexts // *Journal of Personality and Social Psychology*, (80), 68–74.
- Michikyan, M., Kaveri, S. (2012). Social networking sites: Implications for youth, pp. 132–147 / In: Zheng Yan (ed.) *Encyclopedia of Cyber Behavior*. Hershey: Information Science Reference.
- Michinov, N. (2001). When downward comparison produces negative affect: the sense of control as a moderator // *Social Behavior and Personality: An International Journal*, 29(5), 427–444.
- Miller, B. J., Mundey, P. (2020). Emerging SNS use: the importance of social network sites for older American emerging adults // *Journal of Youth Studies*, 23 (5), 613–630.
- Neugarten, B. L., Havighurst, R. J., Tobin, S. S. (1961). The measurement of life satisfaction // *Journal of Gerontology*, (16), 134–143.
- Oberst, U., Stodt, B., Brand, M., Chamarro, A. (2017). Negative consequences from heavy social networking in adolescents: the mediating role of fear of missing out // *Journal of Adolescence*, (55), 51–60.
- Pantic, I. (2014). Online social networking and mental health // *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 17(10), 652–657.
- Pappacharissi, Z. (2009). The virtual geographies of social networks: A comparative analysis of Facebook, LinkedIn, and ASmallWorld // *New Media & Society*, 11(1), 199–220.
- Primack, B. A., Shensa, A., Escobar-Viera, C. G. (2017). Use of multiple social media platforms and symptoms of depression and anxiety: a nationally-representative study among US young adults // *Computers in Human Behavior*, (69), 1–9.
- Przybylski, A. K., Weinstein, N. A. (2017). Large scale test of the Goldilocks hypothesis: quantifying the relations between digital screens and the mental well-being of adolescents // *Psychological Science*, 28(2), 204–215.
- Reich, S. M. (2010). Adolescents' sense of community on MySpace and Facebook: A mixed-methods approach // *Journal of Community Psychology*, 38(6), 688–705 (<https://doi.org/10.1002/jcop.20389>).
- Reich, S. M., Subrahmanyam, K., Espinoza, G. (2012). Friending, IMing, and hanging out face-to-face: Overlap in adolescents' online and offline social networks // *Developmental Psychology*, 48(2), 356–368.
- Rosen, L. D., Whaling, K., Rab, S., Carrier, L. M., Cheever, N. (2013). Is Facebook creating disorders? The link between clinical symptoms of psychiatric disorders and technology use, attitudes and anxiety // *Computers in Human Behavior*, 29(3), 1243–1254.
- Rosenbaum, P. R. (2005). Observational study // *Encyclopedia of Statistics in Behavioral Science*, 3, 1451–1462.
- Sarah, C. M., Padilla-Walker, L. M., Howard E. (2013). Emerging in a digital world: A decade review of media use, effects, and gratifications in emerging adulthood // *Emerging Adulthood*, 1(2), 125–137.

- Schultz, W. (1998). Predictive reward signal of dopamine neurons // *Journal of Neurophysiology*, (80), 1–27.
- Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution: what it means and how to respond. *World Economic Forum* (<https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/>).
- Shaffer, H. J., LaPlante, D. A., LaBrie, R. A., Kidman, R. C., Donato, A. N., Stanton, M. V. (2004). Toward a syndrome model of addiction: Multiple expressions, common etiology // *Harvard Review Psychiatry*, 12(4), 367–374.
- Steptoe, A., O'Donnell, K., Marmot, M., Wardle, J. (2008). Positive affect, psychological well-being, and good sleep // *Journal of Psychosomatic Research*, (64), 409–15.
- Stiglitz, J. E., Sen, A., Fitoussi, J. P. (2009). *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*.
- Tavernier, R., Willoughby, T. (2014). Sleep problems: Predictor or outcome of media use among emerging adults at university // *Journal of Sleep Research*, (23), 389–96.
- Twenge, J. M. (2017). *iGen: Why Today's Supper-connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy – and Completely Unprepared for Adulthood*. New York: Atria Books.
- Underwood, M. K., Ehrenreich, S. E., More, D. (2015). The Blackberry project: the hidden world of adolescents' text messaging and relations with internalizing symptoms // *Journal of Research on Adolescence*, 25(1), 101–117.
- Vannucci, A., Flannery, K. M., Ohannessian, C. M. (2017). Social media use and anxiety in emerging adults // *Journal of Affective Disorders*, (207), 163–166.
- Wang, J., Wang, H., Gaskin, J., Wang, L. (2015). The role of stress and motivation in problematic smartphone use among college students // *Computers in Human Behavior*, (53), 181–188.
- Weinstein, E. (2018). The social media see-saw: Positive and negative influences on adolescents' affective well-being // *New Media and Society*, 20(10), 3597–3623.
- Witte, J. C., Mannon, S. E. (2010). *The Internet and Social Inequalities*. Routledge, New York.
- Yang, Ch., Brown, B. B. (2013). Motives for using Facebook, patterns of Facebook activities, and late adolescents' social adjustment to college // *Journal of Youth and Adolescence*, 42(3), 403–416.

References

- Ahn, J. (2011). The effect of social network sites on adolescents' social and academic development: Current theories and controversies. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 62(8), 1435–1445.
- Arnett, J. (2014). *Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens through the Twenties*. New York: Oxford.
- Baker, D. A, Algorta, G. P. (2016). The relationship between online social networking and depression: A systematic review of quantitative studies. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, (19), 638–648.
- Best, P., Manktelow, R., Taylor, B. (2014). Online communication, social media and adolescent wellbeing: A systematic narrative review. *Children and Youth Services Review*, (41), 27–36.
- Bharucha, J. (2018). Social network use and youth well-being: a study in India. *Safer Communities*, 17(2), 119–131.
- Boarini, R. et al. (2012). What makes for a better life? The determinants of subjective wellbeing in OECD countries. Evidence from the Gallup World Poll. *OECD Statistics Working Papers*. Paris: OECD Publishing, 2012/03.
- Bobkov, V. N., Gulyugina, A. A., Zlenko, E. G., Odintsova, E. V. (2017). Comparative characteristics of indicators of living standards and quality of life in Russian regions: subjects, federal districts, the Arctic regions. *Living standards of the population in the regions Russian*, (1), 50–64.

- Boyd, D. M. (2006). Friends, Friendsters, and Top 8: Writing community into being on social network sites. *First Monday*, 11(12) (http://www.firstmonday.org/issues/issue11_12/boyd/index.html).
- Brooks, S. (2015). Does personal social media usage affect efficiency and well-being? *Computers in Human Behavior*, (46), 26–37.
- Castells, M. (1996). *Understanding the Digital Economy: Data, Tools and Research*. Cambridge, MIT Press.
- Chou, H., Edge N. (2012). They are happier and having better lives than I am: the impact of using Facebook on perceptions of others' lives. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 15(2), 117–121.
- Çikrikci, Ö. (2016). The effect of internet use on well-being: meta-analysis. *Computers in Human Behavior*, (65), 560–566.
- Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale. *Journal of Personality Assessment*, 49(1), 71–75.
- Eliseeva, I. I., Raskina, Y. V. (2017). Measuring poverty in Russia: possibilities and limitations. *Voprosy statistiki*, (8), 70–89.
- Eubanks, V. (2018). *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*. New York: St. Martin's Press.
- Gluckman, P., Allen, K. (2018). *Understanding Wellbeing in the Context of Rapid Digital and Associated Transformations: Implications for Research, Policy and Measurement*. Auckland: The International Network for Government Science Advice.
- Groves, R. M. (1989). *Survey Errors and Survey Costs*. New York.
- Gustafsson, B., Li, S., Nivorozhkina, L., Wan, H. (2015). Yuan and roubles: comparing wage determination in urban china and Russia at the beginning of the new millennium. *China Economic Review*, (35), 248–265.
- Huang, C. (2010). Internet use and psychological well-being: a meta-analysis. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, (13), 241–249.
- Kim, A. C. H., Newman, J. I., Kwon, W. (2020). Developing community structure on the sidelines: A social network analysis of youth sport league parents. *Social Science Journal*, 57(2), 178–194.
- Kim, B., Chang, S. M., Park, J. E., Seong, S. J., Won, S. H., Cho, M. J. (2016). Prevalence, correlates, psychiatric comorbidities, and suicidality in a community population with problematic internet use. *Psychiatry Research*, (244), 249–256.
- King, A. L. S., Valença, A. M., Silva, A. C. O., Baczynski, T., Carvalho, M. R., Nardi, A. E. (2016). Nomo-phobia: dependency on virtual environments or social phobia? *Computers in Human Behavior*, 29(1), 140–144.
- Kish, L. (1987). *Statistical Design for Research*. New York.
- Kitazawa, M., Yoshimura, M., Hitokoto, H., Sato-Fujimoto, Y., Murata, M., Negishi, K., Mimura, M., Tsubota, K., Kishimoto, T. (2019). Survey of the effects of internet usage on the happiness of Japanese university students. *Health and Quality of Life Outcomes*, 17(1).
- Ko, C. H., Yen, J. Y., Chen, C. S., Yeh, Y. C., Yen, C. F. (2009). Predictive values of psychiatric symptoms for internet addiction in adolescents: a 2-year prospective study. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*, 163(10), 937–943.
- Kopina, O. S., Suslova, E. A., Zaikin, E. V. (1995). Express diagnostics of the level of psychoemotional stress and its sources. *Voprosy psikhologii*, (3), 119–133.
- Kovacs, O. (2018). The dark corners of industry 4.0 – Grounding economic governance 2.0. *Technology in Society*, (55), 140–145.
- Krasnova, H., Wenninger, H., Widjaja, T. (2013). Envy on Facebook: a hidden threat to users' life satisfaction? *Wirtschaftsinformatik*, (92), 1–16.

- Litvintseva, G. P., Shmakov, A. V., Stukalenko, E. A., Petrov, S. P. (2019). Digital component of people's quality of life assessment in the regions of the Russian Federation. *Terra Economicus*, 17(3), 107–127. DOI: 10.23683/2073-6606-2019-17-3-107-127 (In Russian.)
- Lyubomirsky, S., Lepper, H. (1999). A measure of subjective happiness: preliminary reliability and construct validation. *Social Indicators Research*, (46), 137–155.
- Mazzoni, E., Iannone, M. (2014). From high school to university: Impact of social networking sites on social capital in the transitions of emerging adults. *British Journal of Educational Technology*, 45(2), 303–315.
- Mesquita, B. (2001). Emotions in collectivist and individualist contexts. *Journal of Personality and Social Psychology*, (80), 68–74.
- Michikyan, M., Kaveri, S. (2012). Social networking sites: Implications for youth, pp. 132–147 / In: Zheng Yan (ed.) *Encyclopedia of Cyber Behavior*. Hershey: Information Science Reference.
- Michinov, N. (2001). When downward comparison produces negative affect: the sense of control as a moderator. *Social Behavior and Personality: An International Journal*, 29(5), 427–44.
- Miller, B. J., Mundey, P. (2020). Emerging SNS use: the importance of social network sites for older American emerging adults. *Journal of Youth Studies*, 23(5), 613–630.
- Neugarten, B. L., Havighurst, R. J., Tobin, S. S. (1961). The measurement of life satisfaction. *Journal of Gerontology*, (16), 134–143.
- Oberst, U., Stodt, B., Brand, M. and Chamarro, A. (2017). Negative consequences from heavy social networking in adolescents: the mediating role of fear of missing out. *Journal of Adolescence*, (55), 51–60.
- Osin, E. N., Leontiev, D. A. (2008). Approbation of Russian-language versions of two scales of rapid assessment of subjective well-being. *Materials of the III Russian Sociological Congress*. Moscow: Institute of Sociology RAS, Russian Society of Sociologists. (In Russian.)
- Pantic, I. (2014). Online social networking and mental health. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 17(10), 652–657.
- Pappacharissi, Z. (2009). The virtual geographies of social networks: A comparative analysis of Facebook, LinkedIn, and ASmallWorld. *New Media & Society*, 11(1), 199–220.
- Pavlov, I. P. (1973). *Twenty years of experience in the objective study of higher nervous activity (behavior) of animals*. Moscow: Nauka Publ., 660 p. (In Russian.)
- Primack, B. A., Shensa, A., Escobar-Viera, C. G. (2017). Use of multiple social media platforms and symptoms of depression and anxiety: a nationally-representative study among US young adults. *Computers in Human Behavior*, (69), 1–9.
- Przybylski, A. K., Weinstein, N. A. (2017). Large scale test of the Goldilocks hypothesis: Quantifying the relations between digital screens and the mental well-being of adolescents. *Psychological Science*, 28(2), 204–215.
- Reich, S. M. (2010). Adolescents' sense of community on MySpace and Facebook: A mixed-methods approach. *Journal of Community Psychology*, 38(6), 688–705 (<https://doi.org/10.1002/jcop.20389>).
- Reich, S. M., Subrahmanyam, K., Espinoza, G. (2012). Friending, IMing, and hanging out face-to-face: Overlap in adolescents' online and offline social networks. *Developmental Psychology*, 48(2), 356–368.
- Rosen, L. D., Whaling, K., Rab, S., Carrier, L. M., Cheever, N. (2013). Is Facebook creating disorders? The link between clinical symptoms of psychiatric disorders and technology use, attitudes and anxiety. *Computers in Human Behavior*, 29(3), 1243–1254.
- Rosenbaum, P. R. (2005). Observational study. *Encyclopedia of Statistics in Behavioral Science*, 3, 1451–1462.
- Sarah, C. M., Padilla-Walker, L. M., Howard, E. (2013). Emerging in a digital world: A decade review of media use, effects, and gratifications in emerging adulthood. *Emerging Adulthood*, 1(2), 125–137.

- Schultz, W. (1998). Predictive reward signal of dopamine neurons. *Journal of Neurophysiology*, (80), 1–27.
- Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution: What it means and how to respond. *World Economic Forum* (<https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/>).
- Shaffer, H. J., LaPlante, D. A., LaBrie, R. A., Kidman, R. C., Donato, A. N., Stanton, M. V. (2004). Toward a syndrome model of addiction: Multiple expressions, common etiology. *Harvard Review Psychiatry*, 12(4), 367–374.
- Shmakov, A. V. (2019). Code of ritual behavior in the context of digital transformation of economy. *Terra Economicus*, 17 (4), 41–61. DOI: 10.23683/2073-6606-2019-17-4-41-61 (In Russian.)
- Simonov, P. V. (2004). *Selected Works. The brain, emotions, needs, behavior*. Moscow: Nauka Publ.
- Social networks in Russia: Numbers and trends, autumn 2019* (<https://br-analytics.ru/blog/social-media-russia-2019/>). (In Russian.)
- Stephens, A., O'Donnell, K., Marmot, M., Wardle, J. (2008). Positive affect, psychological well-being, and good sleep. *Journal of Psychosomatic Research*, (64), 409–415.
- Stiglitz, J. E., Sen, A., Fitoussi, J. P. (2009). *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*.
- Tavernier, R., Willoughby, T. (2014). Sleep problems: predictor or outcome of media use among emerging adults at university. *Journal of Sleep Research*, (23), 389–396.
- Twenge, J. M. (2017). *iGen: Why Today's Super-connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy – and Completely Unprepared for Adulthood*. New York: Atria Books.
- Underwood, M. K., Ehrenreich, S. E., More, D. (2015). The Blackberry project: The hidden world of adolescents' text messaging and relations with internalizing symptoms. *Journal of Research on Adolescence*, 25(1), 101–117.
- Vannucci, A., Flannery, K. M., Ohannessian, C. M. (2017). Social media use and anxiety in emerging adults. *Journal of Affective Disorders*, (207), 163–166.
- Wang, J., Wang, H., Gaskin, J., Wang, L. (2015). The role of stress and motivation in problematic smartphone use among college students. *Computers in Human Behavior*, (53), 181–188.
- Weinstein, E. (2018). The social media see-saw: Positive and negative influences on adolescents' affective well-being. *New Media and Society*, 20(10), 3597–3623.
- Witte, J. C., Mannon, S. E. (2010). *The Internet and Social Inequalities*. Routledge, New York.
- Yang, Ch., Brown, B. B. (2013). Motives for using Facebook, patterns of Facebook activities, and late adolescents' social adjustment to college. *Journal of Youth and Adolescence*, 42(3), 403–416.
- Yelshansky, S. P., Anufriev, A. F., Kamaletdinova, Z. F., Saparin, O. E., Semyonov, D. V. (2015). Psychometric indicators of the Russian version of the Life Satisfaction Scale. *Sovremennyye issledovaniya sotsialnyh problem*, (9), 444–458. DOI: <https://doi.org/10.12731/2218-7405-2015-9-33> (In Russian.)

Economic aspects of consumer behavior in tourism for a selected population group in the Czech Republic

Miroslava Navrátilová

Czech University of Life Sciences in Prague, Prague, Czech Republic, e-mail: navratilovam@pef.czu.cz

Markéta Beranová

Czech University of Life Sciences in Prague, Prague, Czech Republic, e-mail: mberanova@pef.czu.cz

Luboš Smutka

Czech University of Life Sciences in Prague, Prague, Czech Republic, e-mail: smutka@pef.czu.cz

Lucie Severová

Czech University of Life Sciences in Prague, Prague, Czech Republic, e-mail: severova@pef.czu.cz

Citation: Navrátilová, M., Beranová, M., Smutka, L., Severová, L. (2020). Economic aspects of consumer behavior in tourism for a selected population group in the Czech Republic. *Terra Economicus*, 18(4), 149–168. DOI: 10.18522/2073-6606-2020-18-4-149-168

Tourism is currently an important branch of the global economy. However, the democratization of travel and tourism, together with the intensifying globalization processes and mass movements of the world's population, brings with it some accompanying adverse effects that influence the shape of the contemporary world. The paper aims to evaluate the impact of the security and safety factor on the consumer behavior of young people aged 19–29 in the Czech Republic when choosing a destination for tourism. The age categorization was carried out concerning the theoretical definition of youth travel participants according to UNWTO and WYSE Travel Confederation. Attitudes and opinions of the monitored group of consumers were gathered through primary research attended by 428 respondents. Quantitative studies were used to obtain the necessary data using a questionnaire technique of data collection. The results show that, in terms of general preferences, the vast majority of respondents prefer an active way of spending time during their trips. The results show that young people consider the situation in their place of residence as the most important safety factor when choosing a destination (84.8%); the local political situation and potential health risks in the country are considered as significant ones by less than 70.0% persons. The majority of respondents (65.7%) identified the Internet as the predominant way of obtaining information when traveling.

Keywords: consumers; coronavirus; destination; health issue; security and safety; surety tourism; youth travel

Acknowledgements: This work was supported by the Internal Grant Agency of Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Sciences Prague - grant number 20181015 "The Impact of Climate Change on the Structure of Agricultural Production in the Czech Republic".

JEL codes: D11, F52, Z32

Экономические аспекты потребительского поведения в туризме для выбранной группы населения в Чешской Республике

Мирослава Навратилова

Чешский университет естественных наук в Праге, Прага, Чешская Республика, e-mail: navratilovam@pef.czu.cz

Маркета Беранова

Чешский университет естественных наук в Праге, Прага, Чешская Республика, e-mail: mberanova@pef.czu.cz

Любош Смутка

Чешский университет естественных наук в Праге, Прага, Чешская Республика, e-mail: smutka@pef.czu.cz

Люцие Северова

Чешский университет естественных наук в Праге, Прага, Чешская Республика, e-mail: severova@pef.czu.cz

Цитирование: Navrátilová, M., Beranová, M., Smutka, L., Severová, L. (2020). Economic aspects of consumer behavior in tourism for a selected population group in the Czech Republic. *Terra Economicus*, 18(4), 149–168. DOI: 10.18522/2073-6606-2020-18-4-149-168

В настоящее время туризм является важной отраслью мировой экономики. Однако демократизация путешествий и туризма, вместе с усиливающимися процессами глобализации и массовыми перемещениями населения мира, влечет за собой некоторые сопутствующие неблагоприятные эффекты, которые влияют на облик современного мира. Данная статья оценивает влияние фактора безопасности и защищенности на потребительское поведение молодых людей в возрасте 19–29 лет в Чешской Республике при выборе их направлений для путешествий. Возрастная категоризация проводилась в отношении теоретического определения участников молодежных путешествий согласно UNWTO и WYSE Travel Confederation. Отношения и мнения исследуемой группы потребителей были собраны путем первичного исследования, в котором приняли участие 428 респондентов. Для получения необходимого эмпирического материала использовались количественные исследования с применением методики сбора данных с помощью анкет. Результаты нашей работы показывают, что с точки зрения общих предпочтений подавляющее большинство респондентов предпочитают активный способ проведения времени во время поездок. Кроме того, мы выяснили, что молодые люди считают ситуацию по месту жительства наиболее важным фактором безопасности при выборе места назначения (84,8%); с местной политической ситуацией и потенциальными рисками для здоровья в стране считают менее 70% человек. Большинство респондентов (65,7%) определили Интернет как преобладающий способ получения информации во время путешествий.

Ключевые слова: потребители; коронавирус; место назначения; проблема со здоровьем; охрана и безопасность; поручительский туризм; молодежное путешествие

Благодарность: Исследование выполнено при поддержке Агентства внутренних грантов факультета экономики и менеджмента Чешского университета естественных наук в Праге – грант № 20181015 «Влияние изменения климата на структуру сельскохозяйственного производства в Чешской Республике».

Introduction

The tourism industry is currently ranked among dynamically developing sectors within the global economy, which, due to its interdisciplinarity, affects all sectors of the economy. At the same time, its strong ties to other sectors make it particularly vulnerable to change in the climates of all spheres of economic, political and social life around the world.

For citizens of economically advanced parts of the world who have enough free time and financial resources, travelling is a natural part of life and one of the ways to spend holidays and relax, but also to realize wishes and gain new experiences and knowledge. For all destinations in the world, tourism and hospitality services are an economic gain and a source of jobs in attractive tourist destinations. For some developing countries, tourism revenue is the backbone of the national economy and is the primary source of funding for its people. It is no exaggeration to say that travelling has never been a phenomenon as widespread as it is today, and the world has never been so closely connected. In connection with tourism and the large movements of the world population during travel, issues associated with the accompanying influences of this phenomenon come to the fore. These, among others, include security and safety issues in a globalized world. Widely discussed challenges include the sustainability of the planet and the degradation of the environment due to tourism.

On this basis, it can be stated that the tourism industry, in some way, affects all destinations and the population of the whole world. The rapid economic and social development of society is accompanied, among other things, by changes in the demographic structure of the population of developed countries, which directly affects the form of demand in the field of tourism. The requirements of potential customers on the character of the product as a whole and as an individual service are changing. It is also possible to observe preference changes in leisure time spending and searching for new attractive destinations. All this creates the need for more precise segmentation of the tourism market.

The young generation is a specific consumer group whose travel preferences already significantly reshape the current form of tourism. Shortly, due to its economic strength, this generation will become the primary source of income in the tourism industry. Understanding the needs, opinions, motivation, behavior and preferences of young people is therefore of great importance for all the players in tourism.

Our paper aims to evaluate the impact of the security and safety factor on the consumer behavior of young people aged 19–29 in the Czech Republic when choosing a travel destination for their tourist trips.

Theoretical background

The direct contribution of travel and tourism to global GDP amounted to just under 2.89 billion U.S. dollars in 2019, and the total contribution to GDP worldwide in 2019 was just over 9.26 billion U.S. dollars. These figures represent an increase of approximately 60.0% in both cases compared to 2009¹.

Internationally, borders between countries have been loosening in recent years, which is reflected in minimizing barriers to the movement of people and capital (Rohan, Moravec, 2017). An important role for travel in the European context from this perspective assumes the Schengen Area that allows free movement of E.U. citizens (European Commission, 2018). Strong sanitary and health conditions and a good level of security are a major competitive advantage for most European countries in travel and tourism (World Economic Forum, 2017). Diverse natural conditions and various cultural assets, together with a high level of care for the environment, provide a quality framework for the realization of tourism (Vasylchak, Halachenko, 2016; Löwe et al., 2019; World Economic Forum, 2019). E.U. member states focused its much attention to the conditions for sustainable development (Veveris et al., 2019; Veselá et al., 2018; Hrabánková, Boháčková, 2009).

For tourism in a particular place or country, the existence of historical, cultural or natural attractions is a prerequisite. Each tourism region has a specific potential, which is closely linked mainly with accommodation and catering services, and together they form a quality framework for the stay of potential visitors. The issue of optimum balance in terms of tourism effect and preservation of the character of the destination is currently one of the fundamental questions that the tourism industry is facing.

¹ Statista (2020). *Direct and total contribution of travel and tourism to the global economy from 2006 to 2019*. New York: Statista (<https://www.statista.com/statistics/233223/travel-and-tourism--total-economic-contribution-worldwide> – accessed March 5 2020).

In tourism, the term tourist destination is used to describe a specific territory. In addition to the traditional tourist destinations, the tourism market is continually generating new areas of tourist interest (Chiabai et al., 2014). Bieger and Beritelli (2013) reflect on a more precise definition of the spatial dimension of the destination, and they believe that the destination is the place the visitor chooses as a target point or as a product. In a broader sense, a country, region, human settlements and other areas characterized by a high concentration of attractions, advanced services and other infrastructure, resulting in a sizeable long-term concentration of visitors, can be considered as a destination. In a narrower sense, a destination can be identified as a target location in a given region, which is characterized by a significant offer of tourist attractions and services (Bieger, Beritelli, 2013). In the literature, it is possible to encounter different typologies of destinations (cf. Buhalis, 2000; Laws, 1995). Haughland et al. (2011) consider a complex integrated approach to be central to addressing destination development. Butler (2006) draws attention to the limited resource capacity of the destination territory. Papatheodorou (2006) states that destination choice has always been an important aspect in tourism literature, and various factors influence travel decisions (Mansfeld, Pizam, 2006). Weaver et al. (2009) consider the knowledge and motivation of the participants in tourism as essential factors in the decision-making of the choice of the destination and activities at the site. Leung and Law (2010) emphasize the diversity of their personalities and thus their reactions in the context of travellers' motivation.

Botero et al. (2013) believe that safety is the most crucial factor in people's choice of destination in the European area. This is also confirmed by Hau and Omar (2014: 1831), who state that: *"the service quality component which is destination image, destination support services and security, destination cleanliness and destination facilities, is significantly and positively related to tourist satisfaction"*. Greater knowledge and awareness about the destination reduces the negative effect of security threats on inbound tourism (Fourie, Rosselló-Nadal, Santana-Gallego, 2019).

Scott, Laws and Prideaux (2008) draw attention to the fact that each destination may find itself in a particular unpredictable crisis due to adverse conditions. The subjective feeling of danger and endangerment of an individual at the place of stay may contribute to the formation of a negative image of destination (Alvarez, Campo, 2014; Donaldson, Ferreira, 2009). However, safety concerns do not only affect the individual's decision-making in tourism. But it also plays a role in strengthening economic and political confidence in the wider environment (Hall, Timothy, Duval, 2004).

Ingram, Taberi and Watthanakhomprathip (2013) believe that the unattractiveness of the destination is predictable through the primary factors they consider actual events and the secondary factors they identify with potential events. "The tourism literature identifies five critical tourism risk factors significantly impacting the choice of destination as follows: (1) War and political instability (2) Health concerns (3) Crime (4) Terrorism and (5) Natural disaster" (Abukhalifeh et al., 2018).

Concerns about poor health, hygiene, security and safety conditions may have an impact on demand generation and may also harm foreign investment in travel and tourism in the country (World Economic Forum, 2019). Terrorist attacks, local war conflicts, epidemics or natural disasters have an impact on the travel and tourism sector which shows a high level of vulnerability in this area (Brondoni, 2016; Pantano, Pietro, 2013; Tarlow, 2011; World Tourism Organization and International Labour Organization, 2013). Mawby (2014) adds that high crime, low-level public disorder and political instability in the country also have a negative impact on tourism. Security and safety has become a complex multidimensional notion with a wide range of components (Kovári, Zimányi, 2011).

One of the fundamental rights of the tourist is the right to be safe and secure from crime, terrorism and disease (World Tourism Organization, 1996). The terms safety and security are not defined in a uniform way in theory of tourism. Both terms are usually used together (Tarlow, 2014; Kovári, Zimányi, 2011). Wichasin and Dounghummes (2012) emphasize that the concepts of safety and security are usually used interchangeably. Ministry of Foreign Trade and Tourism of Peru² defines these terms subsequently.

- *"Safety is the set of precautions put in place to prevent tourists and industry workers from being exposed to situations where they believe that they are in personal danger, due to crime, accidents, and emergencies"*.

² Ministry of Foreign Trade and Tourism of Peru (2016). *Project to enhance the understanding of the factors that explain Destination Competitiveness: Progress Report to the UNWTO Committee on Tourism and Competitiveness*. Lima: Ministry of Foreign Trade and Tourism of Peru, p. 22 (https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/CTC_ALTA.pdf – accessed January 15 2020).

- “Security is the set of precautions put in place against hostile acts that seek to inflict a large scale of damage resulting in maximum economic disruption or measures taken to guard against espionage or sabotage, crime, attack or escape”.

Tarlow (2014: 14) says that in practice, security is seen as “protection of person, place, thing, reputation or economy against someone (or someone’s tool) that seek to harm”. Safety is defined as “the protecting of people (or places, things, reputations, or economies) against unintended consequences of an involuntary nature”. The author introduces the term tourism surety, which is a combination of both terms (Tarlow, 2014). Payam (2015) stresses the fact that security in tourism currently includes not only security at the destination of the stay, but also all visitor activities throughout their travel. Brondoni (2016) defined the key issue of global tourism safety and security management as follows (see Table 1).

Table 1**Global safety and security management key issues**

Tourism safety	Tourism security
Tourist safety	Tourist security
Hotel safety	Hotel security
Safety-seeking travellers	Security & protection of travellers
Safety of tourism facilities	Security of outgoing travellers
Food safety precautions	Visitor’s personal security
Site (destination) safety	Security legislation
Safety standards	Security agreements
Hotel international fire safety practices	Aviation security conventions
Fire safety codes & regulations	Air transport security measures
Traffic safety	Airport security measures
Public safety	Control of security
Safety of maritime navigation	Security personnel
Public safety requirements	Private security companies
Safety colours & safety signs	Visible & invisible security
Safety alarms & devices	Data bases on security & risks

Source: Brondoni, 2016: 12.

Key factors for improving security and safety in tourism can be considered as protection areas and tourist facilities, the reliability of the responsible authorities and trust-building campaigns (Paunović, 2013; World Economic Forum, 2013).

Violence and tourism go hand in hand, whether they are incidental crime or terrorist acts (Ryan, 1993). The main aim of terrorism is to attack rather than individual efforts to strengthen ideological ideas by means of a message addressed to the wider society (Chowdhury, Raj, 2018). Tourism and terrorism in some ways reflects the deep conflicts of the modern world (Korstanje, Clayton, 2012).

World epidemics or pandemics are not new to humanity (Rushton, 2019). The spread of infectious diseases in history was always associated with the movement of people (Abukhalifeh et al., 2018). In 1918 influenza pandemic killed approximately 50 million, HIV/AIDS has claimed more than 35 million lives (Commission on a Global Health Risk Framework for the Future, 2016). In the past 30 years worldwide epidemic increase in the number of events of diverse nature. It can assume that this trend will continue (Frieden et al., 2014). Traveling on a massive scale, it can become an important factor in shaping the form and frequency of diseases in different geographic areas (Abukhalifeh et al., 2018).

Increasing globalization of tourism is linked to public health crises (Richter, 2003). The concept of health and safety in recent years has gained an international dimension (Rokvic, Jeftic, 2015), and there is a growing need for international cooperation (Richter, 2003). Protecting the health and safety of people is also one of the main responsibilities of the government of each state (Frieden et al., 2014). Health problems are a threat to national and global security (Rokvic, Jeftic, 2015). Ravi et al. (2019) draw attention to the importance of regular and sustainable monitoring of the develop-

ment of health security capabilities and capacities over time in the context of eliminating sources of health insecurity. Hitchcock et al. (2007) attach great importance to global surveillance of outbreaks of infectious diseases and the importance of this activity for international health.

The issue of general health in tourism is monitored from various points of view. Health aspects of tourism were dealt by Clift (1999) which pointed out the health risks of an increased number of tourists traveling to tropical destinations. Bauer (2008) examined the possible health impacts of tourism on the population in tourist destinations. Specific infections that pose potential risks for travelers include: SARS-CoV, MERS-CoV, Chikungunya virus, dengue fever, influenza, Ebola virus or Zika virus (Abukhalifeh et al., 2018). Detailed overview of emerging and reemerging infectious-disease outbreaks, epidemics, and pandemics in the years 2002–2015 can be seen in the following figure (see Fig. 1).

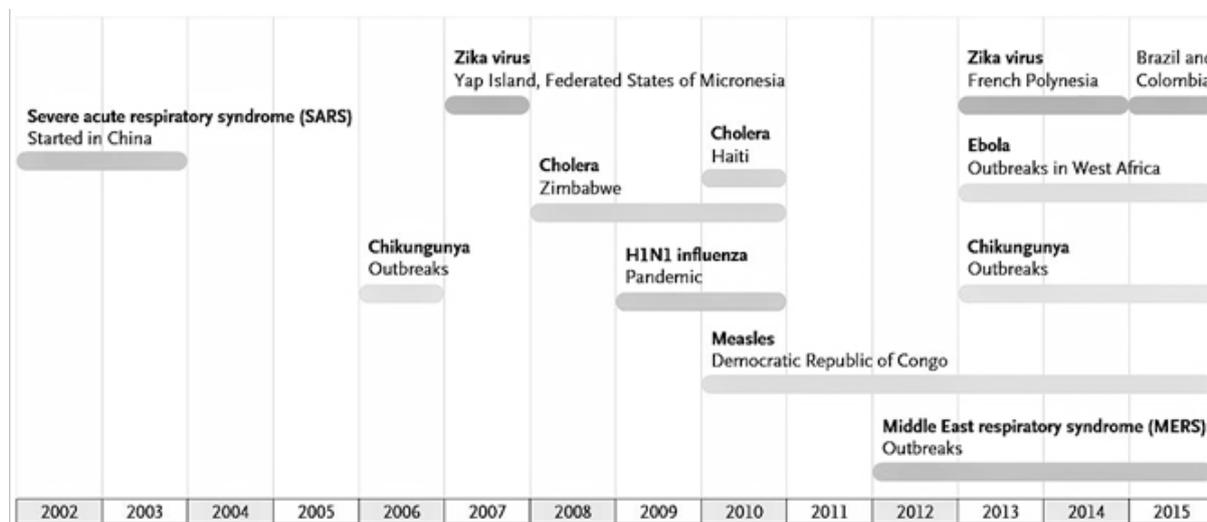


Fig. 1. Major Emerging and Reemerging Infectious-Disease Outbreaks, Epidemics, and Pandemics, 2002 through 2015

Source: Sands, Mundaca-Shah, Dzau, 2016: 1281.

At the beginning of 2020, the health factor affecting all sectors comes first. One of the most vulnerable sectors will be tourism. Coronavirus COVID-19 is spreading worldwide. World Health Organization defines the disease subsequently: “Coronaviruses are a family of viruses that range from the common cold to MERS coronavirus, which is Middle East Respiratory Syndrome coronavirus and SARs, Severe acute respiratory syndrome coronavirus”³. According to World Health Organization⁴, on 14 September 2020 confirmed globally 28 918 900 people are infected. This day (14.9.2020), there were 922 252 deaths worldwide due to the infection of this virus.

Each generation group is influenced by the shared historical and social life experiences that shape it and which thus distinguish one generation from another. Account should be taken of the specific developments and specific events taking place in individual countries or regions over time (Exenberger, Bucko, 2020; Tyslová et al., 2020; Akhavan Sarraf, 2019; Bernini, Cracolici, 2015). Over time, there has been significant diversification in the tourism sector, as well as significant changes in consumer behavior in tourism as a result of the shift in tourist generations that are vital in tourism.

Today's young generation is a specific group that is of importance to many interest groups, both commercial and scientific. Given the ongoing globalization processes and rapid technological developments, this generation is called the first homogeneous generation worldwide. Despite certain general characteristics of today's young people, it is necessary to take into account the differences that arise from different religious and political backgrounds, specific social customs, social ties and economic conditions of different countries, cultures or continents (Richards, Morrill, 2020; Šimpachová Pechrová et al., 2018; Expedia Group, 2016).

³ World Health Organization (2020a). *What is coronavirus?* Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/docs/default-source/sri-lanka-documents/what-is-coronavirus-english.pdf?sfvrsn=a6b21ac_2 – accessed March 10 2020).

⁴ World Health Organization. (2020b). Data as reported by national authorities by 10AM CET September 2020 *Coronavirus disease (COVID-19): Dashboard*, 2020. Geneva: World Health Organization (<https://covid19.who.int/> – accessed September 14 2020).

Most millennials are now fully-fledged adults who, as young consumers, influence the shape of the market⁵. According to Veiga et al. (2017), it was this generation that has caused the most significant changes in the functioning of the tourism sector in the world. Leask, Fyall and Barron (2013) also agree with this view, demonstrating that trends and future changes in tourism can be predicted based on the current behavior of young consumers. Veríssimo and Costa (2018) add that at present young people's priorities in all areas of their lifestyles, and hence their travel behavior is given considerable attention.

Young consumers are a very unpredictable group in terms of decision-making and purchasing habits, characterized by a low degree of loyalty (Bochert, Cismaru, Foris, 2017)⁶ and continuously confronted with a wide variety of products (Veríssimo, Costa, 2018). This represents a significant challenge for businesses and providers of tourism and hospitality services. However, appropriately applied marketing tools can become a competitive advantage in operating in the youth-oriented tourism market (Ketter, 2020).

The definition and categorization of youth varies from one geographical area to another and in some cases, overlaps occur. The definition of youth travel according to UNWTO and WYSETC (2011) states that: "youth travel includes all independent trips for periods of less than one year by people aged 16–29 which are motivated partly or fully, by a desire to experience other cultures, build life experiences and/or benefit from formal and informal learning opportunities outside one's usual environment".

Youth travel market is considered one of the most important tourism markets. Young travellers get their first travel experience that can potentially affect their future travel behavior (Eusébio, Carneiro, 2015) and have enough free time (Veríssimo, Costa, 2018). Young customers are also an important group in terms of market segmentation in the hospitality industry. According to Lžičař, Rubáček and Abbrám (2019), the hotel industry provides a specific type of service, for the sale of which plays an important role, among other things, seasonality factor and type of distribution channel. In the context of hospitality, it is also necessary to take into account the different dietary habits and requirements of individual groups of travellers for catering facilities (Kročil, Pospíšil, 2017). Parment (2013) reports that Y-generation members learn about shops and restaurants and share their experiences with other peers, usually through social networks.

The youth travel market is primarily made up of educational tourism (Moisa, 2010). The importance of traveling during the educational process is confirmed by the research of the Student & Youth Travel Association⁷, which deals with the social and economic impacts. Results of this research show that more than 75.0% educators believe that traveling has a positive influence on the personal development of students and considers it important to expand cultural horizons. Approximately 56.0% of teachers think that travel has a positive impact on education and career. Young people themselves see travel as an opportunity to grow and gain experience⁸. Young millennials very often also prefer volunteer tourism (Veiga et al., 2017)⁹. Leung and Law (2010) state that the Internet is one of the most important communication channels for tourism and hospitality. According to UNWTO & WYSETC (2011), young people are fearless, and terrorism, political and civil unrest, disease or natural disasters deter them less likely. The results of Deloitte¹⁰ show that 57.0% of the Y and Z generation want to travel and see the world.

Research objective and methodology

The theoretical framework of the article was based on the content analysis of secondary sources taking into account the criteria for examining documents, according to Hendl (2005). These were scientific articles, professional literature and relevant internet resources.

⁵ Nielsen (2017). *Young and ready to travel (and shop): a look at millennial travelers*. New York: Nielsen (<https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/nielsen-millennial-traveler-study-jan-2017.pdf> – accessed February 25 2020).

⁶ Ibid.

⁷ Student & Youth Travel Association (2012). *Student & Youth Travel: A comprehensive survey of the student travel market*. Arlington: Student & Youth Travel Association (<https://syta.org/why-travel-matters/research/> – accessed February 09 2020).

⁸ Resonance (2018). *Future of U.S. Millennial Travel Report: A survey of America's fastest growing tourism demographic*. Vancouver, New York, Newport: Resonance (<http://media.resonanceco.com/uploads/2018/08/Resonance-2018-Future-of-US-Millennial-Travel-Report-1.0.pdf> – accessed January 30 2020).

⁹ See also Deloitte (2019). *The Deloitte Global Millennial Survey 2019: Societal discord and technological transformation create a "generation disrupted"*. New York: Deloitte Touche Tohmatsu Limited (<https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html> – January 5 2020).

¹⁰ Ibid.

Descriptive and inference statistics tools were used to evaluate the qualitative research and to interpret the results of the questionnaire survey. Contingency tables were used to verify the established null hypotheses using the Pearson χ^2 test (Chen, Cohen, Sackrowitz, 2009). In this paper, Cramer's contingency coefficient was used to determine the dependency strength of quality characteristics.

Primary data were obtained utilizing a quantitative survey using the questionnaire technique of data collection, which took place in the autumn months of 2019. The questionnaire survey was responded by 428 young people aged 19 to 29 years from the whole Czech Republic. The age restriction of respondents was chosen with regard to the definition of youth tourist, according to WYSETC, which defines this group as young people aged 15 to 29 years (UNWTO & WYSETC, 2011). Given the reality in the Czech Republic, when young people reach their majority at the age of 18 and usually finish their high school education by the age of 19, the lower age limit has been moved to 19. The age categorization was chosen according to Cavagnaro and Staffieri (2015), who point out that the views and motivations of youth travellers can be best observed if the travel choice is entirely up to the individual's decision and not on their parents or guardians. The monitored age category corresponds in the literature to the generation Y or the millennium generation. The age of respondents was further divided into two categories, 19–24 years and 25–29 years, concerning the classification according to the Czech Statistical Office¹¹. The basic socio-demographic characteristics of respondents are summarised in the following table (Table 2).

Table 2
Socio-demographic characteristics of respondents in absolute and relative values

Basic socio-demographic characteristics		Absolute	Relative
Sex	Males	183	42.8
	Females	245	57.2
Age group	19–24 years	191	44.6
	25–29 years	237	55.4
Highest education level	Lower secondary	4	0.9
	Upper secondary	27	6.3
	Post-secondary	229	53.5
	Short-cycle tertiary	9	2.1
	Tertiary	159	37.1
Permanent residence	Central Bohemian region	92	21.5
	Hradec Králové region	17	4.0
	Karlovy Vary region	15	3.5
	Liberec region	9	2.1
	Moravian-Silesian region	7	1.6
	Olomouc region	4	0.9
	Pardubice region	13	3.0
	Plzeň region	8	1.9
	Prague	185	43.2
	South Bohemian region	28	6.5
	South Moravian region	6	1.4
	Ústí nad Labem region	21	4.9
	Vysočina region	18	4.2
	Zlín region	5	1.2

Source: Own research, 2019.

¹¹ Czech Statistical Office (2019). *Obyvatelstvo*. Praha: Český statistický úřad (https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_lide – accessed February 15 2020).

During the data analysis, the following null hypotheses were tested:

- H01: The choice of the destination, according to the local security situation, does not depend on the respondent's sex.
- H02: The choice of the destination, according to the local security situation, does not depend on the respondent's age.
- H03: The choice of the destination, according to the local political situation, does not depend on the respondent's sex.
- H04: The choice of the destination, according to the local political situation, does not depend on the respondent's age.
- H05: The choice of destination tourist destination concerning potential health risks in the given location does not depend on the respondent's sex.
- H06: The choice of destination tourist destination concerning potential health risks in the given location does not depend on the respondent's age.

In this paper, the following abbreviations are used: E.U. = European Union, MERS-CoV = Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, SARS-CoV = Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, UNWTO = United Nation World Tourism Organization, WHO = World Health Organization, WTO = World Tourism Organization, WYSETC = World Youth Student and Educational Travel Confederation.

Results and discussion

The vast majority of respondents stated that during their travel they prefer an active way of spending their time (82.5%, 353 persons) over passive rest, which only less than one-fifth of participants (17.5%, 75 persons) stated as their choice. Moreover, a research of Airbnb¹² shows, that more, then half surveyed millennials prefer active vacation. Null hypotheses about independence not only on sex but also on other independent variables that were determined for this question were tested.

Table 3

Selection of tourist destination according to the local security situation concerning the respondent's sex

Sex/ Answer	Definitely yes	Rather yes	Rather no	Definitely no	Do not know	Total
Men	72	85	21	0	5	183
Women	104	102	28	6	5	245
Total	176	187	49	6	10	428
Relative frequencies by sex						
Men	39.3%	46.4%	11.5%	0.0%	2.7%	100.0%
Women	42.4%	41.6%	11.4%	2.4%	2.0%	100.0%
Total	41.1%	43.7%	11.4%	1.4%	2.3%	100.0%

Source: Own research, 2019.

The calculated value of χ^2 5.50 is lower than the critical value of the χ^2 (9.49) distribution with 4 degrees of freedom at the significance level of 0.05. Therefore, the null hypothesis cannot be rejected, and there was no evidence of dependence between the choice of destination in terms of the local security situation and the gender of the respondent. Based on the results, it can be concluded that the vast majority of respondents consider security in the place of their intended stay as determinant in their travel selection (84.8%, 363). Only less than thirteen per cent of respondents chose 'rather not' and 'definitely not', and 2.3% of respondents did not have a clear stance.

¹² Airbnb (2016). Airbnb and The Rise of Millennial Travel. San Francisco: Airbnb, Inc. (<https://www.airbnb.com/wp-content/uploads/2016/08/MillennialReport.pdf> – accessed March 5 2020).

Table 4

Selection of tourist destination according to the local security situation concerning the respondent's age

Age/ Answer	Definitely yes	Rather yes	Rather no	Definitely no	Do not know	Total
19–24 years	71	91	22	3	4	191
25–29 years	105	96	27	3	6	237
Total	176	187	49	6	10	428
Relative frequencies by age						
19–24 years	37.2%	47.6%	11.5%	1.6%	2.1%	100.0%
25–29 years	44.3%	40.5%	11.4%	1.3%	2.5%	100.0%
Total	41.1%	43.7%	11.4%	1.4%	2.3%	100.0%

Source: Own research, 2019.

The calculated value of χ^2 2.70 is lower than the critical value of the χ^2 (9.49) distribution by 4 degrees of freedom at the significance level of 0.05. Therefore, the null hypothesis cannot be rejected, and it was not possible to prove the dependence between the choice when choosing the destination in terms of the local security situation and the age of the respondent. It can be stated that members of both ages show approximately identical attitudes within the monitored spectrum of opinion.

Table 5

Selection of tourist destination according to the local political situation concerning the respondent's sex

Sex/ Answer	Definitely yes	Rather yes	Rather no	Definitely no	Do not know	Total
Men	44	83	31	15	10	183
Women	61	106	57	17	4	245
Total	105	189	88	32	14	428
Relative frequencies by sex						
Men	24.0%	45.4%	16.9%	8.2%	5.5%	100.0%
Women	24.9%	43.3%	23.3%	6.9%	1.6%	100.0%
Total	24.5%	44.2%	20.6%	7.5%	3.3%	100.0%

Source: Own research, 2019.

The calculated value of statistics χ^2 7.10 is lower than the critical value of the distribution χ^2 (9.49) by 4 degrees of freedom at the significance level of 0.05. Therefore, the null hypothesis cannot be rejected. The dependence between the choice of the destination in terms of the local political situation and the sex of the respondent was not proved.

A total of 68.7% (194) of respondents consider the political situation at the destination of the planned stay as an essential criterion in the choice of the destination. Of the total number of respondents ($n = 428$), approximately one quarter identified with the answer "definitely yes" (24.5%, 105) and 44.2% (189) opted for "rather yes". Almost 30.0% of the participants do not consider the current political situation in the destination to be of greater importance (answers "rather not" 20.6% and "definitely not" 7.5%). Men (5.5%) compared to women (1.6%) were more likely to have a tie ("I do not know") within individual groups of respondents by sex.

The value of χ^2 9.80 is higher than the critical value of the χ^2 (9.49) distribution with 4 degrees of freedom at the significance level of 0.05. The null hypothesis can be rejected. The choice of destination in terms of local political situation therefore depends on the age category to which the re-

spondent belongs. The dependence measured by Cramer V is weak ($V = 0.15$). Significant differences were found by the method of adjusted residuals. The difference between the empirical and theoretical frequencies at the significance level of 0.01 manifested in the “I do not know” answer. This was chosen more often by younger persons (age category 19–24 years), which is due to the authors’ less travel experience of this group of respondents due to their lower age. Overall, this answer was chosen least by respondents (only 3.3% of the total).

Table 6

Selection of tourist destination according to the local political situation concerning the respondent’s age

Age/ Answer	Definitely yes	Rather yes	Rather no	Definitely no	Do not know	Total
19–24 years	53	83	41	13	1	191
25–29 years	52	106	47	19	13	237
Total	105	189	88	32	14	428
Relative frequencies by age						
19–24 years	27.7%	43.5%	21.5%	6.8%	0.5%	100.0%
25–29 years	21.9%	44.7%	19.8%	8.0%	5.5%	100.0%
Total	24.5%	44.2%	20.6%	7.5%	3.3%	100.0%

Source: Own research, 2019.

Table 7

Selection of the tourist destination concerning the potential health risks in the given locality in relation to the respondent’s sex

Sex/ Answer	Definitely yes	Rather yes	Rather no	Definitely no	Do not know	Total
Men	52	59	48	13	11	183
Women	93	92	45	10	5	245
Total	145	151	93	23	16	428
Relative frequencies by sex						
Men	28.4%	32.2%	26.2%	7.1%	6.0%	100.0%
Women	38.8%	37.6%	18.4%	4.1%	2.0%	100.0%
Total	33.9%	35.3%	21.7%	5.4%	3.7%	100.0%

Source: Own research, 2019.

The value of χ^2 statistic 12.83 is higher than the critical value of the distribution χ^2 (9.49) with 4 degrees of freedom at the significance level of 0.05. The null hypothesis can be rejected. The choice of the destination concerning the potential health risks in the given location therefore depends on the respondent’s sex. The dependence, measured by Cramer V, is weak ($V = 0.17$). Significant differences were found by the method of adjusted residuals. The difference between the empirical and theoretical frequencies at the significance level of 0.05 was found in the “definitely yes” answer, which was more often chosen by women and in the “I do not know” answer, which was more often chosen by men.

The calculated value of χ^2 3.70 statistics is lower than the critical value of the χ^2 (9.49) distribution by 4 degrees of freedom at the significance level of 0.05. Therefore, the null hypothesis cannot be rejected. It was not possible to prove the dependence between the choice of the target destination, considering the potential health risks in the given location and the respondent’s age. However, the older age group (25–29) devotes more considerable attention to potential health risks. In this age group, 71.7% of respondents declared that potential health risks affect their choice of destination. In contrast, 30.9% of respondents aged 19–24 expressed no interest in this problem.

Table 8

**Selection of tourist destination concerning potential health risks
in the given locality in relation to the respondent's age**

Age/ Answer	Definitely yes	Rather yes	Rather no	Definitely no	Do not know	Total
19–24 years	59	67	49	10	6	191
25–29 years	86	84	44	13	10	237
Total	145	151	93	23	16	428
Relative frequencies by age						
19–24 years	30.9%	35.1%	25.7%	5.2%	3.1%	100.0%
25–29 years	36.3%	35.4%	18.6%	5.5%	4.2%	100.0%
Total	33.9%	35.3%	21.7%	5.4%	3.7%	100.0%

Source: Own research, 2019.

Gender differences in the views of young travellers were examined by Reisinger and Mavondo (2004). Krajňák and Vágner (2018) on the basis of their research on the opinions of potential Czech tourists on traveling to the Middle East in the context of political-security risks, note significant statistical differences in respondents' answers in terms of gender and age. In the USA, in recent years, the trend of self-travel for women in the younger generation has become a trend for travel, to which some businesses have already fully specialized¹³. Chen, Huang and Chen (2009) also point to different customer preferences, which in their opinion depend on age, family life cycle, highest educational level and household income. Rita, Brochado and Dimova (2019) compiled opinions of millennials from the U.S. and U.K. in terms of their motivation to travel and preference of activities at the destination. Based on their findings, they found that both monitored samples show agreement, but at the same time provide the possibility of segmentation in terms of demographic characteristics. Chen, Huang and Chen (2009) also share the same opinion, considering it essential to examine vacation lifestyle from the perspective of travel behavior in the context of demographic characteristics. Yunusovich (2018) stresses that there is a need to see young consumers in tourism in terms of their preferred travel style. Solo travel has recently become a new phenomenon in youth travel. In this context, the importance of the individual's safety comes to the fore¹⁴.

As an emerging generation, young people are great advocates of sustainable development (Preko, Doe, Dadzie, 2019), in which they show much higher interest than previous generations. On their travels, millennials appreciate sustainable destinations and products (Bochert, Cismaru, Foris, 2017). Cavagnaro and Staffieri (2015) based on a survey conducted among 18 to 30-year-old students, considered that students' general travel needs were affected by sustainability values. Intensive internationalization of trade during the life of millennials generation leads its members to a sceptical view of the possibility of solving social and economic problems at national level of individual states (Parment, 2013). The authors (e.g., Boháčková, Svatošová, 2012) also draw attention to the importance of international cooperation in the field of sustainability.

It should be noted that, in general, terrorism is considered a major threat within the European Union, less than one fifth (18.0%) of respondents expressed this opinion in the Eurobarometer survey (European Commission, 2019). Abu Bakar et al. (2018) examined what factors affect the travel plans of young travellers in the context of Islamic tourism. Respondents assigned weight to individual factors on a five-step scale. The answer "safety and terrorism concerns" ranked second in terms of answers, with an average value of 3.96. This suggests that young people are susceptible to this type

¹³ Resonance (2018). *Future of U.S. Millennial Travel Report: A survey of America's fastest growing tourism demographic*. Vancouver, New York, Newport: Resonance (<http://media.resonanceco.com/uploads/2018/08/Resonance-2018-Future-of-US-Millennial-Travel-Report-1.0.pdf> – accessed January 30 2020).

¹⁴ Resonance (2018). *Future of U.S. Millennial Travel Report: A survey of America's fastest growing tourism demographic*. Vancouver, New York, Newport: Resonance (<http://media.resonanceco.com/uploads/2018/08/Resonance-2018-Future-of-US-Millennial-Travel-Report-1.0.pdf> – accessed January 30 2020).

of potential threat and attach great importance to it. Destination security is one of the primary sources of concern for millennials when travelling abroad. In 2017, according to GlobalData research, 63.0% of young Indonesians said they would probably reconsider their travel destination due to an unstable political situation or a recent terrorist attack at their destination¹⁵. Current geopolitical unrest means millennials are highly sensitized to security threats¹⁶. Health and hygiene safety is a priority for millennials when traveling. While the interest in personal safety varies across markets, it is always significantly higher for the Y generation than for previous generations (Expedia Group, 2016).

Furthermore, it was investigated how mostly young people organize their travel (see Table 9) and how much in advance they do so. 62.9% (269) of the respondents answered that they were planning their trips in a matter of months. Approximately one quarter (25.9%, 111) of respondents stated that they make decisions in a matter of weeks. Only 4.9% (21) of the participants stated that they make decisions impulsively and do not plan at all. Yunusovich (2018) believes that young people plan their journeys carefully and tend to repeat their journeys, increasing the potential of youth travel. Also research of Airbnb¹⁷ shows that 75.0% millennials in each country prefer to create their own itinerary.

Table 9**The predominant way of choosing travel realization**

Answer	Absolute	Relative
I choose individually through the information on the Internet (air tickets, accommodation, reservations, review)	281	65.7%
I am looking for information on the offer of guided tours organized by travel agencies on the Internet	88	20.6%
I make decisions based on the recommendations of friends, acquaintances and family	39	9.1%
I visit branches of travel agencies	12	2.8%
Other	8	1.9%
Total	428	100.0%

Source: Own research, 2019.

The results of the questionnaire survey show that the vast majority of respondents (86.3%, 369 persons) of the total number of respondents (n = 428) organize and plan their travel activities in some form via the Internet. Ngelambong et al. (2010) presented similar findings and reported that young people attribute great importance to the Internet as an information medium and most often search for specific websites of direct tourism service providers when planning and organizing their holidays. Tippelt and Kupferschmitt (2015) predict that, due to new technological innovations in communication, more and more classic Internet profile pages will be replaced by direct, immediate form of communication and say that according to their research 80% of young people aged 14 to 29 use mostly daily Instant Messenger WhatsApp, while Facebook is used by 71% of respondents in this age category at a lower frequency (Tippelt, Kupferschmitt, 2015). Paris et al. (2015) add that communications technology, mobile use, the internet environment and the creation of virtual communities have transformed the shape of tourism and travel (Strielkowski, 2016; Ahrám, Wang, 2017; or Mitsche, Strielkowski, 2017). Social media is an integral part of the online tourism sector and

¹⁵ GlobalData (2018). *Millennial Traveler Insights: Understanding the motivations and behaviors of millennial*. London: GlobalData (<https://www.guyanatourism.com/wp-content/uploads/2018/09/Global-Data-Millennial-Traveller-Insights-2018.pdf> – accessed February 22 2020).

¹⁶ Global Blue (2018). *Millennials: The generation reshaping travel and shopping habits*. Eysins: Global Blue – Group communication & Editorial (<https://www.rolandberger.com/en/Publications/MILLENNIALS-The-generation-reshaping-travel-and-shopping-habits.html> – accessed March 10 2020).

¹⁷ Airbnb (2016). *Airbnb and The Rise of Millennial Travel*. San Francisco: Airbnb, Inc. (<https://www.airbnb.com/wp-content/uploads/2016/08/MillennialReport.pdf> – accessed March 5 2020).

provide stakeholders with a wide range of opportunities to communicate and exchange information (Canavan, 2017; Sotiriadis, van Zyl, 2013).

It is, therefore, a vital task for professional tourism services to provide comprehensive and reliable information and services (Rathore, Joshi, Ilavarasan, 2017). In the security context, communication technologies can positively influence an individual's feelings during their journey, especially their perceived problems associated with an increased risk to personal safety and health (Paris et al., 2015). The use of communication technologies on the road also brings its risks. Millennials take technology security issues far more seriously than older generations and realize the security risks associated with data theft or abuse¹⁸. Sofronov (2018) believes that millennials in the traveling exhibit more responsible behavior than older generations, and it is documented by the fact that approximately half (49.0%) of them before traveling purchase travel insurance. Ketter (2020) considers important trends in tourism to young creative tourism, off-the-beaten-track tourism, alternative accommodation and fully digital tourism.

Currently, the world is solving problems associated with the occurrence of Coronavirus, its impacts on the global economy, and this it is not economically possible to express these problems in its entirety (Nikšić Radić, Dragičević, Barkidija Sotošek, 2018). The health risks of traveling were more likely to be associated with traveling to less developed countries. Some research deals with the impacts of individual epidemic diseases in the context of tourism. The impacts of SARS-CoV are the most frequently studied, with particular attention being paid to Asian countries (Frieden et al., 2014; Mao, Ding, Lee, 2010). The influence of MERS-CoV on the tourism industry has been investigated, e.g., by Joo et al. (2019), avian flu, e.g., by Frieden et al. (2014) or Kuo et al. (2008). The impact of epidemiological diseases and their negative impact on all areas of society can be considered as proven. Gostin and Katz (2016) highlight the role of the WHO in the context of global health risks and stress the need for international regulation of this issue.

However, based on the experience of previous decades, it is already possible to anticipate the negative impacts of current events on travel and tourism and other related sectors (Hui et al., 2020; Tarlow, 2020; Tounta, 2020).

Conclusion

Tourism is currently seen as an inescapable phenomenon that affects both the global economy and the individual national economies of all countries of the world. Progressing globalization processes on the one hand connect the world, but on the other make it more vulnerable. In the context of the current social, political and economic situation, attention should be paid to all the effects of changes in travel and tourism. It is mainly about the expansion of air transport on an unprecedented scale, which is accompanied by a mass population transfer and the associated security and safety risks. In terms of tourism, youth travel is currently the fastest developing segment. Due to the specific requirements of the current young generation in the areas of travel, tourism and hospitality, there are new requirements and tasks for organizations and companies operating in this field. In the context of the sustainability of the planet, the current form of tourism is an up-to-date problem of the whole society.

The paper aims to evaluate the impact of the security and safety factor on the consumer behavior of young people aged 19–29 in the Czech Republic when choosing a destination for tourism. This article presents the results of the primary questionnaire survey, which was attended by 428 respondents in the given age category.

The results show that young people consider the situation in their place of residence as the most important safety factor when choosing a destination (84.8%), the local political situation and potential health risks in the country are considered to be less than 70.0% persons. The majority of respondents (65.7%) identified the Internet as the predominant way of obtaining information when traveling.

¹⁸ Booking.com (2018). *How to attend to the needs of your millennial travellers: Travel Trends 2018 Global Survey Report*. Amsterdam: Booking.com (<https://business.booking.com/lp-how-to-attend-to-the-needs-of-your-millennial-travellers/> – accessed November 19 2019).

The theoretical contribution of this work lies in the processing of security and safety issues in terms of the perception of young travellers within travel and tourism. Practical contribution can be seen in the presentation of the results of primary research – a questionnaire survey. The limiting factor of this contribution may be the fact that the survey was conducted only among respondents of one country. Expected further direction of research is possible to extend the questioning to other states in order to make a comparison. According to the authors of the article, exciting results could also be obtained by repeating the research in connection with current events in the world, which are perceived by the tourism participants as potentially dangerous for their travel.

References

- Abrahám, J., Wang, J. (2017). Novel trends on using ICTS in the modern tourism industry. *Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics*, 6(1), 37–43. <https://doi.org/10.24984/cjssbe.2017.6.1.5>
- Abu Bakar, B., Tan, E., Nair, S., Lim, T. (2018). Halalfying travel: Reaching for the Muslim millennial travelers, pp. 1–8 / In: *Proceedings of the Council for Australasian University Tourism and Hospitality Education (CAUTHE): Conference 2018*. Newcastle, New South Wales: The University of Newcastle.
- Abukhalifeh, A., Martinez Faller, E., Albattat, A., Salam, T. (2018). Current issue in tourism: Diseases transformation as a potential risks for travellers. *Global and Stochastic Analysis*, 5(7), 341–349.
- Akhavan Sarraf, A. R. (2019). Generational groups in different countries. *International Journal of Social Sciences & Humanities*, 4(1), 41–52. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2562174>
- Alvarez, M. D., Campo, S. (2014). The influence of political conflicts on the country image and intention to visit: a study of Israel's image. *Tourism Management*, 40, 70–78. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.05.009>
- Bauer, I. (2008). The health impact of tourism on local and indigenous populations in resource-poor countries. *Travel Medicine and Infectious Disease*, 6(5), 276–291. <https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2008.05.005>
- Bernini, C., Cracolici, M. F. (2015). Demographic change, tourism expenditure and life cycle behaviour. *Tourism Management*, 47, 191–205. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.09.016>
- Bieger, T., Beritelli, P. (2013). *Management von Destinationen*. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag.
- Boháčková, I., Svatošová, L. (2012). Possibilities of effectiveness evaluation of development cooperation of European union. *Agricultura Tropica et Subtropica*, 45(2), 89–96. <https://doi.org/10.2478/v10295-012-0015-6>
- Bochert, R., Cismaru, L., Foris, D. (2017). Connecting the members of generation Y to destination brands: A case study of the CUBIS project. *Sustainability*, 9(7), 1197–1217. <https://doi.org/10.3390/su9071197>
- Botero, C., Anfusio, G., Williams, A. T., Zielinski, S., da Silva, C. P., Cervantes, O. et al. (2013). Reasons for beach choice: European and Caribbean perspectives. *Journal of Coastal Research*, 65, 880–885. <https://doi.org/10.2112/SI65-149.1>
- Brondoni, S. M. (2016). Global Tourism and Terrorism. Safety and Security Management. *Symphonya. Emerging Issues in Management*, 2, 7–14. <https://doi.org/10.4468/2016.2.02brondoni>
- Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. *Tourism Management*, 21(1), 97–116. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(99\)00095-3](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00095-3)
- Butler, R. W. (2006). *The Tourism Area Life Cycle. Vol. 1: Applications and Modifications*, Clevedon: Channel View Publications.
- Canavan, B. (2017). An existentialist exploration of tourism sustainability: backpackers fleeing and finding themselves. *Journal of Sustainable Tourism*, 26(4), 551–566. <https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1361430>

- Cavagnaro, E., Staffieri, S. (2015). A study of students' travellers values and needs in order to establish futures patterns and insights. *Journal of Tourism Futures*, 1(2), 94–107. <https://doi.org/10.1108/JTF-12-2014-0013>
- Clift, S. (1999). Tourism and Health: Current Issues and Future Concerns. *Tourism Recreation Research*, 25(3), 55–61. <https://doi.org/10.1080/02508281.2000.11014925>
- Commission on a Global Health Risk Framework for the Future (2016). *The neglected dimension of global security: A framework to counter infectious disease crises*. Washington, DC: The National Academies Press.
- Donaldson, R., Ferreira, S. (2009). (Re-) creating urban destination image: opinions of foreign visitors to South Africa on safety and security. *Urban Forum*, 20(1), 1–18. <https://doi.org/10.1007/s12132-009-9053-1>
- European Commission (2018). *Special Eurobarometer 474: Europeans' perceptions of the Schengen Area*. Brussels: European Commission.
- European Commission (2019). *Standard Eurobarometer 91 – Spring 2019: Public opinion in the European Union, First results*. Brussels: European Commission.
- Eusébio, C., Carneiro, M. J. (2015). How diverse is the youth tourism market?: An activity-based segmentation study. *Tourism*, 63(3), 295–316.
- Exenberger, E., Bucko, J. (2020). Analysis of online consumer behavior – Design of CRISP-DM process model. *AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics*, 12(3), 13–22. <https://doi.org/10.7160/aol.2020.120302>
- Expedia Group (2016). *Millennial traveler report: why millennials will shape the next 20 years of travel*. Seattle: Expedia Group.
- Fourie, J., Rosselló-Nadal, J., Santana-Gallego, M. (2019). Fatal attraction: How security threats hurt tourism. *Journal of Travel Research*, 59(2), 209–219. <https://doi.org/10.1177/0047287519826208>
- Frieden, T. R., Tappero, J. W., Dowell, S. F., Hien, N. T., Guillaume, F. D., Aceng, J. R. (2014). Safer countries through global health security. *The Lancet*, 383(9919), 764–766. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60189-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60189-6)
- Gostin, L. O., Katz, R. (2016). The International Health Regulations: The Governing Framework for Global Health Security. *The Milbank Quarterly*, 94(2), 264–313.
- Hall, C. M., Timothy, D. J., Duval, D. T. (2004). Security and tourism: towards a new understanding? *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 15(2-3), 1–18. https://doi.org/10.1300/J073v15n02_01
- Hau, T. C., Omar, K. (2014). The Impact of Service Quality on Tourist Satisfaction: The Case Study of Rantau Abang Beach as a Turtle Sanctuary Destination. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(23), 1827–1832. <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n23p1827>
- Haugland, S. A., Ness, H., Grønseth, B-O., Aarstad, J. (2011). Development of tourism destinations. *Annals of Tourism Research*, 38(1), 268–290. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2010.08.008>
- Hendl, J. (2005). *Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace*. Praha: Portál. (In Czech.)
- Hitchcock, P., Chamberlain, A., Van Wagoner, M., Inglesby, T. V., O'Toole, T. (2007). Challenges to Global Surveillance and Response to Infectious Disease Outbreaks of International Importance. *Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science*, 5(3), 206–227. <https://doi.org/10.1089/bsp.2007.0041>
- Hrabánková, M., Boháčková, I. (2009). Conditions of sustainable development in the Czech Republic in compliance with the recommendation of the European Commission. *Agricultural Economics*, 55(3), 156–160. <https://doi.org/10.17221/980-AGRICECON>
- Hui, D. S., I Azhar, E., Madani, T. A., Ntoumi, F., Kock, R., Dar, O. et al. (2020). The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health – The latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. *International Journal of Infectious Diseases*, 91, 264–266. <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.01.009>

- Chiabai, A., Platt, S., Strielkowski, W. (2014). Eliciting users' preferences for cultural heritage and tourism-related e-services: A tale of three European cities. *Tourism Economics*, 20(2), 263–277. <https://doi.org/10.5367/te.2013.0290>
- Chen, C., Cohen, A., Sackrowitz, H. B. (2009). Multiple testing in ordinal data models. *Electronic Journal of Statistics*, 3, 912–931.
- Chen, J. S., Huang, Y.-C., Cheng, J.-S. (2009). Vacation lifestyle and travel behaviors. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 26(5-6), 494–506. <https://doi.org/10.1080/10548400903163038>
- Chowdhury, A., Raj, R. (2018). Risk of terrorism and crime on the tourism industry, pp. 26–34 / In: M. E. Korstanje, R. Raj, K. Griffin (eds.) *Risk and Safety Challenges for Religious Tourism and Events*. Wallington (United Kingdom): CAB International.
- Ingram, H., Tabari, S., Watthanakhomprathip, W. (2013). The impact of political instability on tourism: Case of Thailand. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 5(1), 92–103. <https://doi.org/10.1108/17554211311292475>
- Joo, H., Maskery, B. A., Berro, A. D., Rotz, L. D., Lee, Y.-K., Brown, C. M. (2019). Economic impact of the 2015 MERS outbreak on the Republic of Korea's tourism-related industries. *Health Security*, 17(2), 100–108. <https://doi.org/10.1089/hs.2018.0115>
- Ketter, E. (2020). Millennial travel: Tourism micro-trends of European Generation Y. *Journal of Tourism Futures*, 1–5. <https://doi.org/10.1108/JTF-10-2019-0106>
- Korstanje, M. E., Clayton, A. (2012). Tourism and terrorism: conflicts and commonalities. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 4(1), 8–25. <https://doi.org/10.1108/17554211211198552>
- Kovári, I., Zimányi, K. (2011). Safety and security in the age of global tourism (The changing role and conception of safety and security in tourism). *Applied Studies in Agribusiness and Commerce*, 5(3-4), 59–61. <https://doi.org/10.19041/Abstract/2011/3-4/10>
- Krajňak, T., Vágner, J. (2018). Politicko-bezpečnostní rizika pro cestovní ruch: prostorová percepce Blízkého východu potenciálními českými turisty. *Geografie*, 123(3), 379–405.
- Kročil, O., Pospíšil, R. (2017). Halal products system audit and its importance for the Czech Republic export strategy. *The Journal of Economic Sciences: Theory and Practice*, 74(2), 43–50.
- Kuo, H.-I., Chen, C.-C., Tseng, W.-C., Ju, L.-F., Huang, B.-W. (2008). Assessing impacts of SARS and Avian Flu on international tourism demand to Asia. *Tourism Management*, 29(5), 917–928. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.10.006>
- Laws, E. (1995). *Tourist destination management: issues, analysis, and policies*. New York: Routledge.
- Leask, A., Fyall, A., Barron, P. (2013). Generation Y: Opportunity or challenge – strategies to engage Generation Y in the U.K. attractions' sector. *Current Issues in Tourism*, 16(1), 17–46.
- Leung, R., Law, R. (2010). A review of personality research in the tourism and hospitality context. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 27(5), 439–459. <https://doi.org/10.1080/10548408.2010.499058>
- Löwe, R., Sedmíková, M., Natov, P., Jankovský, M., Hejčmanová, P., Dvořák, J. (2019). Differences in timber volume estimates using various algorithms available in the control and information systems of harvesters. *Forests*, 10(5). <https://doi.org/10.3390/f10050388>
- Lžičař, P., Rubáček, F., Abrhám, J. (2019). Revenue management in hospitality industry: Case study of a selected congress hotel, pp. 365–374 / In: *Conference Proceedings of the 7th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use – Beyond the Numbers*. Prague: Metropolitan University Prague.
- Mansfeld, Y., Pizam, A. (2006). *Tourism Security & Safety: From Theory to Practice*. Oxford: Elsevier.
- Mao, C.-K., Ding, C. G., Lee, H.-Y. (2010). Post-SARS tourist arrival recovery patterns: An analysis based on a catastrophe theory. *Tourism Management*, 31(6), 855–861. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.09.003>
- Mawby, R. I. (2014). *Crime and Disorder, Security and the Tourism Industry* / In: M. Gill (ed.) *The Handbook of Security*. London: Palgrave Macmillan.

- Mitsche, N., Strielkowski, W. (2017). Tourism e-services and Jewish heritage: A case study of Prague. *European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation*, 7(3), 203–211. <https://doi.org/10.1515/ejthr-2016-0022>
- Moisa, C. (2010). Aspects of the Travel Demand. *Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica*, 12(2), 575–582.
- Ngelambong, A., Tahir, M. S., Rahman, N., Hadi, A. A. (2010). Demographic profiles of young travelers using the Internet for information search, pp. 1192–1196 / In: *2010 International Conference on Science and Social Research (CSSR 2010)*. Kuala Lumpur (Malaysia).
- Nikšić Radić, M., Dražičević, D., Barkidija Sotošek, M. (2018). The tourism-led terrorism hypothesis – evidence from Italy, Spain, UK, Germany and Turkey. *Journal of International Studies*, 11(2), 236–249. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2018/11-2/16>
- Pantano, E., Pietro, L. D. (2013). From e-tourism to f-tourism: emerging issues from negative tourists' online reviews. *Journal of Hospitality and Tourism Technology*, 4(3), 211–227. <https://doi.org/10.1108/JHTT-02-2013-0005>
- Papatheodorou, A. (2006). *Managing Tourism Destinations*, Northampton: Edward Elgar Publishers.
- Paris, C. M., Berger, E. A., Rubin, S., Casson, M. (2015). Disconnected and unplugged: Experiences of technology induced anxieties and tensions while traveling. *Information and Communication Technologies in Tourism*, 803–816.
- Parment, A. (2013). Generation Y vs. Baby Boomers: Shopping behavior, buyer involvement and implications for retailing. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 20(2), 189–199. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2012.12.001>
- Paunović, I. (2013). Proposal for Serbian tourism destinations marketing campaign. *Singidunum Journal of Applied Sciences*, 10(2), 40–52. <https://doi.org/10.5937/sjas10-4327>
- Payam, M. M. (2016). Tourists' security: The need for tourism police in Bosnia and Herzegovina. *British Journal of Economics, Management & Trade*, 12(1), 1–9. <https://doi.org/10.9734/BJEMT/2016/23135>
- Pine, R., McKercher, B. (2004). The impact of SARS on Hong Kong's tourism industry. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 16(2), 139–143. <https://doi.org/10.1108/09596110410520034>
- Preko, A., Doe, F., Dadzie, S. A. (2019). The future of youth tourism in Ghana: Motives, satisfaction and behavioural intentions. *Journal of Tourism Futures*, 5(1), 5–21. <https://doi.org/10.1108/JTF-12-2016-0059>
- Rathore, A. K., Joshi, U. C., Ilavarasan, P. V. (2017). Social media usage for tourism: A case of Rajasthan tourism. *Procedia Computer Science*, 3(122), 751–758. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.11.433>
- Ravi, S. J., Meyer, D., Cameron, E., Nalabandian, M., Pervaiz, B., Nuzzo, J. B. (2019). Establishing a theoretical foundation for measuring global health security: A scoping review. *BMC Public Health*, 19(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-7216-0>
- Reisinger, Y., Mavondo, F. (2004). Exploring the relationships among psychographic factors in the female and male youth travel market. *Tourism Review International*, 8(2), 69–84.
- Richards, G., Morrill, W. (2020). Motivations of global Millennial travelers. *Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo*, 14(1), 126–139. <https://doi.org/10.7784/rbtur.v14i1.1883>
- Richter, L. K. (2003). International tourism and its global public health consequences. *Journal of Travel Research*, 41(4), 340–347.
- Rita, P., Brochado, A., Dimova, L. (2019). Millennials' travel motivations and desired activities within destinations: a comparative study of the U.S. and the U.K. *Current Issues in Tourism*, 22(16), 2034–2050. <https://doi.org/10.1080/13683500.2018.1439902>

- Rohan, J., Moravec, L. (2017). Tax Information Exchange Influence on Czech Based Companies' Behavior in Relation to Tax Havens. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 65(2), 721–726. <https://doi.org/10.11118/actaun201765020721>
- Rokvic, V., Jeftic, Z. (2015). Health issues as security issues. *Vojno Delo*, 67(6), 53–69. <https://doi.org/10.5937/vojdelo1506053R>
- Rushton, S. (2019). *Security and Public Health*. Oxford: Wiley.
- Ryan, C. (1993). Crime, violence, terrorism and tourism. *Tourism Management*, 14(3), 173–183. [https://doi.org/10.1016/0261-5177\(93\)90018-G](https://doi.org/10.1016/0261-5177(93)90018-G)
- Sands, P., Mundaca-Shah, C., Dzau, V. J. (2016). The Neglected Dimension of Global Security – A Framework for Countering Infectious-Disease Crises. *New England Journal of Medicine*, 374(13), 1281–1287. <https://doi.org/10.1056/NEJMSr1600236>
- Scott, N., Laws, E., Prideaux, B. (2008). Tourism crises and marketing recovery strategies. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 23(2-4), 1–13. https://doi.org/10.1300/J073v23n02_01
- Sofronov, B. (2018). Millennials: A new trend for the tourism industry. *Annals of Spiru Haret University. Economic Series*, 18(3), 109–122. <https://doi.org/10.26458/1838>
- Sotiriadis, M. D., van Zyl, C. (2013). Electronic word-of-mouth and online reviews in tourism services: the use of twitter by tourists. *Electronic Commerce Research*, 13(1), 103–124. <https://doi.org/10.1007/s10660-013-9108-1>
- Strielkowski, W. (2016). Innovations in tourism marketing: Operation Anthropoid in Prague. *Marketing and Management of Innovations*, 4, 106–112.
- Šimpachová Pechrová, M., Šimpach, O., Medonos, T., Spěšná, D., Delín, M. (2018). What are the motivation and barriers of young farmers to enter the sector? *AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics*, 10(4), 79–87. <https://doi.org/10.7160/aol.2018.100409>
- Tarlow, P. E. (2011). Tourism disaster management in an age of terrorism. *International Journal of Tourism Anthropology*, 1(3-4), 18–30. <https://doi.org/10.1504/IJTA.2011.043709>
- Tarlow, P. E. (2014). *Tourism Security: Strategies for Effectively Managing Travel Risk and Safety*. Waltham, Oxford: Elsevier.
- Tarlow, P. E. (2020). *In the age of pandemics: Some of the reasons that tourism industries fail: part one of a two-part series* (https://www.hotel-online.com/press_releases/release/in-the-age-of-pandemics-some-of-the-reasons-that-tourism-industries-fail-part-one-of-a-two-part-series – accessed March 3 2020).
- Tippelt, F., Kupferschmitt, T. (2015). Social Web: Ausdifferenzierung der Nutzung – Potenziale für Medienanbieter: Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2015. *Media Perspektiven*, (10), 442–452.
- Tounta, P. (2020). *Pandemic 2020: The impact on tourism and the shadowy points* (<https://www.traveldailynews.com/post/pandemic-2020-the-impact-on-tourism-and-the-shadowy-points> – accessed March 3 2020).
- Tyslová, I., Abrhám, J., Horváthová, Z., Rubáček, F. (2020). Economic benefits of tourism: Cultural identity and tourism destinations in the Czech Republic. *Terra Economicus*, 18(2), 139–154. <https://doi.org/10.18522/2073-6606-2020-18-2-139-154>
- UNWTO & WYSETC (2011). *The Power of Youth Travel*, Madrid: World travel organization (UNWTO), Amsterdam: WYSE Travel Confederation.
- Vasylchak, S., Halachenko, A. (2016). Theoretical basis for the development of resort services: regional aspect. *International Economics Letters*, 5(2), 54–62. <https://doi.org/10.24984/iel.2016.5.2.3>
- Veiga, C., Custódio Santos, M., Águas, P., Santos, J. A. C. (2017). Are millennials transforming global tourism? Challenges for destinations and companies. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 9(6), 603–616. <https://doi.org/10.1108/WHATT-09-2017-0047>
- Veríssimo, M., Costa, C. (2018). Do hostels play a role in pleasing Millennial travellers? The Portuguese case. *Journal of Tourism Futures*, 4(1), 57–68. <https://doi.org/10.1108/JTF-12-2017-0054>

- Veselá, K., Brož, D., Navrátilová, M., Beranová, M. (2018). Influence of the E.U. and common currency on the structure of foreign commerce, 1425–1432 / In: *International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences*. Rajecké Teplice: University of Zilina.
- Veveris, A., Šapolaitė, V., Giedrė Raišienė, A., Bilan, Y. (2019). How rural development programmes serve for viability of small farms? Case of Latvia and Lithuania. *AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics*, 11(2), 103–113. <https://doi.org/10.7160/aol.2019.110210>
- Weaver, P. A., Mc Cleary, K. W., Han, J., Blosser, P. E. (2009). Identifying leisure travel market segments based on *preference for novelty*. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 26(5-6), 568–584. <https://doi.org/10.1080/10548400903163129>
- Wichasin, P., Doungphummes, N. (2012). A comparative study of international tourists' safety needs and Thai tourist polices' perception towards international tourists' safety needs. *World Academy of Science, Engineering and Technology*, 67, 1372–1378.
- World Economic Forum (2013). *The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013: Reducing Barriers to Economic Growth and Job Creation*. Geneva: World Economic Forum.
- World Economic Forum (2017). *The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017: Paving the way for a more sustainable and inclusive future*. Geneva: World Economic Forum.
- World Economic Forum (2019). *The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019: Travel and Tourism at a Tipping Point*. Geneva: World Economic Forum.
- World Tourism Organization (1996). *Tourist Safety and Security: Practical Measures for Destinations*. Madrid: World Tourism Organization.
- World Tourism Organization and International Labour Organization (2013). *Economic Crisis, International Tourism Decline and its Impact on the Poor*. Madrid: UNWTO.
- Yunusovich, S. S. (2018). Youth Tourism as a Scientific Research Object. *Journal of Tourism & Hospitality*, 7(5), 1–3. <https://doi.org/10.4172/2167-0269.1000378>

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

**TERRA ECONOMICUS
(ПРОСТРАНСТВО ЭКОНОМИКИ)**

2020

Том 18

Номер 4

Учредитель и издатель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»

Адрес издателя: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42
Тел.: +7 (863) 218-40-00, 219-97-49 **e-mail:** info@sfedu.ru **сайт:** http://sfedu.ru/

Адрес редакции: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 88, к. 211
Тел.: +7 (863) 250-59-57 **e-mail:** terraeconomicus@mail.ru **сайт журнала:** http://te.sfedu.ru/

Сдано в набор: 15.12.2020. Подписано в печать: 20.12.2020

Выход в свет: 25.12.2020

Формат 60x84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Officina Serif.

Печать офсетная. Усл. п. л. 19.65. Уч.-изд. л. 23,30.

Тираж 558 экз. Заказ № 189. С. 169

Свободная цена

Оригинал-макет подготовлен ООО «Наука-Спектр»

Адрес типографии: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 140

Тел.: +7 (863) 269-09-71

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии.